

ЛУНАЧАРСКИЙ А.Е.АКИН



ЛУНАЧАРСКИЙ



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

- [А.Ёлкин](#)
 - [„ТАК НАЧАЛИСЬ МОИ СТРАНСТВИЯ...”](#)
 - [НАКАНУНЕ](#)
 - [И ВЕЧНЫЙ БОЙ...](#)
 - [ТЕМНЫЕ ДОРОГИ](#)
 - [В ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА](#)
 - [НА ПЕРВЫХ ПЕРЕВАЛАХ](#)
 - [КТО ЕСТЬ КТО?](#)
 - [„ФИЛОСОФСКИЕ ПОЭМЫ В КРАСКАХ И МРАМОРЕ"](#)
 - [„И ВАМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ГОРЕТЬ... ПРИНОСИТЬ ЖЕРТВЫ..."](#)
 - [Основные даты жизни и творчества А. В. Луначарского](#)
 - [Краткая библиография](#)
 - [Иллюстрации](#)
-

А.Ёлкин

ЛУНАЧАРСКИЙ

„ТАК НАЧАЛИСЬ МОИ СТРАНСТВИЯ...”

Как много я мог бы рассказать тебе об этом путешествии! И насколько это все же лучше, чем сидеть дома, среди всяческих удобств.

Роберт Скотт

Когда Сент-Экзюпери вырастет и перед ним распахнется огромный мир с теплыми ливнями и тревожной песней авиамоторов, с чистой тоской о прекрасном и черными тенями мечущихся западных городов, он спросит: «Откуда я? Я из моего детства. Я пришел из детства, как из страны».

Наверное, каждый человек приходит из страны детства. Она бывает и хмурой и солнечной. Случается, что в родниках ее бьет животворная ключевая вода, поддерживающая на трудном переходе в зрелость. Бывает и так, что многое приходится отмечать и пересматривать, очищаться в пути. Личность формируется трудно, в противоборстве или развитии приобретенного опыта и представлений, взятых нами в дорогу из далекой страны детства...

I. Пепел стучит в мое сердце

— Пепел Клааса стучит в мое сердце!..

Пепел Клааса... Мальчик ясно представил себе все это. Ущербная луна в небе. Холодный ветер. Распятое, обезображенное огнем тело. Как пятна крови, тлеющие головешки. Струйки белого дыма, стелющегося по бульжнику.

И юноша, стоящий в оцепенении.

Убитый непоправимостью случившегося. Молча дающий клятву:

— Пепел Клааса стучит в мое сердце!..

Пепел мучеников, сожженных на кострах святой инквизиции...

Мальчик откладывает книгу, близоруко щурит глаза. В окна комнаты щедро льется зной, тянутся ветки.

Как далеко все прочитанное от этой пестрой летней суеты Киева!

Как далеко и как близко!..

Интересно, каким был этот Шарль де Костер? Сколько боли и гнева в его «Уленшпигеле»!..

— Анатолий! — строгий голос возвращает его к действительности. В дверях появляется мать. — Ты опять в очках. Ты же еще так молод. Не идут тебе очки. Не нравятся они мне.

— Да, но я плохо вижу, мама. Мне трудно читать.

— Все это баловство. Ты прекрасно читаешь без очков.

— Но, мама...

— Оставим этот разговор. Ты всегда перечишь... Мать удаляется.

Ладно, бог с ней!

Мальчик снова раскрывает книгу. И все вокруг отступает куда-то, становится неосязаемым.

Снова тянутся пыльные дороги Фландрии. Идет по ним бесстрашный, веселый человек, поднимая гордый, свободный народ на бой с католическими бандами.

— Пепел Клааса стучит в мое сердце!..

Пепел отца, сожженного на костре святой инквизиции...

И звенят мечи, мчатся навстречу свинцовому ветру кони, горят испанские суда, гремит клич повстанцев...

В иные края и иные дали уносит мальчишку повествование...

Книга с детства освятила его жизнь, как и рассказы о героях и богоборцах, которые слышал он поздними вечерами от приемного отца — А. И. Антонова и матери. А Полтава, где он родился, была для него олицетворением живой истории, сохранившей и грозный голос Петра и славу легендарных побед России.

«Детство мое прошло под сильным влиянием Александра Ивановича Антонова, который хотя и был действительным статским советником и занимал пост управляющего контрольной палатой в Н.-Новгороде, а потом в Курске, был радикалом и нисколько не скрывал своих симпатий к левым устремлениям.

Совсем крошечным мальчиком я сживал, свернувшись клубком, в кресле до относительно позднего часа ночи, слушая, как Александр Иванович читал моей матери «Отечественные записки» и «Русскую мысль».

...Уже тогда комментарии, которыми отец сопровождал чтение сатир Щедрина и других революционных демократов, во многом определили социальные симпатии и антипатии мальчика.

«В моих разговорах со сверстниками я еще ребенком выступал как яростный противник религии и монархии.

Я помню, как, забравшись к серебрянику, жившему в нашем дворе, я, в то время 7-летний мальчик, схватил небольшую иконку, не помню, какого

святого, и, стуча ею по столу перед разинувшими рот обедавшими в то время подмастерьями серебряника, самым заносчивым образом кричал, что предоставляю богу разразить меня за такое оскорбительное отношение к его приближенному и что считаю отсутствие непосредственной кары за мою дерзость явным доказательством несуществования самого бога.

Несмотря на то, что я был «барский сын», серебряник ухватил меня за ухо и потащил к матери, совершенно возмущенный и испуганный таким поведением, которое чуть было не навело его на мысль, что я не кто иной, как маленький антихрист. Матери стоило некоторого труда успокоить серебряника, хотя и она и Александр Иванович Антонов, в доме которого мы в то время жили, отнеслись к этому не только добродушно, но даже с юмором, не лишенным оттенка одобрения».

Мальчику хочется понять, что происходит в этом тревожном, противоречивом, огромном мире. Детство во многом пробует разобраться. Конечно, говорить о стройном миропонимании пока нельзя: «детские подражания и выходки, навеянные революционными и полу революционными разговорами в моей семье, — напишет после Луначарский, — лишь фон, на котором позднее стал вырисовываться узор моих ранних, но твердых и закрепившихся на всю жизнь политических убеждений...»

Когда Луначарский говорит о «революционности» той поры, эту «революционность» пока еще трудно воспринимать в истинном значении этого слова. Скорее это путь к революционности. Решение первых сомнений. Формирование убежденности.

Семья...

Это может быть и очень многим и очень малым в судьбе человека...

Луначарскому повезло. Отец и мать нередко невольно, но развили в сыне пытливость, ум, зачатки тех дарований, которые в полной мере раскрылись позднее. Сама атмосфера дома Антоновых определила раннее внимание мальчика к общественной жизни и социологии:

«В 4-м классе гимназии я уже был руководителем целой группы товарищей, более или менее определенно проникнутых революционными тенденциями.

В то время я весьма пренебрежительно относился к гимназической программе, считая гимназию и все исходящее из нее тлетворным началом и негодной попыткой царского правительства овладеть моей душой и наполнить ее вредным для меня содержанием, так что учителя считали меня мальчиком способным, но ленивым.

Между тем я с колоссальным прилежанием учился сам и к многочисленным урокам новых языков, музыки и усердному чтению

классиков русской беллетристики присоединил серьезнейшее занятие, например, логикой Милля и «Капиталом» Маркса. Первый том «Капитала» именно в это время, в 4-м классе гимназии, был мной проштудирован вдоль и поперек. Хотя он и позднее мною был неоднократно перечитан, но основное знакомство с ним получил я именно в 13 лет, как-это, может быть, ни покажется странным, и сейчас, когда мне нужно припомнить что-нибудь из великой книги или процитировать ее, я, беря в руки том, живо припоминаю тот клеенчатый диван, на котором я обыкновенно сидел перед лампой, жуя что-нибудь и перечитывая по два, по три раза каждую главу, испещрял ее целой системой изобретенных мною пометок синим и красным карандашом».

Круг интересов — самый серьезный и на первый взгляд для такого возраста — необычный. Но людей формирует среда и время. А годы те, как говорил Анатолий Васильевич, «не могли не определить гражданственный настрой ума и сердца», раннего напряженного духовного поиска. Во времена предреволюционной эпохи люди не по летам становятся взрослыми.

Мать Луначарского, Александра Яковлевна, была женщиной широкообразованной, до известной степени даже передовой, но властной и взбалмошной; «мальчик в очках» казался ей чем-то недопустимым, «нигилистическим». Из-за упрямства матери лет до тринадцати он лишен был возможности следить в классе за тем, что писали на доске, рассматривать географические карты и атласы, наблюдать за физическими опытами.

Наконец он добился разрешения надеть очки, и, как он неоднократно вспоминал впоследствии, в его жизни произошла резкая перемена: появились краски, все кругом ожило, похорошело... Он впервые почувствовал по-настоящему прелесть Киева, он полюбил прогулки с товарищами в Дарнице, Свято-шине, катание на лодках по Днепру и «Старику» — так называется старое живописное русло Днепра; он сблизился со сверстниками... и еще больше полюбил чтение.

Так с легкой грустью к прошлому рассказывал впоследствии Луначарский своей жене, Н. Луначарской-Розенель, о своем детстве.

Книги, книги, книги...

Он беседовал с ними, как с живыми.

За строчками написанного раскрывались широкие горизонты, оживали люди и времена.

Навстречу свинцовой выюге гонит коня Тиль Уленшпигель, и дождь прибывает пыль на тревожных дорогах Фландрии.

Нахохлившись, стоит Пушкин над, взлохмаченной Невой, и к тяжелым тучам устремлена длань медного всадника.

Ведут на казнь Рылеева, и мелкая дробь барабанов гремит, как погребальная мелодия распятой России.

Бродит по Разъезжей Достоевский, мучительно размышляя о судьбах униженных и оскорбленных...

Задышается в каземате Чернышевский.

Яростный вихрь образов обжигает сердце глухого Бетховена...

Для Луначарского это живые собеседники, во плоти и крови. Такими они и вошли впоследствии в его статьи, чтобы обрести почти физически ощутимые контуры мятущихся и ищущих людей.

Книги детства. Книги на всю жизнь.

Пройдет много лет, и Н. Луначарская-Розенель с юморком расскажет историю, начало которой, конечно же, в далеких киевских годах детства и юности. Историю, связанную со страстью «сумасшедшего книголюба»:

«В ноябре 1927 года Луначарский возглавлял советскую делегацию, приехавшую в Париж на торжества по случаю столетия со дня рождения великого французского химика Марселена Вертело.

Предстоящая речь Луначарского, по-видимому, волновала некоторые правительственные круги во Франции, но после ряда переговоров решено было, что Луначарский выступит на приеме у министра народного просвещения. Этот пост занимал тогда Эдуард Эррио, крупнейший политический деятель Франции и старый знакомый Анатолия Васильевича. Они познакомились за несколько лет до мировой войны в Лионе, где Эррио в качестве мэра города принимал группу иностранных журналистов и в их числе Луначарского — вице-председателя союза парламентских журналистов в Париже.

В честь Марселена Вертело премьер-министр устроил большой прием в Версальском дворце. На приеме наш поверенный в делах передал Анатолию Васильевичу слухи, что правые члены кабинета интригуют, стараясь под каким-либо предлогом не допустить публичного выступления советского народного комиссара.

При прощании Эррио наклонился к Анатолию Васильевичу и сказал ему что-то шепотом. Сейчас же защелкали аппараты фото-и кинорепортеров; этот интимный разговор обратил на себя внимание присутствующих.

Когда мы вернулись в город, Анатолий Васильевич сказал мне: «Нам нужно минут пятнадцать посидеть в кафе напротив театра «Одеон», мы там оставим машину (машина была с советским флагом), перейдем улицу и

подойдем к букинистическим лавкам за «Одеоном». Я должен встретиться здесь с Эррио, он хочет о чем-то договориться со мной без свидетелей».

Вскоре мы подошли к магазинчикам, ларькам, столам букинистов, густо облепивших заднюю стену театрального здания, как ракушки дно корабля. Спускались сумерки, сквозь туман виднелись силуэты людей, склонившихся над книгами. Большой, приметной фигуры Эррио не было видно. Зато в одном из магазинчиков Анатолий Васильевич заметил первое прижизненное издание «Сида» Корнеля и стал мне показывать дату выхода книги и заставки. Почувствовав знатока, хозяин показал ему «Исповедь» Руссо с замечательными иллюстрациями. «Совсем недорого, исключительный случай».

Вдруг мы услышали знакомый раскатистый голос одного из самых красноречивых ораторов Франции; мы обернулись: в двух шагах от нас, у соседней лавочки, стоял Эррио и громко восхищался какой-то старинной гравюрой.

После рукопожатий и теплых приветствий Луначарский и Эррио отошли в сторону, предоставив мне возможность рыться в старых книгах. Они быстро и легко договорились относительно порядка выступления на приеме в министерстве просвещения и вместе вернулись к прилавку.

«Не правда ли... я выбрал романтическое место для нашего свидания, — говорил Эррио, всматриваясь все в ту же гравюру. — Как я люблю все это и никогда не бываю здесь — нет времени. Вот отойду от политики и ежедневно буду навещать сюда». — «Вы отойдете от политики? Разве это возможно?» — смеясь, заметил Луначарский. «Совершенно невозможно ни вам, ни мне, — также смеясь, отвечал Эррио. — А вот эта гравюра останется мне на память о нашем свидании в сумерки у доброго старого «Одеона».

Он взял меня под руку. «Пусть агенты сообщат куда полагается, что у Эррио была условленная встреча с молодой дамой в черном пальто, а этот незнакомый господин в очках с бородкой просто тут же выбирал книги». Он хохотал от души».

Книги. Через них Луначарский пришел к первым маевкам на Днепре. Маевкам своей революционной юности.

II. Зеленая звезда

В 1921 году в Москве мизерным тиражом вышла книга автографов русских писателей, ставшая ныне библиографической редкостью, — «Автографы». Есть здесь и строки Луначарского:

Счастливая земля! На крови поколений

Жизнь расцветет невинна и мудра,
И будешь ты чиста, моя планета-гений,
Зеленая звезда с луной из серебра...

«Наверное, так чисто думается только в далекой юности», — замечал позднее в письме Луначарский. Зеленая звезда юности, Днепр, тревожное и зовущее слово «революция»...

Над рекой дрожат звезды.

Иногда одна из них срывается, и горизонт прорезывается бледной полоской света, устремленной к темной воде.

И тишина — на весь мир тишина...

Ее раскалывает тонкий посвист. Так, наверное, когда-то перекликались дозорные запорожцев.

Из соседнего оврага донесся ответ, и за деревьями, почти сливающиеся с темнотой, замелькали силуэты.

Вспыхнул огонь. В неярком его блеске стало видно, как несколько человек остались у прибрежной кромки, двое — наверху.

Появляется худенький юноша, почти мальчик.

Это Анатолий Луначарский.

Его уже знают здесь.

Говорит он запальчиво, резко, приводя множество цитат.

Говорит о революции...

Революция!.. Раньше для него она ассоциировалась с нечто всеобъемлющим — с бесстрашием гезов, штурмом Бастилии, декабристским каре на Дворцовой площади — сотнями имен и фактов, взятых из книг.

Здесь это слово связывалось с другим. С утренними гудками киевских заводов, хмурыми рабочими лицами, тревожной и противоречивой скороговоркой газет, с пачкой листовок, неведомо откуда взявшихся, с рассказами о казаках, с началом его собственного, еще неведомого, но стремительно захватившего сердце и ум пути.

В Киеве широко развивается демократическое движение в высших учебных заведениях и гимназиях. «Я был как раз учеником пятого класса, когда ко мне обратились из этого молодого центра (гимназического. — А. Е.) с просьбой организовать кружок в своем классе. Очень скоро у нас окрепла организация, охватившая все гимназии, реальные училища и часть женских учебных заведений. Я не могу точно припомнить, сколько у нас было членов, но их было, во всяком случае, не менее 200.

Шли деятельные кружковые занятия, где рядом с Писаревым, Добролюбовым... зачастую также изучением Дарвина, Спенсера шли занятия политической экономией...

К нелегальной литературе мы относились с благоговением, придавая ей особое значение, и ни от кого не было скрыто, что кружки наши являются подготовительной ступенью для партийной политической работы».

До серьезных политических акций дело не доходило. Члены группы не шли дальше чтения и распространения запрещенных книг и организации за Днепром нелегальных собраний, где произносились горячие речи о любви к народу, о долге перед ним.

«...Поездки на лодках на всю ночь были любимым способом общения и, я бы сказал, политической работы для всей этой зеленой молодежи.

Заключались тесные дружбы, бывали случаи романтической любви, и я и сейчас с громадным наслаждением вспоминаю мою юность, и до сих пор многие имена вызывают во мне теплое чувство, хотя многие из моих тогдашних друзей отошли или от жизни вообще, или от жизни политической».

Какой бы «абстрактно-революционный», как говорил позднее Луначарский, характер такие собрания ни носили, они заменили смутные романтические порывы земной борьбой, мелодиями «Варшавянки», за которую полагались и пуля, и плеть, и каторга.

«Настоящую политическую работу, — говорил он впоследствии, — я начал в 7-м классе. Я вступил тогда в партийную организацию, работавшую среди ремесленников и пролетариев железнодорожного депо в так называемой «Соломинке», в предместье Киева...» Здесь Анатолий становится агитатором-пропагандистом.

«Занятия мои с рабочими «Соломинки» продолжались не очень долго, так как вскоре после этого организация наша была потрепана полицией, а затем наступила необходимость отъезда за границу.

Тем не менее я считаю именно эту дату, то есть 92 или, может быть, 93 г... датой моего вступления в партию. В то же время я дал первые статьи в гектографическую социал-демократическую газету».

И снова — книги, книги, книги.

На этот раз — социал-демократическая литература, выпускаемая плехановской группой «Освобождение труда», работы Плеханова, Аксельрода, Веры Засулич.

Философские воззрения молодого революционера пока довольно сумбурны. «...Меня рядом с революционной практикой интересовала не

столько политическая экономия или даже социология марксизма, сколько его философия, — свидетельствует он в своих «Воспоминаниях». — И здесь идеи мои не были абсолютно чисты. В последних классах гимназии я сильно увлекался Спенсером и пытался создать эмульсию из Спенсера и Маркса. Это, конечно, не очень-то мне удавалось...»

Луначарский увлекается трудом Герберта Спенсера «Система синтетической философии», где развиваются вульгарно-механистические взгляды на природу. И действительно, как можно было соединить Маркса с проводником непознаваемости объективного мира, с философом, примиряющим науку и религию?

Примирить непримиримое было невозможно: занятия теоретически не вооруженного юноши философией Спенсера, конечно, будили мысль, но принесли скорее отрицательные результаты.

Это сейчас из любого учебника философии студент узнает, что капитализм, нуждаясь в естественных науках и всячески их развивая, не мог допустить, чтобы из данных науки

Делались материалистические и атеистические выводы. Из этой общественной потребности капитала, собственно, и возник позитивизм, соединяющий науку и бога, утверждающий, что сущность явлений навсегда остается непознаваемой.

Многое из нашего просвещенного далека кажется несколько опрошенным. А тогда!..

Первый том «Капитала» еще только завоевывал умы. Не был написан «Материализм и эмпириокритицизм»... И это естественно, что во второй половине XIX века позитивизм и, в частности, работы Конта, Милля, Спенсера становятся влиятельнейшим течением философской мысли.

Да, Луначарский и его друзья спорили тогда. И как спорили!

Вспомните Мартина Идена — по возрасту сверстника Луначарского и одного из любимых им героев («Железную пятую» и «Мартина Идена» он причислял к вершинам мировой литературы).

Сцены, описанные Джеком Лондоном в его романе, очень характерны для времени студенческих исканий Луначарского. В Женеве, Вене, Киеве, Петербурге, как и в кружках джек-лондоновского Сити-холл-парка, ежедневно можно было наблюдать такое;

«Началось генеральное сражение в дыму бесконечных папирос». Сторонник Спенсера «ловко парировал все удары, даже когда один из рабочих-социалистов крикнул насмешливо: «Нет бога, кроме непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его!...»

Читаешь это и вспоминаешь невольно искания Луначарского.

Мартин Идеи ночью штудировал «Основные начала» Спенсера: «Он лежал и читал до тех пор, пока у него не заболели бока: тогда он слез с постели... и продолжал читать... Явился человек — Спенсер, который привел все... в систему, объединил, сделал выводы и представил изумленному взгляду Мартина этот конкретный и упорядоченный мир...»

И молодому Луначарскому уже по-иному видится мир. В его тетрадях появляются выписки: «Под всеми вещами скрывается непроницаемая тайна...» Материя «в своей конечной природе так же абсолютно непонятна, как пространство и время».

«Материя неуничтожима». Существует всеобщий основной закон — закон эволюции, которому подчиняются любые явления природы и общественной жизни.

Это если и озадачивало, то рождало смелые раздумья и предположения — «уподобление общества живому телу».

В России довольно быстро были переведены и получили широчайшую популярность «Основные начала» и «Опыты научные, политические и философские» Спенсера. Юноша Луначарский восхищался, как смело оперирует английский мудрец понятиями пространства, времени, движения, материи, силы, сознания, соединяя их в стройной системе миропонимания.

Изучение философии оттесняет все другие занятия Луначарского на второй план. Круг его чтения стремительно расширяется. Все, что вызывает споры в университетских коридорах, в студенческих кружках — Мах, Авенариус, Спенсер, изящные умозаключения модных французских позитивистов И. Тена и А. Фуллье, их единомышленников в Италии, Англии и США — Р. Ардиги, Дж. Льюиса, Ч. Райта, — штудировалась основательно и придирчиво.

Не учитывая юношеского увлечения Луначарского Спенсером, нельзя понять, откуда появились в его некоторых ранних статьях биологические «завихрения», как он впоследствии назовет их. Главенствующей наукой, изучающей законы, действующие в психологии, социологии и этике, Спенсер считал биологию, доказывая, что жизнь в любых ее проявлениях, в том числе эстетических и социальных, в конечном счете управляется биологическими законами.

От идеалистически-религиозных основ учения Спенсера пошло впоследствии у Луначарского увлечение философией эмпириокритицизма, работами реакционного немецкого философа Рихарда Авенариуса и австрийского физика и философа-идеалиста Эрнста Маха.

Анатолий решает продолжать образование после окончания гимназии

в Цюрихском университете, где в то время преподавал Авенариус.

Этому желанию помогло осуществиться и то обстоятельство, что ввиду «политической неблагонадежности» он получил «четыре» по поведению в аттестате зрелости, а это являлось большим затруднением при поступлении в любой русский университет.

Получив согласие родных, Луначарский добился у властей разрешения отправиться за границу.

«Так начались мои странствия, — записал он через несколько лет, — земля раскрывалась передо мной, но кто знал, что путь будет таким долгим...»

III. „Студентик“ атакует Плеханова. Постулаты Рихарда Авенариуса

Остались позади березы над Днепром, киевские рассветы в дурманящем запахе просыпающихся садов, терпкий аромат гектографированных листов — чужие города и страны, обычаи и нравы, неведомые звуки и краски распаивала перед изумленными очами юного путешественника земля.

«Мы обретаем себя в странствиях и здесь же до боли учимся понимать, что такое Россия», — напишет он впоследствии жене. А в юности страстно зовет вперед чувство неизведанного, ощущение близости тех святынь, описания которых не раз встречал в книгах и которым поклонялся...

А осмыслить и понять ему предстояло многое...

Философские искания юности Луначарского протекали в годы ожесточенной полемики, смещения старых научных представлений, необыкновенных открытий, делающих единомышленников врагами и рождающих десятки новых учений и гипотез.

Открытия физики на рубеже XIX и XX столетий ломают старую механистическую картину мира. Оказываются несостоятельными признанные ранее «незыблемыми» положения о неразрушимости, вечности и неизменности физических свойств материи. Борьба между материализмом и идеализмом приобретала новые формы. В обиход входили термины и понятия, которыми оперировали для доказательства прямо противоположных истин. Идеологи буржуазии «научно» подкрепляли новыми данными ветхие постулаты религии и идеализма. Материализму нужно было объяснить революцию в современном естествознании.

Авенариус — само олицетворение возвышенной философичности. Жизненный путь его уже завершился — (он умер в 1896 году), болезни

сковывали дряхлеющее тело, и говорил он глухо и медленно, словно перелистывая страницы классического древнего труда.

— Господа! Философия не статична. Она охватывает настоящее и будущее бытия, и истинный ученый не опустится до суетливых политических сентенций, предпочитая смелые обобщения и выводы в высокой сфере теории.

Я говорю вам о чистом опыте, и понятие чистоты здесь смыкается с нашим духовным идеалом, стремлением к возвышенному. Мир чувств — высшее, что даровано нам судьбой... После лекции студенты расходились тихо, почти благоговейно поглядывая на удалявшуюся сторбленную спину профессора.

И только дома, снова и снова перелистывая труд со столь подходящим к характеру и манерам учителя заголовком «Философия как мышление о мире, согласно принципу наименьшей меры силы», Луначарский и его друзья становились сами собой, и готовящаяся ко сну хозяйка пансиона почти с мистическим благоговением прислушивалась к звонким голосам своих молодых жильцов.

— Да, но Авенариус и Мах говорят, что они в равной степени воюют против всякого догматизма — и материалистов и идеалистов.

— Но основа основ философии должна быть либо материалистической, либо идеалистической. И той и другой она быть не может. При чем здесь догматизм?

— Мах говорит: ощущения не символы вещей. Скорее «вещь» есть мысленный символ для комплекса ощущений, обладающего относительной устойчивостью. Не вещи — тела, а цвета, звуки, давления, пространства, времена — то, что мы называем обыкновенно ощущениями, есть настоящие элементы мира.

— Что в лоб, что по лбу. Если снять со всего этого шелуху новейшей терминологии, на поверку здесь чистейший идеализм. Дело не в терминах. Как ни называй материю, бытие — они первооснова.

— Но наука идет вперед!.. Всякая теория совершенствуется.

— Смотря куда идет. И Мах и Авенариус говорят, что они новаторы. Что — более того — их философская система, возвышаясь над материализмом и идеализмом, отбрасывает крайности и того и другого учения. А по существу, и у того и у другого «элементы» — это агностицизм, согласно которому мы не можем знать ничего достоверного об окружающем нас мире. Наши учителя отказываются видеть что-либо достоверное за пределами наших ощущений...

— А по-моему, нельзя согласиться с резкостью критиков Маха и

Авенариуса. У них не «голый» субъективизм...

— А в чем разница? Важно существо, философская суть спора, а не его эмоциональные оттенки...

Споры прерывались ненадолго, чтобы на другой день после лекций разгореться резче и жарче.

Шли дни, месяцы... Юность, ошеломленная лавиной неизвестного ей ранее, раскрывающегося перед умом и глазами, / впитывала терпкие и жгучие слова, часто веря им слепо, не / имея ни умения, ни времени проверить их опытом или данными другой теории.

Около года занимается Луначарский в Цюрихском университете.

«Я завалил себя книгами по философии, по истории, социологии и сам составил себе программу, комбинируя философское отделение факультета естественных наук, его натуралистическое отделение и некоторые лекции юридического факультета и даже цюрихского политехникума». Профессора замечают, что юноша отличается яростной страстью к науке. Именно в университетские годы складывается его воистину колоссальный фундамент знаний. Луначарский слушает курсы анатомии, физиологии, политической экономии, истории и литературы. Но основное, что его интересует, — философия.

Луначарский пишет рефераты, отдавая заметную дань постулатам маститого учителя. «Выступления в кругу товарищей принесли мне здесь некоторую известность», — пишет он домой.

И вдруг однажды в Цюрих из Женевы пришло приглашение.

Луначарского пригласил Плеханов. Тот самый, книги которого Анатолий читал еще в Киеве.

Признанный теоретик и ученый.

Встреча эта сохранилась в памяти Луначарского на всю жизнь.

«Я был тогда студентом Цюрихского университета и был близок к П. Б. Аксельроду, — рассказывал впоследствии Луначарский. — В Цюрихе у Аксельрода познакомился с Георгием Валентиновичем Плехановым. Там же, после первого нашего знакомства, Георгий Валентинович пригласил меня приехать в Женеву на 2–3 дня, обещая высвободить как можно больше часов для непосредственных бесед со мною не только на темы марксистской философии, но и по специально интересовавшему меня вопросу теории и истории искусства. Я был еще совсем молокосос, но, между прочим, довольно задорно лез в драку даже с товарищами, которые в сотни раз больше меня знали. Так и с Плехановым я позволял себе не соглашаться и защищать разные свои принципы. Конечно, это было очень трудно, и Плеханов, обыкновенно иронически прищурившись на меня,

довольно легко поражал меня той или иной убийственной стрелой,

Однако это не мешало моему восхищению перед Георгием Валентиновичем и, по-видимому, некоторому признанию с его стороны каких-то зачатков способностей у молодого петушившегося студентика — иначе он меня к себе не позвал бы.

Приехал я в Женеву утром, отправился сейчас же... на квартиру Плеханова. Вся семья еще спала. Выйдя оттуда, не зная, куда мне пойти, я попал на площадку перед собором. Как раз в это время кончилось какое-то богослужение, из собора вереницей потянулись молодые девушки. Я очень ярко помню тогдашние мои впечатления об этих мешаночках с белорозовыми лицами, с глазами ясными, словно их только что вымыли в воде и опять вставили в кукольные орбиты девочек и девушек, таких дородных и спокойных, что я ни на минуту не удивился бы, если бы они вдруг замычали. В моей душе боролись тогда два чувства. С одной стороны, я находил этих выпоенных на молоке и выкормленных на шоколаде девушек интересными, с другой — я возмущался тем облаком буржуазно-растительной безмятежности и спокойствия, которое, на мой тогдашний взгляд, окружало их юные головы.

Я помню, что, когда я попал, наконец, к Плеханову и он вышел ко мне в какой-то светлой пижаме и туфлях и начал угощать меня кофе, я прежде всего разразился филиппикой против женевских барышень. Плеханов ел сдобную булочку и ничего не говорил. Позднее я познакомился с его дочерьми, которые оказались ни дать ни взять сколком с осуждаемого мною типа «женевских буржуазных девушек».

Но не в этом дело. Об этом я вспомнил, потому что сейчас невольно улыбаюсь, когда возникает передо мной это первое женевское впечатление. Важнее были те дальнейшие беседы, которые Плеханов вел со мною частью у себя в квартире, частью в знаменитой пивной Линдольта за кружкой мюнхенского. Этих разговоров вспоминать здесь я не намерен, но я им был очень многим обязан. Плеханов назвал мне литературу, которой я до тех пор не знал, показывал мне великолепно подобранные иллюстрации, в особенности касательно перехода от рококо к революционному и послереволюционному искусству XVIII столетия и начала XIX, и т. д. Я навсегда сохранил в своей памяти Плеханова именно таким, каким я видел его тогда. Он был еще молод, элегантен, очень внимателен и вежлив со мной; помню, как он серьезно и проницательно смотрел из-под пушистых своих бровей; помню его карие глаза, одну из самых умных пар глаз, какие я когда-либо видел на своем веку».

Встреча запомнилась навсегда, заставила многое пересмотреть, а

главное — снова погрузиться в книги, раздумья, поиски.

В 1896 году Луначарский возвращается в Россию. Пробыл здесь недолго — прочитал в Киеве два реферата, побывал в Москве и Петербурге и вернулся за границу, на этот раз в Париж.

Новые и новые люди входили в жизнь Луначарского.

Он принимает близко к сердцу политические бури Франции. Тем более что выдающиеся деятели этой страны становились либо знакомыми, либо близкими Анатолию Васильевичу людьми.

Как раз в эти годы его покораляет обаятельная личность Жана Жореса:

«Мне казалось, на мой русский вкус, что у Жореса слишком много пафоса, слишком много широких жестов, которые казались мне деланными. Очень нравился мне только его ораторский голос, совершенно особенный.

Жорес говорил тенором, довольно высоким, звенящим. В первую минуту, когда этот тучный человек с красным лицом нормандского крестьянина начал говорить и когда я услышал вместо ожидаемого густого ораторского баса этот стеклянный звук, я был несколько ошеломлен. Но вскоре я понял, какая огромная сила заключается в самом тембре голоса Жореса. Этот звенящий голос был великолепно слышен, не мог быть покрыт никаким шумом, давал возможность необыкновенно тонко нюансировать, казался какой-то тонкой, напряженной золотой струной, передающей все вибрации настроения оратора.

Я заметил также, как великолепно принимает Жореса рабочая аудитория. Лучшие ораторы, которых я до сих пор слышал, — Гед, Жиро Ришар, Вивиани и другие социалистические трибуны, — далеко не могли так заморозить толпу на целый час и более, как это делал Жорес.

В большом зале, так называемом вокзале Тиволи, устроен был громадный социалистический митинг, на котором должны были выступать все знаменитые ораторы. Так как Гед был сильно болен, то упростили приехать из его находившейся под Парижем небольшой виллы Лафарга. По рекомендации Геда, я до того еще познакомился с Полем Лафаргом и его женой Лаурой Маркс, но Лафарга, как оратора, еще не слышал. Поэтому я всячески добивался пройти в Тиволи и не нашел другого выхода, как написать коротенькую записку Лафаргу с просьбой предоставить мне особый, льготный вход. Лафарг немедленно написал мне письмо к распорядителю митинга, и я смог проникнуть на трибуну. Насколько я помню, митинг

Гйюшел вообще с Огромным подъёмом. Ораторы не вступали между собой в бой, хотя в то время существовали, кроме французской рабочей

партии Геда и жоресовской группы, считавшейся в то время еще не совсем правоверной, брусисты и клеманисты. Ораторы на этот раз соединили свои усилия и критиковали правительственную политику, политику муниципалитета и т. д. Жорес был особенно великолепен. Он говорил столько же, сколько все остальные ораторы вместе. Я в первый раз услышал симфонию Жореса. Он любил собравшуюся перед ним огромную толпу и произнес речь, длившуюся 2–3 часа, речь, касающуюся и принципиальных установок и всех вопросов времени, настоящий доклад о текущем моменте. Самым великолепным в этой речи, кроме сильной и ловкой политической мысли, великолепного ораторского искусства и целой бездны отдельных острот или блестящих образов, было именно то, что аудитория слушала час за часом эту сложную политическую речь, касавшуюся иногда деталей, в совершенном упоении.

После окончания митинга Лафарг подошел ко мне и ласково сказал мне: «Не хотите ли выпить с нами стакан красного вина? Мы зайдем в кафе, там вы сможете познакомиться с нашими лидерами».

Можете себе представить, каким это было для меня счастьем.

Сидя между всемирно известными вождями французского социализма, я, конечно, совершенно оробел и за эти полчаса, во время которых пили вино, острили, подшучивали друг над другом (причем особенно отличался веселыми шутками длинноротый Жиро Ришар, своеобразный социалистический капуцин), не проронил ни слова. Но, сидя рядом с Жоресом, я внимательно рассматривал его большое тело, бычью шею, веселое красное лицо с небольшими маслеными глазками, которые блестели добродушием и веселостью. Он вступил в целую балагурную дуэль с Жиро Ришаром, и за столом все непрерывно смеялись. Жорес обратился ко мне уже к концу этого импровизированного собрания и сказал: «Ну, молодой русский друг, вы видите, какие весельчаки французские социалисты. Ясно, что дело социализма не так плохо, если мы здесь так хохочем». Я пробормотал что-то, крайне сконфуженный этим первым ко мне обращением».

Знакомство не оборвалось. Встречи с Жоресом, Лафаргом и другими деятелями социалистического движения Франции обогащали политический опыт Луначарского...

И когда он вспоминал дом Антонова, ночи над Днепром, казалось, что все это из далекого, когда-то пронесшегося во сне миража: столько событий и людей, границ и встреч осталось позади, и сам он изменился и был не похож на себя вчерашнего.

Кажется калейдоскопичным, подчас с взаимоисключающими друг

друга составными, круг интересов, книг, «авторитетов», событий, сопутствовавших «открытию мира» Луначарским: «Отечественные записки» и Тиль Уленшпигель, Лавров и Рихард Авенариус, «Капитал» Маркса и логика Милля, Ницше и Герберт Спенсер, Аксельрод и Дарвин, Шопенгауэр и Вера Засулич, Шорес и Гед...

Это было время приобретения огромных духовных ценностей, когда знание философии, литературы, искусства, музыки черпаются не из вторых рук, а даются сложнейшей работой ума.

Он хотел обойти все источники, чтобы знать о них не понаслышке. Вероятно, он мог бы заблудиться: ему повезло. Он вышел в путь в то время, когда всполохи революционных битв четко высвечивали все дороги. И не было места над схваткой, и ясно были видны и свет, и тень, и «трансформация» книжной мудрости в борьбе, и духовный поиск лучших людей России, готовящей ее к революционным битвам.

Кем хотел стать он тогда?

Революционером?

Философом?

Что же, он не только прикоснулся к тому и другому источнику. Собственно, судьба уже в эти годы объединила в его жизни и то и другое, выработав сохранившееся навсегда неистовое беспокойство души и определив его место на передовой революционной схватки.

Он не раз еще ошибется, но уже никогда не свернет с избранной в юности дороги...

НАКАНУНЕ

*...И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.*

Александр Блок

В 1897 году Луначарский едет в Россию.

Все внешне казалось устойчивым и незыблемым: по ночному распорядку сменялись караулы в Зимнем дворце, святили воду на Неве под рождество, в конторах Рябушинских и Филипповых строили планы расширения производства.

Так думал обыватель.

Тишина была обманчивой.

Эхо выстрелов народовольцев еще дрожало в смятенном воздухе, о чем-то глухо шептались рабочие на маевках, в глубоком подполье готовил к будущим штурмам свою армию Ленин.

Жизнь Анатолия Луначарского резко изменилась. Где-то в глубине души он давно готовился к этому. Немало о революционном подполье он знал из рассказов старших товарищей, книг. Но это умозрительное знание. Рано или поздно, а чаще рано, революционер его поколения должен был переступить и этот порог.

Многое произошло, пока он странствовал в чужих краях.

По инициативе Ленина объединились в единую социал-демократическую нелегальную организацию марксистские кружки Петербурга. В конце 1895 года эта организация назвала себя «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса».

Петербургские стачки 1895–1896 годов открыли новую полосу в истории России — полосу подготовки народной революции.

По примеру столицы союзы возникли и в других городах, в том числе и в Москве.

Здесь, как вспоминает Луначарский, он и его друзья «застали в революционном отношении порядочный развал».

«...Московский комитет был арестован, и от него остались только

некоторые следы в лице, главным образом, тов. А. И. Елизаровой, сестры Ленина, к которой я имел энергичные рекомендательные письма от Аксельрода и тов. Владимирского.

Вместе с ними мы приступили к организации нового Московского комитета. К нам примкнуло несколько социал-демократов... В близких отношениях с нами был кое-кто из молодежи и, конечно, рабочие, в особенности с завода Гужона и Листа. Работа постепенно стала налаживаться.

Нам удалось устроить небольшую типографию, удачно провести забастовку на заводе Листа, выпустить ряд гектографированных, а в последнее время и печатных листков, основать несколько кружков революционного самообразования и т. п. ...»

И вдруг — новый провал Московского комитета.

Что случилось?

Тогда многое было неясно, и, чтобы раскрылись обстоятельства случившегося, понадобилось очень много лет.

И нам, читатель, придется перенестись с 1897 года в год 1925-й, когда после революции неожиданно свела судьба и тех, кто готовил Октябрь, и тех, кто предавал его.

I. Суд. „Дама Туз”

— Свидетель Луначарский!

Анатолий Васильевич медленно поднимается, тяжелыми шагами идет к судьям. Взгляд его вновь и вновь останавливается на шестидесятипятилетней старухе, сидящей на скамье подсудимых.

Неужели это она, которой он, его жена, сестра Владимира Ильича Анна Ильинична и Владимирский пожимали руку, доверяли в те далекие годы нелегальную литературу?

Да, она, только годы посеребрили волосы да откровенно отчужденной, злой стала улыбка...

— Говорите правду, и только правду!..

За окнами суда звенит летняя Москва. Июнь 1925 года. Прошло четверть века, но и сейчас при одном воспоминании о страшных, непонятных провалах тех лет холодом сковывает сердце.

1894 год — провал Рабочего союза.

1895 год — одного за другим арестовывают членов социал-демократической организации Московского рабочего союза.

1897 год — провал кружков Воровского и Елагина,

1898 год — провал «Московского союза борьбы за освобождение рабочего класса».

1899 год — арест его, Луначарского, Смидович и других товарищей.

1901 год — провал Московского комитета РСДРП.

1902 год — второй провал Московского комитета... Провал за провалом... страшная, кровавая хроника.

И кто бы подумал, что всех выдала вот эта жалкая старушка, сидящая сейчас на скамье подсудимых!

Серебрякова. Она же «Субботина». Она же «Мамаша». Она же «Дама Туз». Платный агент охранки.

Немыслимая встреча!

Немыслимая, жуткая человеческая судьба!

Глухо стучит сердце. Луначарский говорит и не узнает своего голоса. Как будто это не он, а кто-то другой рассказывает притихшему залу:

— Я познакомился с нею более четверти века тому назад. Но тогдашняя Серебрякова встает передо мною совершенно живой. Это чрезвычайно подвижная дама, с лицом некрасивым, но симпатичным, с очень яркими, обладавшими каким-то особым живым блеском глазами, чрезвычайно разговорчивая, необычайно ласковая и отзывчивая на все общественное и личное.

Заехал я к ней с письмом от Аксельрода, который рекомендовал мне связаться через нее с московскими социал-демократами. Это и было сделано.

Не скажу, чтобы между нами завязалась какая-нибудь личная дружба. Но я и Луначарская, теперь Смидович, и мой покойный брат относились к Анне Егоровне с большим уважением и тепло. Я чаще других бывал у нее, и не только на разных вечерах, которые имели характер марксистского салона, но и более интимно, утром и вечером, к завтраку и чаю. Мы беседовали с Анной Егоровной, редко бывавшей одинокой, почти всегда окруженной какими-нибудь друзьями или гостями, о всех злободневных вопросах марксистской журналистики, об общих политических событиях, о друзьях в ссылке и за границей и т. д. Анна Егоровна любила потом уединяться с глазу на глаз и осведомлялась о том, что делается в нелегальной области...

Луначарский задумывается и продолжает:

— Серебрякова очень много знала, расспрашивала товарищей, интеллигентов и рабочих, как им живется, хорошо ли работают, осведомлялась о судьбе разных листков, о подготовительной работе для стачек. Очень многое из нашей деятельности было ей известно... Затем Анна Егоровна переходила на частные дела, заботилась о здоровье, о бытовых условиях того, с кем она беседовала, — и все это делалось с такой

ласковостью, с такой готовностью оказать всяческие маленькие услуги, что, уходя от нее, вы неизменно говорили себе: «Какой все-таки добрый и милый человек эта Анна Егоровна».

Напряженно работает память. Вспоминается еще один разоблаченный тогда же провокатор, Михаил Гурович. Помнится, с ним был знаком муж Серебряковой. Нужно рассказать и о нем:

— Ее мужа помню прекрасно. Он всегда производил крайне странное впечатление. Это был грузный мужчина, упорнейший молчун. Разве только клещами можно было вырвать у него слово. Он всегда смотрел вбок, редко в глаза... В сущности, на его мрачном лице лежала какая-то печать виноватости, внутреннего проклятия, но мы на это большого внимания не обращали. Серебрякова махала рукой на своего супруга и говорила нам: «Мой бедный муж не совсем нормальный, у него страшно тяжелая неврастения, и лучше оставлять его в покое...»

Луначарский тяжело садится. Анатолия Васильевича дополняет Анна Ильинична:

— В 1904 году проездом из Киева в Питер я зашла к Серебряковой, и впечатление было очень неприятное: она была очень расфранченной, какой-то нахально-самоуверенной... За чаем я намеренно внезапно сказала: «А мы еще общего знакомого забыли — Гуровича!» — и взглянула на обоих Серебряковых. Он вскочил, схватился руками за стол и весь затрясся, уставив глаза в одну точку. Она с тревогой посмотрела на него, подошла и сказала: «Тебе нехорошо, пойдя и успокойся», и увела его в комнату. Оставшись одна, я почувствовала некоторое угрызение: я слышала от нее часто, что он человек больной, нервный. Ведь и сознание, что принимал у себя провокатора, должно быть тягостно, думала я. И я ждала, что, возвратившись, она упрекнет меня. Но она просто заговорила о другом, как будто ничего не произошло, и это было мне всего неприятнее...

Подсудимая все отрицает.

Наконец ей предъявляют страшный документ — «Всепопданнейший доклад Министра внутренних дел». В нем говорилось: «В числе секретных сотрудников, состоявших в последнее время при Московском Охранном отделении, в течение 25-ти лет несла службу Анна Григорьевна Серебрякова, которая оказала весьма ценные услуги делу политического розыска. Благодаря ее указаниям розыскным органам удалось обнаружить несколько подпольных типографий, расследовать преступную деятельность различных профессиональных организаций, выяснить многие революционные кружки, проявившие свою деятельность в разных городах, имевшие связи с руководящими центрами столиц, и, таким образом,

нанести революционному движению весьма значительный ущерб.

Будучи убежденным врагом крамолы, Серебрякова исполняла свои обязанности идейно, мало интересуясь денежным вознаграждением, и совершенно тайно от своих родных. В силу принятых на себя добровольно обязанностей по содействию правительству в борьбе с революционным движением Серебрякова вынуждена была мириться с тем, что ее дети, встречая в доме матери людей революционного направления, невольно сами заражались их убеждениями, и ей приходилось нравственно страдать ввиду невозможности уберечь своих детей от опасности увлечения революционными идеями и связанной с этим совершенной шаткостью всей их жизненной карьеры.

...Все последние удары жизни настолько расстроили еще ранее подорванное здоровье Серебряковой, достигшей пятидесятилетнего возраста, что она лишилась трудоспособности, в последнее же время совершенно потеряла зрение на оба глаза.

Признавая ввиду сего участь Анны Серебряковой заслуживающей исключительного внимания и озабочиваясь обеспечением ее старости, всеподданнейшим долгом поставляю себе повергнуть на Монаршее Вашего Императорского Величества благовоззрение ходатайство мое о Всемилоостивейшем пожаловании Анне Серебряковой из секретных сумм Департамента Полиции пожизненной пенсии в размере 1200 рублей в год. Министр внутренних дел, Статс-секретарь Столыпин.

31 января 1911 года».

На докладе надпись рукою Столыпина: «Собственно Его Императорского Величества рукою начертано «СГ» — Согласен-в Царском Селе. Февраля 1 дня 1911 года. Статс-секретарь Столыпин».

В зале суда шум. Многие видели на своем веку сидящие здесь старые революционеры, бойцы ленинской гвардии.

Но такое даже им приходилось встречать не часто.

Луначарский шел по кривым арбатским переулкам. Лохматые тучи развернутым фронтом охватывали город. Первые капли дождя ударили по мостовой.

...«Дама Туз». Какая встреча! Встреча с подлостью, встреча с боевой юностью. Мысли текли отрывочно и бессвязно, тяжело; как эти тучи над головой.

И вспомнились ему другие берега и другие дали. Вспомнились друзья, оставшиеся верными революции на самых трудных перевалах.

Взять хотя бы того же Урицкого. Как это все было?..

Память восстанавливает подробности.

...Арестованы все члены Московского комитета. В ходе судебного разбирательства выясняется роль Луначарского.

Арест. Тюрьма.

Прежде чем отправиться в ссылку, Луначарскому удалось добиться разрешения на короткую поездку к родным в Киев.

И тут же явились товарищи из Красного Креста:

— Анатолий Васильевич! Дела у нас сейчас — швах! Не помогли бы нам? Вам это ничего не стоит, нужно прочитать реферат — сбор в нашу организацию.

Луначарский с тоской подумал — что из этого выйдет? Он же обещал «воздерживаться» от политической деятельности. Опять — тюрьма. Но и отказать — это было выше его сил. Красный Крест носил вполне невинное название, но занимался отнюдь не невинной деятельностью — был нелегальной межпартийной организацией. Оказывал материальную и юридическую помощь заключенным.

А, была не была!..

Как и следовало ожидать, все закончилось довольно грустно. И Луначарского, и бывших с ним впоследствии известнейшего советского историка Е. Тарле, пламенного публициста-народника В. Водовозова, и слушателей прямо с собрания под почетным эскортом казацкого конвоя препроводили в Лукьяновскую тюрьму.

Переступив ее порог, Луначарский и его друзья были несколько ошарашены. То, что происходило в «Лукьяновке», никак не вязалось с уже известным им ранее по заключению.

Это была какая-то особенная тюрьма. «Двери камер не, запирались никогда — прогулки совершались общие, и во время прогулок вперемежку то занимались спортом, то слушали лекции по научному социализму».

По ночам тюрьма пела и читала стихи.

И, что самое странное, надзирателям все это было вроде бы не в новинку: они довольно равнодушно проходили мимо камер, лишь изредка бросая:

— Господа, не особенно громко! Не подводите нас...

Осмотревшись, Луначарский узнал, что здесь имеется довольно могущественная коммуна, контролирующая питание, закупки на базаре. «Уголовные относились к коммуне с обожанием, так как она ультимативно вывела из тюрьмы битье и даже ругательства», — вспоминал Луначарский,

Чем было объяснить это чудо? Разъяснилось все просто: в тюрьме властвовал не столько начальник, сколько староста политических Урицкий.

Его познакомили с Луначарским.

Анатолий Васильевич увидел перед собой флегматичного, невозмутимого человека с большой черной бородой, медленно посасывающего маленькую трубку.

«Похож на боцмана дальнего плавания», — подумал Луначарский, когда новый знакомый представился:

— Очень рад, слышал о вас. — И, помедлив, о себе: — Моисей Соломонович.

Луначарский наблюдал за ним, чтобы потом рассказать товарищам: «...Он ходил по тюрьме своей характерной походкой молодого медведя, знал все, попевал всюду, импонировал всем и был благодетелем для одних, неприятным, но непобедимым авторитетом для других. Над тюремным начальством он господствовал именно благодаря своей спокойной силе...»

А что делал он сам? «В последние недели моего пребывания в одиночке, когда меня за какую-то провинность лишили прогулок во дворе, я начал страдать от бессонницы, следовательно, читал и писал до утра. Почерк у меня, ты сама знаешь, возмутительный, — писал он жене. — Каждое слово, написанное в тюрьме, подвергалось самой тщательной цензуре, и жандармский ротмистр, которому полагалось проверять мои рукописи, совершенно замучился. «Ради всего святого, г-н Луначарский, пишите разборчивее! У меня теперь из-за вас нет личной жизни: я ночи напролет сижу над вашими каракулями». Меня эти жалобы не слишком растрогали. Хуже, что я сам позднее мог разобрать далеко не все свои рукописи из Лукьяновки».

Восемь месяцев в Таганке — продолжение его «университетов».

Жизнь и борьба здесь состояли, казалось бы, из мелочей.

Но в каждой такой мелочи видно большее — не прекращающаяся ни дня, ни часа борьба с могущественной полицейской машиной, в которой, как думали ее руководители, было предусмотрено все и которая ломалась всякий раз, как только сталкивалась с непродажной душой, со сталью целостной натуры.

Сегодня удалось нарушить тюремный распорядок, завтра — добиться передачи запрещенных уставом книг, послезавтра — связаться с товарищами по заключению. И так день за днем.

«Тюрьма хочет задушить меня, — писал примерно в это же время Ольминский, — так нет же! Назло тюремщикам... Я насмеюсь над ними, и я уйду от них... Моей насмешкой будет мир души моей, взятый с бою. Я уйду только к окну, но буду далеко от вас. Смотрите: даже тюремный двор шепчет сегодня о жизни, любви и молодости...

А будущее — где ты? Берег за дальним туманом. И все-таки тюрьма живет только будущим, только мыслью о воле».

Именно «с боем» приходилось Луначарскому и его друзьям по борьбе отстаивать все лучшее, что было в их душе, от отупляющего, сводящего с ума своей монотонностью и однообразием тюремного дурмана. Не омертвела, не покрылась плесенью светлая и беспокойная душа подпольщиков. Она, как и на воле, распахивалась перед каждым дыханием жизни, проникающим в каменные мешки казематов. И первая весенняя капель, и стая облаков, пролетающая высоко в небе, и случайно попавший в камеру цветок гиацинта, и голуби, берущие хлеб из рук заключенных, и страстные строки Пушкина, оживающие в памяти, — все находило живой отклик в сердце Луначарского, сердце щедром, ненасытном к краскам и мелодиям земли.

Используя все возможности, Луначарский и здесь упорно работает: «...В духовном отношении эти 8 месяцев представляют один из кульминационных пунктов моей жизни, — пишет он в «Воспоминаниях из революционного прошлого». — Мне давали... возможность выписывать книги, на что я тратил все деньги, которые получал от матери. Я перечитал целую библиотеку книг, написал множество стихотворений, рассказов, трактатов...»

А впереди еще лежали долгие годы этапов и ссылок, уготованных царизмом Луначарскому и его соратникам по партии...

II. „Ссылали нас во время оно...“

Тяжелые думы вели в те годы перо Блока: «Вот русская действительность — всюду, куда ни оглянешься, — даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний. Когда же наступит вечер и туманы оденут окрестность, — даль станет еще прекраснее и недостижимее. Думается, все, чему в этой дали суждено было сбыться, — уже сбылось. Не к чему стремиться, потому что все уже достигнуто; на всем лежит печать свершений. Крест поставлен и на душе, которая, вечно стремясь, каждый миг знает пределы свои».

Видел эту застывшую, словно в оцепенении, Русь и Луначарский.

И особенно теперь — в годы ссылки. Не раз, когда левитановской грустью серели перелески, свинцовой становилась река и по утрам хрустел под ногами первый ледок, у Луначарского щемяще сжималось сердце.

Где-то далеко-далеко шумели большие города, выплывали в жемчужном блеске прожекторов лебеди на сцене Мариинского театра, по вечерам гуляли на ярко освещенных набережных люди, а здесь, когда за окном темень, и начинается чадить фитиль, и усталая рука отодвигает

кажущиеся никому не нужными листки, все виделось беспросветно-унылым, как промозглый дождь за ставнями.

И то, что он научился побеждать эту тоску и в буран и в холодный ливень пробираться по разъехавшимся мокрым доскам на окраину, чтобы прочитать реферат, а ночью снова заставлять себя сесть за стол, было большим, чем победой над собственными слабостями.

Изо дня в день постигал он азы сложной науки — политической борьбы в ссылке, науки, без знания которой не мог в его время мыслить себя ни один революционер.

Он был освобожден из тюрьмы в начале 1898 года, и ему было предложено до ожидания окончательного приговора выбрать город для местожительства.

Луначарский выбрал Калугу, где и пробыл «в ожидании приговора» целый год.

Внешне Калуга — сонный, провинциальный городишко, как тысячи других в России, — не хуже и не лучше. В сумерки люди тянулись к городскому саду с керосиновыми фонарями и полосатыми полицейскими будками. Знакомый К. Э. Циолковского А. В. Ассонов живописно рассказал об этих вечерах, столь характерных для старой русской провинции: «... Бравый в военной форме капельмейстер Вильямович встречал публику оглушительным маршем. Помню, как солдаты-музыканты, красные от натуги, изо всех сил дули в трубы. Средняя аллея из столетних лип вела на террасу, откуда открывался прекрасный вид на Оку и далекий горизонт...»

Но жизнь Калуги только внешне казалась сонной. Здесь (строит смелые гипотезы Циолковский. Незадолго до приезда Луначарского он уже создал свою знаменитую работу «Аэроплан, или птицеподобная (авиационная) летательная машина». Дьячок Александр Кедров мечтает построить механическую птицу. Вынашивает смелые планы демократического устройства России семья друга Репина — Ассонова. Среди учителей было немало тех, кого в полиции считали «опасными вольнодумцами».

Калуга являлась местом ссылки «политически неблагонадежных». Луначарский встретил здесь будущего большевика Скворцова-Степанова, будущих эмпириокритиков Богданова-Малиновского, Базарова (Вл. Руднева).

«Мы жили в Калуге необыкновенно интенсивной умственной и политической жизнью, — рассказывает Луначарский. — Во-первых, вместе с И. И. Скворцовым я начал интенсивную пропаганду в кружках, собранных из учителей и учащейся молодежи, а затем в организациях

рабочих». Здесь имеются в виду организации Калужского железнодорожного депо и полотняного завода.

Деятельность Луначарского привлекает внимание губернатора, предупредившего «крамольника», что тот может быть выслан в более отдаленные губернии России. Между тем, вспоминает Луначарский, «жизнь у меня была самая разнородная, начиная от кружков самообразования среди приказчиков и приказчиц, с которыми я начал с чтения Пушкина и Шекспира, продолжая литературным кружком с весьма определенным радикально-демократическим налетом... и кончая чисто рабочими организациями». Луначарский приобретает большую популярность среди рабочих и революционно настроенных интеллигентов Калуги...

А жизнь со свойственной ей диалектичностью серьезное и тяжелое «прослаивала» комизмом и несообразностями.

Был в Калуге фабрикант Д. Д. Гончаров, владелец полотняного завода. Личность довольно оригинальная:

«Сам Гончаров и его жена Вера Константиновна были людьми глубоко культурными, и полотняный завод превратился в настоящие маленькие Афины: концерты, оперные спектакли, литературные вечера чередовались там, принимая зачастую весьма оригинальный и привлекательный характер.

...Во всем этом я принимал живейшее участие... Д. Д. Гончаров был социал-демократом: к ужасу и негодованию соседних фабрикантов...

Я вскоре совсем переселился на Полотняный завод; туда же перевели мы 2 или 3 наших учеников из кружков... Мы вели «социал-демократическую работу» и старались через посредство рабочих Полотняного завода влиять на рабочих...

Полиция смотрела на все это с чрезвычайным неодобрением. У меня были прекомические столкновения со становым, который не знал, как вести себя, имея, с одной стороны, перед собою ссыльного, а с другой — личного близкого друга бога того фабриканта к уездного предводителя дворянства — Гончарова».

Несколько раз Луначарский ездит нелегально из Калуги в столицу. Во время одной из этих поездок он был схвачен полицией и приговорен к двухлетней ссылке в Вятскую губернию.

Анатолий Васильевич мучительно думает: как быть? А что, если еще раз «преступить закон»?

«...Более или менее самовольно выехал я в Вологду, остановился там и оттуда подал министру внутренних дел Плеве записку, заявлявшую, что я

болен, нуждаюсь в постоянном уходе и поэтому прошу оставить меня в Вологде, где живут мои близкие друзья».

Для таких слов основания действительно были: здоровье Луначарского ухудшилось, а друзья — Богданов с семьей — были переведены к тому времени на поселение в Кувшиново — местечко в пяти верстах от Вологды. Анатолия Васильевича связывала с Богдановым не только большая личная дружба. Луначарский был убежден, что в лице его друга русская философская мысль получила талантливого и многообещающего мыслителя.

Записка запиской, но сомнения не оставляли Анатолия Васильевича: «Надежды... не было никакой, и мы были приятно удивлены, когда тогдашний губернатор Князев получил от Плеве короткую телеграмму: «Луначарского оставьте»...»

В ставшем библиографической редкостью журнале «Север» (1923 год) опубликованы воспоминания старого революционера Ё: И. Ермолаева. К тексту их приложена гравюра — дом в Кувшинове. Одноэтажная избушка у реки. Ивы. Низко стелющиеся облака. Здесь в первый же вечер по прибытии в Вологду Луначарский, как рассказывает Ермолаев, читал собравшимся стихи. Свои и чужие. «Стихи, принадлежавшие А. В. и изображавшие историческое движение капитала, понравились... Они, по-видимому, затерялись, как и многие другие работы А. В. Кажется, Натал. Богдановна (жена А. А. Богданова) говорила, чтобы иллюстрировать рассеянность Ан. Вас, что забытые им чемоданы находятся во всех городах Западной Европы».

Первые вологодские впечатления были теплыми: «Как раз потому, что я приехал в этот засыпанный снегом городок, в тот день сиявший на солнце... — я воспринял новые вологодские впечатления необычайно радостно» («Из вологодских воспоминаний»).

В Вологде Луначарский женился на сестре Богданова Анне Александровне.

...Я иду по заснеженным улицам Вологды. Тихо падает снег, и так же, наверное, более полу столетия назад теплились уютом сквозь снежную пелену окна. Вот мимо этих домишек шел на диспут Луначарский. Здесь стоял он, окруженный учениками гимназии, оживленно жестикулируя, споря, доказывая, возражая.

Мы идем с молодым вологодским поэтом Василием Пановым. Я много рассказывал ему об Анатолии Васильевиче, и в один из долгих зимних вечеров родились у него строки, так странно звучащие у высоких каменных домов, будто пришедшие из темной глубины отшумевших лет:

Он мостовыми этими ходил.
Ссутулясь, открывал чужие двери.
И ночь была — не сосчитать могил,
И день вставал — он в это твердо верил.

Стихи были написаны о Луначарском...

Докладов тогда читалось в Вологде великое множество. Весьма заметной фигурой был здесь Николай Бердяев, только еще начавший переходить от идеалистически окрашенного марксизма к сумеркам мистики, из которых нырнул прямо в ночь философского православия. «Эту эволюцию Бердяева, — иронизировал Луначарский, — конечно, замечали, но изящество его речи и широкая культурность подкупали ссыльных и крутившуюся вокруг них молодежь. Мне пришлось с первых же рефератов выступить со всей резкостью именно против Бердяева... Сам Бердяев, несмотря на все мои приглашения приходить на мои рефераты и возражать мне, туда не являлся».

Жил тогда в Вологде на поселении и небезызвестный террорист Борис Савинков. «На одном из собраний, — рассказывает Е. Ермолаев, — выступил В. Савинков с горячей речью и обвинениями с.-д. в крохоборстве, трусости и прочих грехах... Он призывал к энергичной, насколько я помню, террористической борьбе. Само собой разумеется, Савинков получил должный отпор».

Так в полемике, спорах, диспутах шли дни.

«Сложь руки, — рассказывает Луначарский, — я сидеть не хотел... Литературная же моя деятельность, публицистическая, началась действительно в Вологде. Я опубликовал... ряд статей: «Русский Фауст» в «Вопросах философии и психологии», «Белые маги» в «Образовании» и несколько более мелких, полемических статей против идеалистов»...

Прокурору с тревогой доносили: Луначарский «подвергает дерзкому осмеянию существующий у нас самодержавный образ правления и настаивает на необходимости его упразднения путем учинения государственного переворота и замены его демократической республикой. Без этого, по мнению автора, немислимы в России никакое благополучие и мирная жизнь как для всего народа, так и в особенности для рабочего и крестьянского сословий».

Речь шла о статье «К характеристике текущего момента».

Когда мы перелистали папки Ленинградского Центрального исторического архива, стало особенно ясно, сколь много хлопот причинил

он царской цензуре.

Казалось бы, например, что крамольное может вещать миру и людям безобидный «Вестник портных». Так нет! Жандармам приходится арестовать и уничтожить сдвоенный номер: «по невыясненным причинам» сюда попадает статья Луначарского «Певец нового мира». Воспользовавшись как поводом приездом Эмиля Верхарна в Россию, Луначарский говорил о революционной борьбе в России.

Неистовствовал прокурор.

Летели депеши.

Используя все легальные возможности, критик и публицист продолжал свое дело...

Рождался тот знакомый впоследствии тысячам и тысячам облик литератора-бойца, критика, который начал складываться именно в годы ссылок и скитаний.

Леволлиберальная газета «Северный край» (Ярославль) предложила Луначарскому быть корреспондентом в Вологде. Анатолий Васильевич согласился.

В одной из корреспонденции он описал спектакль, устроенный на заводе членами казенной палаты с кадетом Миквицем во главе.

Луначарский издевался: весь зрительный зал был занят высокопоставленными служащими. Рабочие и работницы были вынуждены четыре часа провести стоя. «Хорош спектакль для рабочих», — иронизировал Анатолий Васильевич.

Миквиц обиделся и донес губернатору Ладыженскому. И здесь разыгрался настоящий фарс.

Ладыженский решил выслать Луначарского еще дальше на Север. Луначарскому это явно не улыбалось: ему не хотелось отрываться от родных, близких, от ставшей уже привычной среды, он только что женился.

«Я поднял большой шум, — вспоминает Луначарский. — Писал в печати в разные стороны. Ладыженский отменил свой приказ», но затаил обиду,

После первой же резкой речи Луначарского губернатор вернулся к прежнему решению.

Луначарский наотрез отказывается ехать. Его посылают этапом. Добрались до города Кадникова. Здесь Анатолий Васильевич получает заранее обусловленную телеграмму от жены: «Чувствую себя плохо, приезжай», — и самовольно возвращается в Вологду. Ладыженский тут же отдает приказ об его аресте. Но в чем-то он чувствовал себя неудобно: кому хочется — прослать ретроградом — Луначарский личность уже широко

известная в демократических литературных и политических кругах.

«...Арест, — рассказал «потерпевший», — принял довольно чудаческие формы. На целый день я отпускался из тюрьмы к моей жене и моим родным, а городской сидел в кухне и любезничал с кухаркой. Вечером в восемь часов меня отводили в тюрьму, где я ночевал до 10 часов следующего утра. Так продолжалось недели две, после чего я этапом выслан был в Тотьму».

И здесь не обошлось без «приключений». Бумаги на Луначарского оказались плохо выправленными, и он снова застрял в Кадникове. Снова предпринял попытку самовольно навестить в Вологду, и опять неудачно. Пришлось познакомиться с Кадниковской тюрьмой, где его посадили в камеру с уголовниками. Здесь Луначарский заразился чесоткой. Болезнь протекала в тяжелой форме.

«Наконец, — это рассказ самого Анатолия Васильевича, — я выехал в Тотьму, в страшную распутицу, ехал с каким-то урядником с быстротой похоронной процессии, так что те 150 или 200 верст, которые отделяют Кадников от Тотьмы, мы ехали целую вечность».

В одном из неопубликованных писем Луначарский замечает: «Тотьма так Тотьма. Не хуже и не лучше многого другого. И здесь можно работать».

Письмо заканчивается шуточным стихотворным экспромтом:

Ссылали нас во время оно,
Тебя приветствую, Сухона!
И славен будь тот град Тотьма,
Смешались в коем свет и тьма...

Вскоре приехала жена. Она помогла ему стать на ноги.

Так он оказался на берегах Сухоны перед новой неизвестностью, перед тяжелыми, медленно отсчитывающими время годами. Он успел полюбить этот городок: «Тотьма очаровательный уездный городок, с церквями в стиле рококо, на берегу громадной реки, за которой тянутся огромные леса. Недалеко от города лежит монастырь, где жил какой-то чудотворец, куда можно ездить на санях, сквозь серебряные зимние леса, и где дают хлеб, квас и уху, каких я ни до, ни после никогда не едал. Это было нашей любимой прогулкой... Я развернул сразу большую работу... в «Образовании» и «Правде»... Там же я написал и первые мои книги изложения философии Авенариуса и первый сборник «Очерки критические и полемические». Там, наконец, написаны мной были «Очерки позитив:

ной эстетики» (имеются в виду «Основы позитивной эстетики». — А. Е.), ряд критических и полемических этюдов».

Такую большую, сложную творческую личность, какой был Луначарский, не разложишь по полочкам. Формируясь как страстный, убежденный пропагандист революционного марксизма, он, находясь в непрестанном поиске, не на все философские вопросы находил правильный ответ.

Нельзя здесь не учитывать и обстоятельств, сопровождавших становление эстетики Луначарского — влияния идей Авенариуса, Маха и Спенсера.

Образно говоря, сорняки идеализма уже тронули поле. Но оно еще давало такие урожаи, что никто не говорил всерьез об опасности. Она скажется позднее. После поражения первой русской революции.

Развернутое изложение своих эстетических взглядов дано Луначарским в «Основах позитивной эстетики». Здесь эстетика рассматривается как наука об оценке всего существующего с трех точек зрения — истины, красоты и добра. Но что такое добро? Без классового содержания это пустой звук, абстракция, не могущая ничего определить. Отрывая теорию познания от диалектического материализма, Луначарский тем самым возвышал эстетику над теорией познания.

Ревизовались марксистские взгляды на философию, как на острейшее оружие политической борьбы. Только так и можно оценить положение вещей, когда вместо борьбы выдвигался принцип «утешительства», как якобы едва ли не ведущей цели работы философской теоретической мысли: «Философия, которая не утешает, не может иметь ценности моральной».

Сам Анатолий Васильевич полагал, что он развивает марксизм. В чем же здесь дело? На «Основах позитивной эстетики» заметно сказалось влияние теорий «антропологического материализма» Фейербаха и Чернышевского. Но в их учении были взяты лишь слабые стороны.

Антропологизм (от греческого «антропос» — человек) — философский принцип, рассматривающий человека как преимущественно биологическое существо, вне связи с конкретно-историческими общественными отношениями. Следуя этому принципу, причины многих общественных явлений Луначарский сводил к биологическим факторам. Ошибка усугублялась еще и тем, что хотя Луначарский и выступал против идеалистического принципа о первичности идеи, сознания, но первичными у него — в духе махистских представлений — оказывались опыт, психика, ощущения. Внешне «материалистическое» здание покоилось, таким образом, на явно идеалистической основе.

В работах, посвященных проблемам эстетики и вопросам литературы, Луначарский отдает дань эстетическим концепциям Авенариуса. В 1904 году он выпускает в издательстве Чарушникова и Дороватовского книгу «Критика чистого опыта Авенариуса в популярном изложении А. Луначарского» с изрядным налетом идеалистического тумана. Конкретно-историческое понимание законов развития общества Луначарский подменяет здесь и в ряде статей рассуждениями о некоей абстрактной категории биологического рода, или, как он иногда называет, вида.

Луначарский, считая, что задача искусства — «концентрация жизни» — «на данное количество воспринимающей энергии дать гораздо больше ощущений, чем дает обыденная жизнь», — рассуждает таким образом: на всякое восприятие — и чувственное и идейное — человек затрачивает известное количество энергии. Всякое восприятие обогащает нашу психику, но требует определенного расхода энергии, что само по себе является минусом. Поэтому для того чтобы получить максимум «пользы» — ощущений, приносящих человеку радость, — надо до минимума свести издержки утомления. Тогда мы получим то, что называют «гармоническим организмом».

Исходя из такой теории «биологического равновесия», Луначарский считал ошибкой искусства всякое равнодушное или сочувственное изображение язв жизни, всего «жалкого и презренного». Ясно, что при таком подходе к деятельности художника всякий социально-политический критерий ее оценки утрачивался, подменялся абстрактно-биологическим. Ибо что такое «гармонический организм», взятый вне социальных, классовых, экономических факторов? Абстракция, миф — не более!

Исследователи много спорили, например, о статье Луначарского «Перед лицом рока. К философии трагедии». Действительно, противоречия здесь кричащие. Образ Гамлета рассматривается совершенно внеисторически, втискивается в прокрустово ложе надуманной, методологически совершенно несостоятельной схемы,

По Луначарскому выходит, что Гамлет состоит из противоборства двух принципов: бунтарства и смирения. Первое поднимается на щит. Второе предается анафеме.

Вроде бы о чем здесь спорить! Этаким примитивизированный Гамлет — для кого он приемлем? Но разве от махизма, от идеалов абстрактной «гармонии» идет утверждение: самым существенным выводом этой работы является та мысль, что перед лицом рока есть только одна истинно достойная позиция — борьба с ним, стремление вперед, прогресс, который нигде не хочет остановиться?

Нет, идеал этот уже не вместишь в круг размышлений махистской эстетики. Луначарскому становится тесно в ней. А это огромной важности симптом движения к неминуемому разрыву с ней в дальнейшем. Сказавший «А» обязательно скажет и «Б».

«Наши симпатии на стороне новых путей, — писал он в журнале «Обозрение» (1903), — не таких, которые выразились в... религиозной философии Достоевского, в картинах Иванова». В другой статье это понятие расшифровывается: «Новый путь — путь коренного революционного переустройства общества».

Так шел в его сознании напряженный бой двух философий, и то обстоятельство, что путь Луначарского в самое ближайшее время так естественно перекрестится с путем Ленина, красноречивее всех иных доводов говорит, что победило тогда в этом споре...

«Я вспоминаю Тотьму, как какую-то зимнюю сказочку... с постоянным умственным напряжением за чтением все вновь и вновь получавшихся книг и приведением в порядок своего мирозерцания, за спорами, отчасти и за поэтическим творчеством». у Семьи Анатолия Васильевича сразу стала «культурным центром» местного общества. Налаживались связи с тамошней учительской семинарией. Неожиданно прибыл хорошо знавший Луначарского по Вологде полицмейстер Траковский, назначенный исправником в Тотьму. Он заставил городской клуб вычеркнуть Луначарского из списка, а его попросил воздержаться от посещений клуба, кричал на всех, кто ходил к Анатолию Васильевичу в гости.

Круг сужался, и спасением были лишь «чудесная северная природа, чудесные книги и немногие, но искренне любившие нас друзья...».

Срок' высылки истек. На пароходе по Сухоне спустились Луначарские к Вологде. Дальше лежал путь в Киев и за границу...

И ВЕЧНЫЙ БОЙ...

*Есть дни и годы, к которым память возвращается
снова и снова — всю жизнь.*

А. В. Луначарский

То, что происходило в революционной эмиграции за границей, представлялось ему довольно смутно. До Вологды и Калуги, Тотьмы и Киева доходили самые разноречивые слухи. Зарубежные издания попадались нерегулярно...

Теперь предстояло разобраться во всем самому.

I. Встреча в отеле „Золотой лев”

Весна рано пришла в Париж. Набухли почки каштанов на Больших бульварах, долго за полночь не затихал Латинский квартал, и на Сен-Жермене тревожно и дурманяще распускались липы.

Эта весна, весна 1904 года, подарила Луначарскому встречу, перевернувшую всю его жизнь, осветившую долгие и трудные годы его пути. Она так ясно сфотографировалась в памяти, что малейшие детали через много-много лет воскресали в подробностях, звуках и красках.

...Над площадями и улицами города темнела предрассветная хмарь.

«Ко мне в дверь комнаты в отеле «Золотой лев» около бульвара Сен-Жермен в Париже постучались. Я встал. На лестнице было темно. Я увидел перед собою незнакомого человека в кепке, с чемоданом, поставленным около ног.

Взглянув на мое вопросительное лицо, человек ответил: %

— Я Ленин. А поезд ужасно рано пришел.

— Да, — сказал я сконфуженно. — Моя жена спит. Давайте ваш чемодан. Мы оставим его здесь, а сами пойдем куда-нибудь выпить кофе.

— Кофе действительно адски хочется выпить. Не догадался сделать этого на вокзале, — сказал Ленин.

Пошли. Но в эту пятичасовую пору по всем улицам левого Парижа вокруг Вожирара все было закрыто и пусто.

— Послушайте-ка, Владимир Ильич, — сказал я, — тут в двух шагах живет один молодой художник по фамилии Аронсон, крупный мастер, уже заслуживший немалую известность. Я знаю, что он начинает работу

страшно рано. И по чашке кофе он нам даст. А там и Париж начнет жить».

Они зашли к Аронсону.

Владимир Ильич обошел большую мастерскую, с любопытством осмотрел выставленные там гипс, мрамор и бронзу.

Хозяин приготовил кофе. Ленин со вкусом крякнул, намазал хлебец маслом и стал завтракать, как сильно проголодавшийся с дороги человек.

Аронсон отвел Луначарского в сторону.

— Кто это? — зашептал он на ухо.

Луначарскому показалось не совсем конспиративным называть Ленина. Он ведь даже не знал, есть ли у Владимира Ильича регулярный паспорт для пребывания в Париже.

— Это один друг, очень крупный революционный мыслитель. Этот человек еще сыграет, быть может, большую историческую роль.

Аронсон кивнул головой:

— У него замечательная наружность.

— У него замечательнейшая голова, — продолжал Аронсон с возбуждением. — Не могли бы вы уговорить его, чтобы он позировал? Я сделаю хоть маленькую медаль. Он мне очень может пригодиться, например, для Сократа.

— Не думаю, чтобы он согласился...

«Тем не менее, — вспоминает Луначарский, — я рассказал об этом Ленину, о Сократе тоже. Ленин буквально покатывался со смеху, закрывая лицо руками...»

Потом Ильич и Анатолий Васильевич долго ходили по городу, обговаривая в деталях планы статьи, сроки сотрудничества Луначарского в большевистских изданиях. Ленин много и подробно рассказывал о женевской колонии эмигрантов.

Нужно ли говорить, что значила для Луначарского эта первая встреча с Ильичем!

Всю жизнь вспоминал он ее. И для Аронсона она не прошла бесследно.

В 1925 году судьба снова забросила Анатолия Васильевича в Париж.

Аронсон пригласил его посмотреть отлитый в гипсе большой бюст Ленина.

— Я пришел во время той замечательной встречи с Лениным к выводу, — сказал художник, — что могу и должен делать бюст Ильича заочно. Прошли годы. После смерти он стоял передо мной все более пластичный и одухотворенный... И я не мог не вылепить его.

Бюст был замечательный. Он сразу приковывал к себе внимание.

Конкретного сходства было не так много.

«Конечно, огромная личность Ленина, если ее брать «легендарно», т. е. стараться в мраморе уловить черты его образа, который строится в человечестве, отражая не физическую его фигуру, а культурную, общественно-революционную, допускает разные толкования и, наверное, еще много раз будет подвергаться толкованиям всех искусств, — рассуждал Луначарский. — Но что дал Аронсон? Он воспринял Ленина, если хотите, политически даже несколько наивно и тем не менее, как я уже сказал, многозначительно. Художник Аронсон ненавидел самодержавие. Ленин для него прежде всего воплощение и вождь революции, вдребезги разбившей трон. Он благодарен ему за это, горд им как великим демократом, но, как мирный художник, как культурник, он сильно испуган им — этим властным разрушителем. Он хорошо знает, что Ленин пошел дальше, что революция, связанная с именем этого человека, разбила также и капитализм и провозгласила реальный, на деле осуществляемый переход к царству справедливости...»

— Эта моя работа — лучшее из того, что я когда-либо создал, — так Аронсон, автор многих скульптурных портретов — Бетховена, Толстого, Пастера, Шопена, — оценил выполненный им портрет Владимира Ильича.

Бюст вождя как дар родственников покойного скульптора советскому народу хранится в Центральном музее В. И. Ленина.

В малоизвестной статье «Ленин из красного мрамора» Луначарский назвал этот бюст «одним из вершинных, а может быть, до сих пор и самым высоким художественным отражением Ленина...».

Многое пришлось передумать в те дни Луначарскому, глядя из маленького окна своей обители в «Золотом льве» на тихие весенние сумерки...

Во время раскола партии на большевиков и меньшевиков вначале он не все понимает в их позициях — трудно судить обо всех деталях и подробностях на расстоянии.

«...Прожить политическую жизнь, — говорил В. Д. Бонч-Бруевич, — не поле перейти; здесь жестоко нарушаются все чисто личные симпатии и привязанности. Вчерашние друзья становятся заклятыми врагами. Там, где только что были совет да любовь, властно выскакивают разногласия и ненависть, ибо нет более глубоких расхождений, как расхождения принципиальные, расхождения по убеждению». Вчерашние друзья В. И. Ленина по революционной работе — Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич — становятся его противниками.

Со многими, с кем дружил, спорил и шел рядом Луначарский в

ссылках, Париже и Женеве, его дороги разошлись...

В партии шла битва.

Чтобы успешно руководить революционной борьбой, нужно было решительно укрепить партию, выработать верную линию в революции. Но ряды РСДРП были расколоты дезорганизаторской деятельностью меньшевиков.

Партии нужен был III съезд. Для подготовки его был создан орган большевиков — газета «Вперед» (она выходила с 22 декабря 1904 года по 5 мая 1905 года). Размышляя над составом будущей редакции, Ленин писал в декабре 1904 года М. М. Литвинову из Женевы в Россию: «Состав литературной группы для будущего нашего ЦО тоже вполне намечен (пятеро или шестеро: Рядовой, Галерка, я, Шварц + *Луначарский* + может быть *Базаров*)». (Рядовой — А. Богданов, Галерка — М. Ольминский, Шварц — В. Боровский. — А. Е.) Окончательный состав редакции сложился из Ленина, Воровского, Луначарского и Ольминского.

Разобраться в перипетиях борьбы нужно было досконально. Луначарский рассказывает:

«Я выписывал себе всю меньшевистскую и большевистскую литературу и старался вчитаться в нее... Наконец, в Париж приехал за мной Владимир Ильич и лично заставил меня совершенно покончить с моими сомнениями...»

Луначарский немедленно выехал в Женеву и вошел в редакцию газеты «Вперед», а позднее — «Пролетарий» (выходил с 14 мая по 12 ноября 1905 года).

II. В Женеве. „Школа Владимира Ильича“

«В день приезда смотрел на суету ярмарки и слышал ее пискливые шарманки, то весело, то заунывно напевавшие с разных сторон площади. Эта женевская ярмарочная шарманка была как будто увертюрой к женевскому же куску моей жизни.

В день моего приезда вечером, если я не ошибаюсь, было первое собрание нашей редакции. Я познакомился тогда с Галеркой-Ольминским, с ...Воровским, с Вл. Дм. Бонч-Бруевичем, который был тогда нашим администратором и финансистом, с Мар. Никол. Мендельштамом-Лядовым, наконец, с Надеждой Константиновной», — рассказывал Луначарский о первых женевских впечатлениях. Надежда Константиновна, несмотря на то, что она была вряд ли старше остальных членов близкой к Ильичу группы, играла роль «партийной мамы». Она всегда была спокойной, сдержанной и все знала, за всем следила, вовремя давала советы, и все до чрезвычайности с ней считались.

«После первого заседания (а может быть, и второго) Ольминский, выйдя со мной из маленькой комнатки, где мы сдавали наши статьи Ильичу, с восхищением сказал: «Мне кажется, что мы всегда будем работать дружно».

И они действительно сработались. «Первое впечатление, которое осталось от Анатолия Васильевича, — рассказывает Крупская, — это впечатление борца. Приехал в Женеву товарищ, который встал рядом с Владимиром Ильичем и с небольшой тогда группой большевиков-ленинцев и весь свой талант, все свои силы отдавал на борьбу за правильную марксистскую линию, на борьбу против меньшевизма».

Луначарский и Ольминский слышали, как меньшевики обвиняли Ленина и его соратников в дезорганизаторстве, бюрократизме, бонапартизме и всяких других смертных грехах. Ольминский шутливо рассказал об атмосфере тех дней:

«И то ли уж неудачи меня преследовали, только я узнал многое, а гильотины все-таки в работе у «большинства» не видал... требования слепого повиновения не слыхал...

Я заявил, что, оставляя пока про себя, как не относящуюся к делу, свою оценку действий большинства и меньшинства на съезде и после съезда, я не вижу в настоящее время оснований к революционному образу действий против учреждений, избранных съездом. (Речь идет, о центральных органах партии, избранных съездом. — А. Е.) Этого оказалось вполне достаточно, чтобы встретить самое лучшее товарищеское отношение со стороны большинства...»

Так и для Луначарского не нужно было много времени, чтобы разобраться в существе споров на II съезде.

Он и Ольминский сделали твердый выбор. Сам этот выбор говорил о многом: «Подбор в революционные партии шел исключительно богатый, — писал Луначарский. — Романтики без силы объективной мысли отсеивались в ряды эсеров. Теоретики-марксисты без силы воли, без революционного движения отходили в мелкобуржуазный меньшевизм. В рядах большевиков оставались те, которые соединили уважение к совершенно точной и трезвой мысли с очень сильной волей, кипучей энергией. Эта партия, нелегальная в течение десятилетий, требовала необыкновенной закалки».

Начались работа в газете, митинги, рефераты, собрания.

Многие тогда выступали под псевдонимами, но мало у кого псевдоним соответствовал в такой мере самому духу строк, под которыми он стоял. «Воинов» — так подписывался Луначарский.

Выбор псевдонима Ольминским был связан с любопытными обстоятельствами, очень характерными для политической атмосферы в женеvской колонии эмигрантов.

Первая брошюра, подписанная этим псевдонимом («Наши недоразумения»), заканчивалась следующими знаменательными словами: «Я окончил статью и задумался: каким псевдонимом подписаться? Мне вспомнился Мартов и его великолепное презрение к галерке, которая рукоплещет Ленину... Мартов презирает галерку. Для кого же он пишет? Неужели для генералов, кресел и для купчих бельэтажа? Я люблю театр, и почему-то так случается, что всегда попадаю на галерку. Публика галерки мне по душе, я чувствую себя здесь между своими. И к вам, товарищи по месту в театре и по работе в партии, к вам, рабочие, студенты, курсистки и всякого рода поднадзорные, будет мое последнее слово. Я обращаюсь к вам с просьбой извинить меня за то, что свой единственный труд осмеливаюсь подписать нашим общим собирательным именем — Галерка».

В этой сложной обстановке обостренной внутрипартийной борьбы началась работа «впередовцев».

Непосредственно литературное сотрудничество Луначарского не было регулярным. Он много выступал как пропагандист, часто выезжал из Женевы. Но за бурный, богатый событиями 1905 год он прошел в газетах «Вперед» и «Пролетарий» замечательную ленинскую школу журналистики.

Школа Владимира Ильича, партии определила основу ос нов развития этого крупнейшего деятеля нашей партии и Советского государства, писателя и критика.

Рассказывая о том, как верил Владимир Ильич в литературный талант Луначарского, Н. К. Крупская писала: «...Умение оформлять — искусство. (Речь идет о литературном оформлении материалов в газете. — А. Е.) И Владимир Ильич особенно ценил тех членов редакции и сотрудников, которые обладали талантом оформления, Это не только вопрос стиля и языка, но вся манера развития и освещения вопроса. С этой стороны Владимир Ильич особенно ценил Анатолия Васильевича Луначарского, не раз говорил об этом. Вот выскажет кто-нибудь какую-нибудь верную и интересную мысль, подхватит ее Анатолий Васильевич и так красиво, талантливо сумеет ее оформить, одеть в такую блестящую форму, что сам автор мысли даже диву дается, неужели это его мысль, такая простая и часто неуклюжая, вылилась в такую неожиданно изящную, увлекательную форму. Мне приходилось несколько раз присутствовать при разговорах Владимира Ильича с Анатолием Васильевичем и наблюдать, как они «заряжали» друг друга».

Тем не менее сотрудничество Луначарского в газете «Вперед» началось с того, что Ленин трижды заставлял его перерабатывать набросок программного объявления об издании газеты...

Была отличительная черта у Ленина-редактора. Требовательность к сотрудникам — и еще большая строгость к себе. Как вспоминают соратники Ленина, он обладал замечательным умением давать свои указания в простой, одному ему свойственной, товарищеской форме, без малейшей тени какого-либо поучения, наставления.

Ленин требовал от журналистов, литераторов ясности изложения мыслей, четкости, исключавшей возможность неправильного или двусмысленного толкования фраз. В этом отношении интересно письмо Ленина Луначарскому по поводу его брошюры об отношении партии к профессиональным союзам. Ознакомившись с книгой, Владимир Ильич заявил: «Преинтересная и отлично написанная вещь. Одно только: неосторожностей много внешних, так сказать, т. е. таких, к которым *придираться* будут всякие эсеры, меньшевики...»

Но, не желая стилистически иным вмешательством испортить блестящую манеру письма Луначарского, Ленин отказывается от поправок.

«Мы совещались коллективно, ретушировать или в предисловии оговорить? Решили последнее, ибо ретушировать жаль; это значило бы слишком много нарушить цельность изложения.

Разумеется, добросовестный и внимательный читатель сумеет правильно понять Вас, но следовало бы Вам все же *отгораживаться специально* против лжетолкователей, ибо имя им легион».

Как-то Луначарский, бичуя немецкий оппортунизм, в полемическом пылу перенес свою критику на всю немецкую социал-демократию. Ленин предостерегает литератора: «...Все Ваши мысли можно и должно излагать всегда так, чтобы критика направлялась не на ортодоксию, не на немцев вообще, а на *оппортунизм*. Тогда Вас *нельзя* будет перетолковать вкривь».

А сколько сказано в письме Ленина к Луначарскому, где содержатся редакционные предложения по переработке статьи Луначарского «Парламент и его значение». «Статья Ваша берет чрезвычайно интересную тему, крайне своевременную, — пишет Ленин. — ...Но у Вас не вышло разбора. По-моему, надо переделать статью в одном из двух направлений: либо перенести центр тяжести на наших «играющих в парламентаризм» новоискровцев, показать подробно условное, временное значение парламентаризма, пошлость «парламентских иллюзий» в эпоху революционной борьбы... и привлеки Гильфердинга лишь для иллюстрации... Либо взять Гильфердинга за основу и тогда меньше

придется переделать статью... Уместно обстоятельно разобрать отношение «"парламентаризма» к революции..."»

Вот эти мысли... у Вас намеченные, надо развить, разжевать, в рот положить. Россияне страшно нуждаются теперь в пояснении с азов соотношения между парламентаризмом и революцией. А Мартов и К° истеричничают, вопя: скорее бы легально! Скорей бы открыто!.. Нам именно теперь нужна выдержка, нужно продолжение революции, борьба с жалкой полулегальностью».

Замечания Ленина всегда предельно конкретны, охватывают основные, ведущие положения работы.

Часто вспоминал потом Луначарский, как Ленин говорил сотрудникам «Пролетария»: вы пишете для масс, а поэтому статьи должны быть кристально чистыми, освобожденными от мусора малоизвестных диалектизмов и выпренней, псевдонаучной иностранщины. «Каждый раз, — замечает Анатолий Васильевич, — когда кто-нибудь употреблял иностранное слово там, где можно было сказать проще, Ленин подтрунивал и говорил, что нечего показывать свою ученость, что «вы пишете не для академиков», а для рабочих. В. И. Ленин советовал подумать автору, как будет досадно, если 10 рабочих соберутся почитать газету, и «никто ничего не поймет». Характерно, что, когда Луначарский в одной из статей указал, что пролетариат должен построить «храм общечеловеческого счастья», Ленин при редактировании заменил эти слова строго научными — «новое социалистическое здание»...

Школа Ильича была школой партийного мышления, мужания таланта.

III. Вечер сорвать не удалось. Почему бесновался Мартов

С юности о нем складывали апокрифы. Один из них записал Федор Левин.

Луначарский еще студентом выступал на диспуте. До него держал речь какой-то самоуверенный и шумливый эсер. Выйдя вслед за ним на трибуну, Анатолий Васильевич начал свое слово так:

— Слушая предыдущего оратора, я вспомнил восточную поговорку: если ты глуп, то это навсегда.

Хохот, шум, выкрики. Оскорбленный эсер рвется к трибуне:

— Я протестую, это недопустимо, коллега должен взять свои слова обратно.

Луначарский поднимает руку:

— Я понимаю чувства коллеги. И я хочу внести существенное исправление: если ты глуп, то это надолго.

Можно представить себе, что творилось в аудитории...

В полемике с трибуны редкий противник был в состоянии продержаться против него хоть сколько-нибудь долго.

Так случилось и в Женеве.

«Как публицист, — писал Луначарский в «Воспоминаниях», — я не был особенно плодovit... Зато как пропагандист идей большевизма, как устный полемист против меньшевиков — я занял первое место и в Женеве, и в других городах Швейцарии, и в колониях русских эмигрантов. во Франции, Бельгии и Германии. Разъезжал я неутомимо, повсюду посещая наши, порою столь крошечные, но всегда энергичные, большевистские организации, повсюду грудью встречая натиск несравненно более компактной меньшевистской и бундовской публики и повсюду читая рефераты.

Я не отказывал себе в удовольствии, рядом. с. рефератами чисто политическими, — устраивать также рефераты на философские, литературные и художественные темы...»

Меньшевики сразу почувствовали опасного противника. Они всячески старались сорвать выступления нового большевистского агитатора.

«Мы ликуем, а в меньшевистском курятнике большой переполох, — рассказывает об осени 1904 года П. Н. Лепешинский. — Не прошло и 3 дней с момента приезда в Женеву т. Воинова, как уже наша братия гордо расклеивала во всех пунктах... широковещательный анонс» лекции Луначарского. Было объявлено, что президиум будет выбран во фракции большевиков. Разъяренные меньшевики решили сорвать вечер. «Человек 300 меньшевиков во главе со своим предводителем Мартовым врываются в зал и не желают платить входной платы...

— Товарищи и граждане, — выступил Воинов.

— Нет, этому не бывать... Такого собрания мы не допустим, — завопили меньшевики.

И вот начался дебош. Триста глоток отверзлось и стало орать во всю мочь: «Га-га... га-га... га-га...» Какой-то коренастый рыжий детина с наружностью Вельзевула, явившийся с огромной клюкою, для усиления шума начал со всего размаха стучать этой клюкою об пол. Тов. Воинов стоит в позе принца, скушающе посматривающего на зрелище, которое устроено в честь его приезда». Зал стихает.

«— Товарищи, — раскрывает рот Воинов.

— Га-а-а-а... — вспыхивает волна гвалта с новой силой, и снова клюка рыжего детины работает вовсю».

Тогда встал сам Лепешинский, славившийся в Женеве как умелый карикатурист, и сделал вид, что набрасывает карикатуру с Мартова. Мартов

не выносил таких форм насмешки и вместе со своими коллегами покинул зал. «И т. Воинов, выступивший во всем блеске своего художественно-образного и красиво-музыкального ораторского искусства, скоро очаровывает аудиторию... Реферат закончился бурными аплодисментами по адресу докладчика».

И так было не один раз.

Многое видела Женева! Всяких ораторов. И спокойно-уверенных, и теряющихся перед шумно озорничающим залом, и трусливо убегающих с трибуны после первых свистков.

Этого нельзя было пронять ничем...

Он расхаживал по сцене, презрительно поглядывая на орущих, галдящих людей. Когда они уставали кричать и наступала недолгая тишина, голос его снова гремел в зале.

И зал подымался.

Зал аплодировал...

И свистки уже неслись вслед согнутым фигуркам недавних ругателей, старавшихся как можно незаметнее покинуть поле боя.

«Ильич в то время не очень любил выступать публично. Ведь всякого рода митинги и дискуссии происходили в Женеве чуть не каждый день, — рассказывал сам Луначарский. — Там было немало горластых ораторов, популярных среди студенческой молодежи, с которыми не так легко было справиться ввиду трескучей пустоты их фразеологии, приспособленной, однако, к средней университетской интеллигенции. Владимир Ильич часто считал просто тратой времени выступать на таких собраниях и словопрет с каким-нибудь Даном или Черновым. Однако мои выступления он поощрял; ему казалось, что я как раз приспособлен для этой, в сущности говоря, второстепенной деятельности. Перед моими выступлениями, среди которых бывали удачные и которые немножко расшатали лучшую часть студенчества и продвинули кое-кого к нам, Ильич всегда мне давал напутственные разъяснения».

Дело несколько изменилось после января 1905 года... Ленин считал, что надо «вербовать и вербовать» людей даже за границей. Выступать он стал чаще. «С тех пор мы выступали с ним вдвоем и делили нашу задачу. Помню две-три головомойки, которые сделал мне Ильич за то, что я недостаточно пространно изложил какую-нибудь мысль или вообще сдрейфил в каком-нибудь отношении. Но и сам он всегда после произнесения речи против Мартова или Мартынова, сходя с эстрады, подходил ко мне и спрашивал: «Ну как, ничего себе прокричал? Зацепил, кажется? Все сказал, что нужно?»

IV. 1905-й. Друзья и враги

Кровавым, зловещим маревом прошло 9 января. Все знают Луначарского-публициста, Луначарского-критика. Но мало известны его стихотворения, одно из которых — «К юбилею 9 января»-было опубликовано в женевском «Пролетарии» (1905).

В гневно-сатирических тонах рассказывает Луначарский о расправе перед Зимним дворцом, о старике, слепо доверившемся Гапону.

Без хлеба я готов сидеть, —
В лампадке было б масло,
Пойду и в рваных сапогах,
Лампадка б не погасла.

Как сотни других шедших на Дворцовую площадь, он верил, что «придет тот день, господь царя пробудит», что царь выслушает обиженных («Уж если б стали в нас стрелять, сам бог бы грянул с неба». «Народа глас — глас божий! Царю напомнил о себе, и бог напомнит тоже»).

И вот расплата за эту наивную, несбыточную веру!

Упал старик, сраженный в грудь, —
Убит царем кровавым,
И бог не мстит с своих небес
Своим рабам лукавым.
Повсюду кровь, смятенье, смерть,
Звучат угрозы, стоны,
А на краснеющем снегу
Разбитые иконы.
А небо ясно и глядит
С веселостью бездушной...
И понял в этот миг отец,
Что ложь твердил послушно.

«Послушай, спи, — говорит он товарищу, — не други нам ни бог, ни царь проклятый...» Несмотря на некоторую умозрительность стихов, они сыграли большую роль в большевистской пропаганде. Для нас эти строки и свидетельство январских раздумий Луначарского.

«Не только для нас, но и для меньшевиков было несомненным, что это

не конец народившегося в рабочих кварталах Петрограда движения, а начало русской революции», — вспоминал те дни Луначарский.

Меньшевики выдвинули лозунг «поддержки дальнейшего развития либеральной оппозиции». Меньшевистская эмиграция обвинила большевиков, требующих разоружения самодержавия и вооружения рабочих, в «грубом понимании ситуации».

Большевистские издания писали не об оппозиции — о том, как рыть окопы и строить баррикады.

Большевики готовили вооруженное восстание.

Россия жила в ожидании бури...

Деятельность Луначарского в 1905 году выдвинула его на видное место в ряду большевистских руководителей. По поручению партии он читает на Третьем съезде РСДРП доклад о вооруженном восстании, по которому была принята специальная резолюция, призывавшая всех членов РСДРП «принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восстания и непосредственного руководства таковым, создавая для этого, по мере надобности, особые группы из партийных работников».

«Когда принималась эта резолюция, — вспоминал впоследствии Луначарский, — то можно сказать, из будущего уже шли навстречу ей те грандиозные фланги наших военных комиссаров, которым суждено было впоследствии выковать Красную Армию».

В работе «Большевики в 1905 году» Анатолий Васильевич говорит о полной идентичности его выступления с указаниями Ленина: «Владимир Ильич дал мне все основные тезисы доклада. Мало того, несмотря на мою манеру никогда не записывать никаких своих речей, а говорить импровизированно, он потребовал на этот раз, чтобы я всю свою речь написал и дал ему предварительно прочесть. Ночью, накануне заседания... Владимир Ильич внимательнейшим образом прочитал мою рукопись и вернул ее с двумя-тремя незначительными поправками, что не удивительно потому, что... я в моей речи исходил из самых точных и подробных указаний Владимира Ильича».

Теоретически и тактически, замечает Луначарский, мы были прекрасно подготовлены к дальнейшим событиям.

«Отдых, — понятие относительное, — пишет Луначарский в неопубликованном письме А. А. Луначарской. — Ждешь — вот-вот выкроишь месяц для отдыха. А жизнь накатывает все новые и новые события, от которых никуда не уйдешь, как не уйдешь от собственной совести».

Кажется, только 1917-й и сравнится в его жизни с нервным напряжением 1905-го!

Диспуты, выступления, газеты...

Эхо восстания на «Потемкине» потрясло Европу. Боровский писал в те дни: «Корабль-скиталец русской революции может достичь своей цели, может одержать победу, только принеся в жертву виновников греха и преступления — шайку насильников и злодеев». Враги революции торжествовали победу, узнав, что «Потемкин» сдался румынским властям. «Но разве это поражение революции! — спрашивал Боровский. — Нет, вся компания этого первого революционного броненосца была сплошной победой революции. Разве она не раскрыла бессилия противника?.. Тот могучий броненосец, которому суждено освободить Россию, корабль-скиталец русской революции, — он жив, он цел, грозной громадой надвигается он на врага, зловеще сверкают жерла пушек... а высоко в воздухе радостно бьется и трепещет красное знамя свободы».

«В истории трудно найти что-нибудь годящееся в сравнение» — это впечатление Луначарского.

По заданию партии Анатолий Васильевич едет в Италию, где выступает в эмигрантских колониях с докладами, организует диспуты.

Он сотрудничает в «Пролетарии», нередко получая заказы на статьи лично от Ленина. Луначарский пишет о тактике большевиков, об истории западноевропейского революционного движения, о борьбе внутри Второго Интернационала. Так, например, в № 16 «Пролетария», посвященном тактике активного бойкота думы и разоблачению в связи с этим либералов, мы находим его статью «Тревоги господ либералов», где, в частности, говорится:

«Самые густо-розовые из них видят в думе возможность наладить совместно с правительством дело государственного и общественного умиротворения. Как лиса в сказке, либералы просят позволить им только их пушистый хвостик положить в телегу, а там понемногу и вся Патрикеевна уляжется и начнет потихоньку жевать рыбку. Только выберите нас в думу, — умоляют господа либералы, — и мы постепенно оборудуем самую настоящую конституцию...»

Редакция поручала Луначарскому выступления по самым принципиальным, важнейшим вопросам большевистской тактики той поры.

Одно из лучших произведений, вышедших из-под пера Луначарского в это время, — памфлет «Три кадета», получивший столь широкую популярность, что его пришлось неоднократно переиздавать.

Удар направляется здесь против кадетов, так называемой «конституционно-демократической партии народной свободы». Судьба кадетской партии — судьба русской буржуазии. «Революционные левые буржуа» мечтали о превращении России в «нормальную конституционную страну», где, по ироническому замечанию публициста, «монарх существовал бы для парадных случаев, а власть фактически была бы в руках министров, вышедших из парламентского большинства».

Лидер кадетов П. Н. Милюков отмежевывался от «левых»: «Мы не присоединяемся к их требованию демократической республики и обобществления средств производства».

В программных заявлениях кадеты хитро играли на настроениях народа:

— Мы вне классов. Мы защищаем кровные интересы широких масс.

Само название партии было обманом.

Если «конституционно-демократическая» — то это не отказ от монархии. Под «конституцией» все тогда понимали монархическую конституцию. А «демократическая»? Вроде бы ничего не имели кадеты и против республики. Историк М. Н. Покровский по этому поводу съязвил: «Как повернутся обстоятельства. Поднимутся волны революции еще выше, будем республиканцами. Спадут — вернемся опять к монархии».

Для Ленина было очевидно, что программа кадетов — сплошное приспособление к обстоятельствам. Что это партия не свободы, не народная партия, а полусвободы, если не четверть свободы. Что на деле это партия либерально-монархической буржуазии, которая народного движения боится больше, чем реакции.

Написанный блистательно, легко и в то же время исследовательски-весомо, памфлет Луначарского зло высмеивал программу кадетской партии и, в частности, «друзей народа» Милюкова и Струве.

Лидеры кадетов, говорит Луначарский, не прочь побравировать своим «революционным» прошлым. Да, было время, когда Петр Струве «по неопытности» пописывал в «Искре».

Но для кадетов это не более как «грехи молодости». Когда царское правительство воззвало к «патриотизму общественных деятелей», видный кадет князь Павел Долгоруков заявил на съезде своей партии: «Надо подать руку помощи Витте...» «Г. Милюков долго и упорно воевал против правительства. Молодость, темперамент толкали его к «излишествам»... Он приобрел имя среди бедных якобинцев. Этот наш, думали они. И в первое время после принятия в свои руки историко-практических бразд г. Милюков благосклонным оком глянул на левых, на козлиц стада. Он сказал

им: «...озорники вы, но и вы войдете в царствие...»

Луначарский издевается над «революционерами», понимающими революцию таким своеобразным манером: «Партия к.-д. всю силу полагает в самой широкой организации общественного сознания всеми способами, за исключением вооруженного восстания».

Здесь уже отчетливо виден стиль Луначарского-публициста, Луначарского-критика. Стиль изящный, язвительный, наступательный: «Нет, якобинцы! Нет, несчастные исчадия иллюзии, нет — вы осуждены историей. Не разделит с вами кровь, не станет пить с вами из одной чаши великий историк Милюков».

Памфлет Луначарского подчас переходит в самое серьезное социологическое исследование. Но и здесь критик остается пламенным художником, партийным публицистом. Не бесстрастный наблюдатель, а борец, призывающий и карающий, виден здесь за каждой цифрой, документом. Под пером Луначарского оживает мертвая статистика, трепетным светом любви и ненависти озаряются сухие документы, и, как говорят влюбленные в свою науку математики, слышится «мелодия, песня цифр», вплетающаяся в общую симфонию повествования.

Логика документов смыкается здесь с художественной логикой, что придает статьям Луначарского пафос и исследования и художественного творения.

Вот он цитирует «Фауста» Гёте:

Великое не дается — я уверен:
«Умерен будь, лишь будь умерен».
Вот песня вечная у нас.
Ее назойливо нам в уши напевает
Охриплым голосом, сменяясь каждый час...

И кажется, эти слова разят издевательски и гневно пигмеев, рядящихся в тоги титанов духа. Литературная контрастность становится здесь контрастностью политической: «...Г. Милюков гордится умеренностью... Ему стала мила пошлая гримаса компромиссного полуосвобождения, он рыцарь ее печального образа. Он гордо потрясает копьем во имя своей косой и хилой дамы — конституции...»

Ирония иронией. Но за ней. серьезный и точный вывод: «Вали, честной народ, на мирок — кадетский двор, пей иностранную дреймадеру, приготовленную на задворках Царского Села и подслащенную кадетским

сиропом. С верой — приступите. И подходит Милюков, подняв очи горе, ударил себя в грудь и сказал: верую яко сие воистину есть вино Народной Свободы».

Камня на камне не оставляет Луначарский от «теории свободы» господ Милюковых.

Издевательство над чаяниями народа — вот кадетская «платформа» в действительности — вывод Луначарского. Он прямо ставит вопрос о ренегатстве этих «вождей»:

«...Г. Милюков круто повернул корабль направо, так что некоторые левые кадеты чуть не выпали за борт...

Мы видели, как «вожди партии революционного пролетариата» предлагали ее услуги кадетскому барину, а барин морщился и цедил сквозь зубы: «Я не прочь принять услуги, но я боюсь запачкаться в красное, меня тогда во дворце не примут. Поддержите меня, но почтительно, и раньше сами умойтесь, причешитесь и примите парламентарный вид».

Сухими от ярости глазами оглядывает писатель ряды милюковых. Луначарский отказывается от морализации, которая была бы здесь неуместной, от риторических сентенций по адресу потерявших совесть людей. Его памфлет собрал как в фокусе весь накал ненависти литератора. Он переосмысляет явление не только в политическом, но в не меньшей мере и в этическом, человеческом плане. И именно этот этический подтекст повествования прежде всего пробуждает в читателе чувство гнева и омерзения. Именно в нем заключен беспощадный приговор.

Много было тогда известных памфлетистов. Не всем было дано подняться до таких обобщений. В частности, много шума наделал фельетон Амфитеатрова «Господа Обмановы».

Амфитеатрова даже выслали в Сибирь. Но Амфитеатров не создал сатирического произведения, разоблачавшего политическое лицо русского царизма Романовых. «Свободолюбивый либерал» Амфитеатров, не вдаваясь в политический анализ событий, ограничился юмористической сказкой, выпадом против личности царя. В фельетоне «Сказка об одной голове и ее обладателе» (по существу, продолжении «Господ Обмановых»), направленном против царя, Амфитеатров создает образ победившей революции, которая «прощает» царя. Вот во что вылилась смелость либерального журналиста.

Совершенно на иных принципах построено сатирическое осмысление жизни у Луначарского, Ольминского, Воровского. Их удары бьют в самое сердце критикуемого зла.

В журналистике рождалось принципиально новое явление — критика

широчайших и глубинных социальных обобщений и выводов, критика ленинского типа...

Письма Ленина Луначарскому полны деловых советов.

В августе 1905 года Ленин пишет Луначарскому в ответ на его предложение написать книгу «3 революции»:

«Чрезвычайно обрадовался Вашему плану брошюры: «3 революции». Бросьте-ка Вы лучше пока ответ Плеханову: пусть этот обозлившийся доктринер лаеся себе. (Речь идет о меньшевистской оценке Плехановым перспектив развития русской революции. — А. Е.) В такой момент залезать специально в философию?! Надо всю работу для с.-д. — не забывайте, что Вы ангажированы *на все Ваше рабочее время*...

Право, богатая тема и боевая против пошляков «Искры». Беритесь, пожалуйста, скорее, и поработайте над ней побольше. Крайне важно дать содержательную популярную вещь на эту тему...

Пригвоздите их за их *мизерный способ войны*. Сделайте из них *гim*. Нарисуйте их портрет во весь рост по цитатам из них же».

В другом письме (август 1905 года) — новые пожелания, связанные с борьбой против меньшевиков. Надо бы, пишет Ленин Луначарскому, «осветить грубую ложь, *поймать* ее так, чтобы вывернуться было невозможно... Материалу теперь новоискровцы дали массу, и если бы тщательно обработать его, осветить эти паскудные приемы *сплетни*, наущничества... во всей их прелести, — то могла бы выйти сильная вещь...

...могли бы сделать это *только* Вы. Невеселая работа, вонючая, слов нет, — но ведь мы не белоручки, а газетчики, и оставлять «подлость и яд» незаклейменными непозволительно для публицистов социал-демократии».

Ленин понимает, как необходимо было бы сейчас в Женеве, где шел ожесточенный бой большевиков с меньшевиками, личное присутствие Луначарского, его ораторское полемическое искусство. В письме к нему от 2 августа 1905 года Ленин говорит: «Помните, Вы писали: ущерб от моего отсутствия из Женевы не будет, ибо пишу много и издали. Это так, что пишете много... Но ущерб-то не только есть, но громадный ущерб, который яснее ясного чувствуется с каждым днем. Личное воздействие и выступление на собраниях в политике страшно много значит. Без них нет политической деятельности... Борьба за партию не кончилась, и до действительной-победы ее не доведешь без напряжения всех сил...»

Луначарский сражался бок о бок со своими боевыми друзьями Воровским и Ольминским. Одна за другой, вызывая неистовую ярость меньшевиков, выходят подписанные псевдонимом «Галерка» страстные статьи и брошюры Ольминского. Он яростно защищает ленинскую

политику, ленинскую тактику, клеймит оппортунистов всех мастей и рангов.

Лепешинский вспоминает: «...Галерка, благодушнейший сам по себе и добрейший из людей, становится рыцарем большевизма без страха и упрека, выступает с открытым забралом против своих сильных противников, устремляясь при этом с копьем наперевес на самых, крупных из них, самых страшных, пользующихся репутацией «непобедимых».

Об отношении Ольминского к Владимиру Ильичу Луначарский рассказывал: «...это был пламенно-преданный пролетариату борец и, между прочим, всегда восхищенный поклонник Владимира Ильича, — поклонник-сотрудник, поклонник-товарищ, конечно. Я помню, с каким восхищением после первых заседаний нашей редакции Ольминский говорил мне: «Ну, У нас, кажется, обидчивых людей нет, будем работать по-товарищески» и как затем он запел настоящий дифирамб быстроте, сообразительности, точности мысли мощно выраставшего тогда вождя величайшей в мировой истории партии».

Луначарский ежедневно ощущал публицистическую и дружескую поддержку такого опытного мастера большевистской журналистики, как Боровский, за деятельностью которого он внимательно следил до приезда в Женеву.

Как публицист Боровский работает в 1905–1906 годах много и плодотворно. Он публикует статьи «Буржуазия и монархия» — о русско-японской войне, «Странички из истории» — о перспективах развития революции, «Революция и контрреволюция», «Буржуазные соглашатели и буржуазные революционеры», «Коммунистический манифест» о буржуазной революции», «Социал-демократия и буржуазные партии», «Кадеты в Думе», «Профессиональное движение и социализм» и многие другие.

Луначарский очень хорошо определил значение статей Воровского для того времени:

«Жадно занимались тогда марксистским самообразованием. Дело выработки своего мирозерцания, дело помощи в этой выработке младшим, менее опытным товарищам имело существеннейшее значение...

У кого можно было этому научиться? Ни у кого... Если преподносились отдельные марксистские или полумарксистские работы, то они были крайне редки, не яркие, не победоносны на фоне общей, достаточно, впрочем, — тусклой журналистики. Нельзя удивляться поэтому, что на нас, на всех тогдашних марксистов, статьи Воровского сразу произвели впечатление каких-то ярко развернувшихся красных

цветов на Фоне довольно чахлой литературной критики. Пришел человек с сильной волей, с крепкой мыслью, человек, который, исходя из высшей степени определенной и могучей теории, сумел по-своему, по-новому, как никто из нас, работать в специальной области научного и общественного анализа явлений литературной критики... Статьи Воровского воспринимались, впитывались, как сладостный дождь в засуху».

Для тех, кто в тяжелом подполье работал в России, этим «дождем в засуху» был каждый номер ленинских газет.

V. Диалог будет продолжен

— Вы будете писать об этом?

— Уже пишу. Что-то вроде памфлета.

Гржебин замолчал. Старый, опытный издатель, он безошибочно мог «взвесить» и оценить тему еще в замысле...

— Не знаю, может быть, это мое личное мнение, но мне кажется, что каждый мало-мальски умный интеллигент, даже если он и кричит на всех перекрестках о «свободе от политики», в глубине души понимает, что такая программа — фикция. Все это доказано тысячи и тысячи раз...

— В принципе, наверное, да!.. Но программы не существуют вне времени и пространства, вне людей. Еще десять лет назад защита «искусства для искусства» имела иную этическую окраску, чем сегодня. Вот мне и хотелось, чтобы люди задумались об этой связи — теоретического и этического.

— В шуме и треске наших баталий увидеть это не всегда легко.

— Конечно. По некоторым статьям все получается довольно примитивно: сидит в кресле этакий «буржуй» и дает указания, как растлевать массы декадентским искусством. В жизни — мы знаем — все выглядит не так — влияние идет сложными опосредствованными путями...

— Но и цена «красивых» фраз о «независимости» от всего и вся литературы подчас прозрачно ясна. Стоит лишь внимательно приглядеться.

— Не скажите. В чем-то главном они сходятся... А пути к этому «главному» разные. Я вот задумался — и об этом расскажу в памфлете, — что, скажем, за душой у манерного витии К., когда он, воздевая руки к небу, глаголет о «божественных эстетических ценностях», а потом пьет в «Максиме» на гонорар, полученный в самом что ни есть архиполитическом органе, издаваемом на средства, например, господина Рябушинского... О чем К. думает? Обманывает сам себя? Или «искренне заблуждается»? Или — есть ли хоть грань серьезности в исторических пророчествах околелитературной дамы, завсегдатая салонов, награждающей аплодисментами и «левыми», и «правыми», и «зелеными», и «синими».

— Да, публика там пестрая.

— Но пестроту эту что-то объединяет. И в кажущейся пестроте можно обнаружить единые корни... Одним словом, я все равно напишу это.

— Что ж, как говорится, с богом! Мысли у вас интересные.

Гржебин поднялся.

— Ну, я по литделам. А памфлет буду ждать...

О «Диалоге» (он вышел в 1905 году) сразу заговорили.

«Прототипность» его персонажей была очевидной.

Юноша, проповедующий отказ от идей, политики, борьбы, «снижающих», по его мнению, ценность созданного мастером, ну конечно же, этот эстет вышел из салона на Морской улице. Там, в одной из «штаб-квартир» «изысканных» и «отрешенных», с восторгом толковали по вечерам о темной философии безверия, разоружающей искусство.

А Эрлих? «Траурный молодой человек», призывающий писателей к «метафизической» чертовщине! «Начинающий мистик» из модного журнала...

Типы, очерченные резко и беспощадно...

— Я вполне допускаю, — рассуждал Луначарский, — что художник, озлобленный цинизмом и торгашеством буржуа, может возненавидеть все, что связано с «презренной действительностью».

Но какой отсюда вывод? Бежать от нее? Смириться с ней? Уйти в «заоблачные дали»? Ни то, ни другое, ни третье не получится. От «презренной действительности» никуда не уйдешь...

«Диалог» читали.

О «Диалоге» спорили.

А для Луначарского он был в какой-то мере и спором с самим собой.

«Диалог» — свидетельство его глубоких эстетических исканий, большой внутренней теоретической работы, которая не прерывалась ни на год, ни на месяц,

Собственно, у «Диалога» тематически есть «предшественница» — статья «К вопросу об искусстве» (1903 г.), включенная в сборник «Этюды». Слово «предшественница» может быть применено здесь только в кавычках, настолько разителен пересмотр Луначарским существа рассматриваемых проблем!

В статье «К вопросу об искусстве» говорится, что исторически оправдано и «искусство-проповедь» и «искусство для искусства» («Художник — это организатор счастливой, свободной игры»). Далее идут рассуждения явно с прямолинейно-биологическим пониманием роли искусства: его задача — «давать нам пережить возможно больше, не

напрягая, однако, наших нервов». Человек расходует энергию. Потому необходимо «на данное количество воспринимающей энергии дать гораздо больше ощущений, чем дает обыденная жизнь». Искусство должно повышать «жизненный тонус» человека. Удивительная теория «биологического равновесия»!

Вывод: пессимизм, философия трагизма в искусстве — «плод хилого организма и жалкой воли». А потому неприемлем Чайковский, во многом сомнителен Чехов. Но вполне революционен Горький. Особенно в «Мещанах».

Таким образом, и призыв к «боевым маршам» и совершенно неприемлемые выводы.

Путь к «Диалогу» был путем освобождения от общеэстетических рассуждений, оторванных от реальной классовой борьбы. Короче, поворот к объяснению процессов искусства классовыми интересами и закономерностями.

Полемика в «Диалоге» выходила далеко за рамки чисто эстетических проблем.

Один из спорящих вообще отрицает какую-либо действенно-полезную роль искусства, отводя ему увеселительную роль для «черни».

Нет, отвечает Луначарский устами оппонента. Если человек «прослезился над судьбою никогда не существовавшей, вероятно, Сони Мармеладовой, — он будет страдать за униженных и заступаться за них, когда придет его час». Искусство — проповедь. Религия, мораль, политика пользовались искусством, находили в искусстве свое выражение. «Истинно великий художник — всегда проповедник... Истинно велик тот артист, который художественным приемом проповедует своего бога и умеет соответственно своему художеству и в действительности бороться и страдать за него с художественной цельностью, с красотой силы...»

В «Диалоге» развенчивается миф о «надклассовости» искусства, о его якобы независимости от борьбы классов и политических партий: «Рисуя определенные идеалы, оно (искусство. — А. Е.) всегда является орудием какого-либо класса, сильным или слабым, победоносным или жалким».

Выступление Луначарского было частью общей борьбы большевистской и демократической печати против декадентщины, упадка, ренегатства.

Единым сплоченным фронтом выступили против политического распада в искусстве Боровский, Горький, Киров, Луначарский, Шаумян, Спандарян. В этой борьбе Луначарский, как и его боевые друзья по борьбе, был «на передовой линии огня».

«Это совсем не писатель, который пописывает для того, чтобы читатель почитывал, — писал позднее А. В. Луначарский о Воровском в статье «В. В. Боровский как литературный критик». — Это не просто влюбленный в литературу человек, которому хочется дать одно из своих суждений. Это — не ученый муж, для которого... литература то же, что цветы для ботаника, засушиваемые и распределяемые им по разным рубрикам.

Боровский — это страстный политический деятель и борец. На свою литературную работу и, в частности, на свои критические статьи он смотрит как на существенный элемент своей общественно-революционной деятельности».

В творчестве Воровского Луначарский видит яркий пример такой критики, которая пользуется «беллетристическим материалом, как примером, как сгущенными кусками жизни и, разбираясь, в чем это произведение отражает действительность и в чем ее искажает», дает «яркие общественные выводы». И далее: «Если мы... можем с гордостью сказать, что уже в дореволюционное время нами созданы крупнейшие ценности в области литературной критики по сравнению с европейской ветвью пролетарского движения, то в этом мы в значительной мере обязаны Плеханову и Воровскому. Критиков, подобных им по ясности и художественности изложения, по глубокому марксистскому анализу, мы в европейской пролетарской литературе не встречали».

Эти очень верные и справедливые слова о деятельности писателя-борца в полной мере относятся и к самому Луначарскому...

В «Диалоге» встречаются полемические ноты и иного рода. Сотни раз упрекали, например, Луначарского в дани вульгарному социологизму. Были ли у него рецидивы такой болезни? Безусловно. Но опасность ее он понимал не менее уважаемых критиков своих.

Прислушайтесь к «Диалогу». Что отмечает Луначарский, когда решительно не приемлет деление писателей на первый и второй сорт. К первому, по мысли «народнически-интеллигентной», относится «искусство-проповедь» (Щедрин, Глеб Успенский, Достоевский). Ко второму — «искусство-игра» (Гомер, Шекспир, Гёте).

Это атака Луначарского на вульгарный утилитаризм.

Он стремился представить положение вещей исчерпывающе объективно, со всеми их гранями, оттенками и полутонами, Форма диалога служила этой цели. Луначарский, умело направляя движение спора, подводил читателя к нужным ему выводам, а сама логика персонажей, выражающих авторский взгляд на вещи, неизбежно побеждала в самых

напряженных моментах дискуссии. Он передает в «Диалоге» как болезненность мировосприятия декадентствующих эстетов, так и уверенное наступательное движение мысли защитников народного искусства. В самой интонации фраз, атмосфере развернувшегося спора — мысль о неизбежности краха антинародных поветрий в литературе, о торжестве жизни над тлением, о высоком назначении писателя-борца.

Для Эрлиха «и ему подобных», говорит Луначарский словами одного из персонажей, Полины Александровны, «усталость, печаль, смерть, тишина, неподвижность — сущность мира, а движение и жизнь — что-то постороннее и сомнительное. Мы же, сторонники класса, наиболее полного жизни, класса, которому принадлежит будущее... мы любим жизнь, зовем и приветствуем ее... Побольше света, борьбы, энергии, жизни... Мы за жизнь, потому что жизнь за нас...

...Всякое живое, истинно прекрасное искусство по существу своему боевое. Если же оно не боевое, а унылое, безотрадное, декадентское... мы отвергаем его, как болезнь, как отражение момента разложения и умирания в жизни того или другого класса».

Образ мышления человека, его манера спорить, само общественное поведение связаны с исповедуемыми им принципами и убеждениями.

Откуда идут у Эрлиха туманная витиеватость фраз, зыбкость аргументации, скрытая под велеречивостью, какая-то неуверенность, сквозящая в речи даже тогда, когда, казалось бы, оратор полыхает праведным гневом?

От шаткости позиций, отвечает «Диалогом» Луначарский, от ветхости защищаемых им идей.

Ясность, боевитость теоретических позиций, размышляет критик, связана с революцией.

Не огрубляя сложнейшего социологического процесса взаимосвязи эстетического, этического, а в конечном итоге и политического мышления человека, Луначарский выявляет эту важнейшую связь, и это выводит его, казалось бы, несколько камерный разговор об искусстве к широким обобщениям по поводу актуальнейших проблем литературной и политической жизни.

Ставится вопрос о правде искусства, о взаимосвязи «художественности и гражданского начала» у писателя: «Чем выше поднимается художник в своем самом чисто художественном стремлении отразить характерное в жизни, тем ближе он к философу, от которого отличается лишь силой интуиции и преобладанием эмоциональной окраски над познавательной». Терминология здесь несколько условна, но смысл

плодотворных поисков типического в жизни и отражения его в искусстве определен верно.

Луначарский не мог не учитывать того обстоятельства, что во время написания «Диалога» понятие классовой борьбы извращалось и искажалось либеральными болтунами, ратовавшими за некую абстрактную «свободу» и «борьбу за добро». Здесь враг разоблачается столь же на этике, как и на эстетике.

Борьба борьбе рознь, говорится в «Диалоге». Бороться нужно не на манер щедринского карася-идеалиста, произносившего необыкновенно «благородные» слова: «Знаешь ли ты, мол, щука, что такое любовь? справедливость?» Наивность такого метода борьбы — вещь очевидная. Нельзя бороться за абстрактное человеческое братство. Нет абстрактного гуманизма и свободы. «Великая любовь неотделима от великой ненависти», — пишет Луначарский, развертывая боевую программу пролетарского искусства: «Мы всеми силами помогаем проявиться и развиться всем внутренним противоречиям общества, не мечтая о гармонии путем уступок и притупления требований. Жизнь — борьба... мы этого не скрываем, — радуемся этому, потому что сквозь тяжесть трудов и, быть может, реки крови видим победу более грандиозных, прекрасных и человеческих форм жизни...»

Пролетарская литература...

А преемственность? Традиции ее?

Они ясны для Луначарского: «Один мой товарищ говаривал мне: «Время великих критиков миновало: Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернышевский воспитали вкус и понимание, русскому читателю не нужно больше учителя эстетики». Но вот родился и вырос новый читатель. Время явиться новым Белинским пришло...»

Нет, «Диалог» не теоретический «потолок». Это лишь набор высоты. Еще расплывчат здесь разговор о революционном миропонимании художника, связь эстетики и политики намечена лишь пунктирно. Но важные рубежи заняты. С них-идти дальше!

Проповедь боевого, революционного искусства и ставка на рабочего и крестьянского читателя, борьба с декадентщиной и натурализмом не были случайными ни в «Диалоге», ни в других статьях Луначарского об искусстве. Это было основой его эстетической концепции, развернутой почти во всех Статьях данного периода и подтвержденной конкретным анализом многочисленных произведений литературы и искусства.

VI. Невская рапсодия.

„Новая жизнь“.

Стокгольмский „объединительный“

«В конце октября 1905 года я получил от Ц. К. предписание немедленно поехать в Петербург, — вспоминал Луначарский. — Предписание это было мною исполнено сейчас же, и в Петербург я прибыл в первых числах ноября...»

Днем он прямо с вокзала пошел в редакцию «Новой жизни», разместившуюся на Невском в доме у Аничкова моста, и, по существу, не разглядел города. Ранний ноябрьский Петербург встретил его резким ветром, пляшущими хлопьями серого мокрого снега. Запомнились только высокие доходные дома на Невском, темнеющая в морозящем тумане башня думы, такая непривычная для Киева и Москвы стремительная четкость линий. Он остановился у рвущихся в высоту, словно храпящих в напряжении и гнев бессмертных коней Клодта, и теплая волна благодарности неизвестно к кому захлестнула душу. Город с первых шагов брал его в плен прочно и навсегда.

Мысленно он тысячи раз бродил по его проспектам и площадям, и сейчас хотелось не на извозчике, пешком, пройти до

Невы или хотя бы до Литейного. Но Луначарский вспомнил, что вызов Ильича был срочным, и, постояв еще с минуту у Фонтанки, решительно толкнул дверь редакции...

Освободился он только под вечер. После довольно шумных приветствий ему сразу показали стол, и он еще раз почувствовал, что приехал не как турист, что Невский, Аничков и Неву пока нужно решительно выбросить из головы, — он перелистывал подшивки — от него ждали обзора печати...

Уже было почти темно, когда он выбрался на Дворцовую набережную к Николаевскому мосту. И еще раз его потрясло увиденное. Холодный, ветер с залива гнал над Невой темные тучи. В низко спустившуюся хмарь уходил пронзительный шпиль Петропавловки, налево светились огнями знакомые по тысячам гравюр и фотографий здание петровской кунсткамеры, университет, бывший меншиковский дворец. Облепленные снегом, молчаливо стояли сфинксы у академии.

Он прислушивался к ритму великого города, он хотел понять его, и с каждым днем становилась сильнее привязанность, перешедшая в выверенную временем любовь, о которой он позднее много раз расскажет в письмах к А. А. Луначарской. «Мой дорогой, чудный» — здесь не самые восторженные эпитеты.

Обстановка складывалась напряженно:

«В городе в то время шумела революция. Правительство как-то

спряталось. В прессе доминировали левые газеты, и мальчишки звонкими голосами выкрикивали странные для России революционные названия новых листовок. Повсюду шли митинги». Новые впечатления. И — работа без сна и отдыха в легальной газете «Новая жизнь», которую начали издавать большевики (она выходила с 27 октября по 3 декабря 1905 года).

«Теперь, — писал Ленин Плеханову, — самой широкой трибуной для нашего воздействия на пролетариат является ежедневная питерская газета...»

В списках лиц — основателей и сотрудников — значилось 40 фамилий. Среди них — фамилия Ленина. Сообщалось, что «в новом органе обещали сотрудничать» Марсель Кашен, Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Поль Лафарг, Жюль Гед и другие видные деятели.

«Новая жизнь» расходилась более чем в 50 тысячах экземпляров. Такого тиража большевики до тех пор никогда не имели. «Газета сперва была крайне странно скроена, — вспоминал Луначарский. — Рядом с нами, большевиками, там работало большое количество непосредственных друзей Минского, поэтов с декадентским вкусом, анархистов из кафе и всякой богемы, считавшей себя «необыкновенно крайне левой» и находившей союз с большевиками делом весьма пикантным». В автобиографии Луначарский иронизировал: большевики «зафрахтовали корабль, груженный не нашим, чужим грузом, который приходилось постепенно выбрасывать в воду и заменять своим». Газета «запорошена и засижена разноцветными декадентскими мухами». «Высадить их» совершенно необходимо. Большевистская часть редакции скоро пришла к совершенно ясному пониманию того, что запрячь «большевистского коня» в одну колесницу с полудекадентской «трепетной ланью» никак «не можно»,

«Новая жизнь» собирала партийные силы, призывала рабочих вооружаться. Не мудрено, что редакция сразу вызвала ярость властей: из 27 номеров газеты 15 были подвергнуты репрессиям.

В «Новой жизни» Луначарский знакомится с Горьким.

Литературовед Н. А. Трифонов, на наш взгляд, совершенно справедливо не соглашается с данными четырехтомной «Летописи жизни и творчества А. М. Горького», где со ссылкой на свидетельство К. П. Пятницкого знакомство Луначарского с Горьким отнесено к осени 1907 года во Флоренции. «...Совершенно невероятно, чтобы оба писателя, принимавшие активное участие в работе редакции «Новой жизни», не встречались бы и не знакомились друг с другом», — замечает Трифонов и ссылается на малоизвестную статью А. И. Куприна «Аверченко в

«Сатириконе» (газета «Сегодня», Рига, 1925, № 72, 29 марта). В статье говорится о редакционном заседании начавшего выходить в 1905 году сатирического журнала «Жупел». Куприн свидетельствует здесь, что Горький приехал на это заседание вместе с Луначарским, которого представил собравшимся, и что Анатолий Васильевич выступил тогда перед ними с докладом о сатире и юморе.

В архиве Горького хранится письмо Луначарского к уехавшему в начале 1906 года за границу Горькому: «Ужасно грустно, что Вы где-то далеко и что Вас не придется скоро увидеть, между тем я ожидал много пользы от нашего знакомства, мне даже казалось, что в нем сказывается некий фатум, гармоничность, связывающая родственные элементы».

Это письмо начисто снимает датировку «Летописи» в пользу доказательств Трифонова. За строками Луначарского — волнение человека, успевшего хорошо узнать и полюбить своего корреспондента.

«Школа Владимира Ильича» продолжалась.

Луначарский, по его же словам, «испытывал огромное наслаждение от этого всегда живого, находчивого, пламенеющего руководства». Он отмечал человеческий такт Ильича: «Я должен отметить, что Владимир Ильич по отношению к Минскому и даже всяким относительно мелким интеллигентским сошкам, попавшим в «Новую жизнь», вел себя с чрезвычайным тактом и предупредительностью. Вместе с тем он весело хохотал над разными выходками отдельных наших сотрудников, столь необычными для нас, и повторял часто:

— Это же действительно исторический курьез!»

Впрочем, как раз вскоре после того, как была закончена внутренняя чистка «Новой жизни», эта газета, приобретая чрезвычайно большое количество подписчиков и читателей и начавшая играть очень большую роль не только в Петербурге, но и в стране, была закрыта.

В последнем, уже нелегальном, номере ее говорилось: «Вопреки всем обещаниям, указам, манифестам, законам топчется независимость и свобода печати. Но, несмотря на угрозы, мы решили продолжать дело, порученное нам пролетариатом, пока прямое насилие лишит нас возможности разоблачать заговор царского правительства против народа и звать народ к революционной борьбе с самовластием.

Рабочие! Мы отдаемся под вашу защиту.

Да здравствует свободное слово!»

Луначарский встал в жизнь столицы, холодной и гневной, прекрасной и растерянной. Это как раз накануне приезда Луначарского в город Блок написал «Холодный день»:

...Сиди, да шей, смотри в окошко,
Людей повсюду гонит труд,
А те, кому трудней немножко —
Те песни длинные поют.
Я близ тебя работать стану,
Авось ты не припомнишь мне,
Что я увидел дно стакана,
Топя отчаянье в вине.

Державный Петербург! «Что ни дом — вывеска империи», — шутил Анатолий Васильевич в неопубликованном письме к А. А. Луначарской. На одной из фотографий Анатолий Васильевич снят на Невском у дома 68. На углу обрамленный вывесками «Аптека» и «Н. Шмидт — часовой мастер» большой двуглавый орел. Ниже «Гранд-театр» — «синематограф». Выше — огромные буквы: «Нотариус В. В. Струтинский» и «Контора типографии «Герольд». Рядом: «Зало для балов» и вывеска на русском и иностранных языках учреждения под аншлагом «Крылов и Китаев». Над подвальчиком красуется: «Н. А. Аксенов». За выступом — начало другой вывески: «Статский и военный...». Кромка фотографии мешает разобрать надпись полностью.

Действительно, не дом, а «вывеска империи». И нужно было работать, чтобы свалить эту империю...

Немного прошло времени его петербургской жизни, он успел влюбиться в город, «где все дышит историей нашей культуры» (из неопубликованного письма А. А. Луначарской). Есть города, по природе своей неотрывные от поэзии. Она жила для Луначарского в крылатом разлете проспектов, стремительной высоте шпильей, нежном кружеве оград, литой меди осенних листьев. Город, где, говоря словами Маршака,

Давно стихами говорит Нева,
Страницей Гоголя ложится Невский,
Весь Летний сад «Онегина» глава.
О Блоке вспоминают острова,
И по Разъезжей бродит Достоевский.

В напряженных днях и ночах «Новой жизни» он узнал и другой Петроград — Путиловского завода, Выборгской стороны, приземистых

домиков Охты, Нарвской, Московской и Невской застав, где яростно kloкотала та боль, решимость и ненависть, которая ежедневно черными строчками литер выплескивалась на страницы ленинских газет.

Декабрьское восстание было высшим гребнем революционной волны 1905 года. Это восстание, писал Луначарский, «осуждавшееся меньшевиками (Плехановым, например), находило в большевиках и их вожде самое полное сочувствие. Ленин считал вполне правомерной и вполне естественной эту попытку перед лицом наступления правительства перевести движение в более высокую форму. Я помню те бесконечно тревожные и сумрачные дни. Не всегда вовремя приходили вести из Москвы. Ленин с жадностью глотал каждую строку приходивших сообщений, каждое слово приезжавших оттуда товарищей.

Большевистский аппарат в Петербурге под руководством Ленина сделал все от него зависящее, чтобы помочь московскому восстанию, по крайней мере по прекращению сообщения между Петербургом и Москвой. От этого в то время многое зависело.

Я не был непосредственным участником тех выделенных большевиками групп, которые должны были употребить все усилия для организации забастовки на Николаевской железной дороге или во всяком случае для разбора пути. Волнения на дороге были огромные, путь разбирался, но силы наши оказались недостаточными. Семеновцы перекатили в Москву и предрешили разгром героических рабочих Красной Пресни».

3 декабря весь первый состав Петербургского Совета был арестован. Этот арест чрезвычайно встревожил всех, в том числе, конечно, и Ленина. «Уже тогда я помню глубоко озабоченный вид Ленина, его встревоженные речи», — писал Луначарский.

Тревога была не напрасной: вскоре и Анатолий Васильевич был арестован полицией.

В канун 1906 года он попадает на полтора месяца в «Кресты». Здесь написал он драму «Королевский брадобрей». Из камеры он пересылает статьи в социал-демократические издания- «Вестник жизни», «Образование» и «Современный мир».

...«Весной 1905 г. — писал Ленин, — наша партия была союзом подпольных кружков; осенью она стала партией миллионов пролетариата». После III съезда многие члены партии выступили с требованием объединить партию, сплотить все силы в борьбе за революцию. Ленин и большевики, уверенные, что марксистские принципы в партии восторжествуют и меньшевики будут изолированы, поддержали эти

предложения. Кроме того, в России действовали и другие не входящие в РСДРП социал-демократические партии — социал-демократия Польши и Литвы, Латышская социал-демократическая рабочая партия и т. д.

Настала потребность в объединительном съезде. Он работал в Стокгольме с 10 по 25 апреля 1906 года.

В апреле 1906-го Луначарский едет в Стокгольм делегатом IV съезда.

Первая партия делегатов была уже в пути, когда он вступил на борт парохода стокгольмской линии. Начался долгий и утомительный путь. И хотя надвигался шторм, ситуация на судне сложилась довольно комическая: на борту находился табун цирковых дрессированных лошадей, а потому капитан не решался идти манящим белыми гребнями волн открытым морем. Он предпочел пробираться шхерами вдоль берега, но недосмотрел и с ходу посадил судно на камни.

Раздался оглушительный взрыв — вода прорвалась к топкам. Палуба кренилась. Волны гуляли в каютах первого класса. В шуме бури, криках отчаявшихся ничего нельзя было разобрать, пока вдруг все заметили, что погружение судна прекратилось: его крепко держали на плаву пробившие борта острые скалы.

В кромешной темноте люди бродили по палубе со спасательными поясами, падали. Кто-то грязно выругался. Заплакали дети. Из-за загона раздавался храп испуганных, ошалелых коней.

Всю ночь до серого рассвета палила в темноту маленькая установленная на корме пушка. Сигналы бедствия услышали в Гельсингфорсе, когда солнце уже вынырнуло из воды и все увидели пустынный скользкий берег, хаос нагроможденных камней и то вздымающуюся, то медленно опускающуюся на притихших волнах корму.

Из тумана, шхер, разорвав воздух резкой сиреной, появился быстро приближающийся большой полицейский катер.

«Когда нас забрали и отвезли в Гельсингфорс, — вспоминал позднее Луначарский, — им и в голову не приходило, что они имеют в своих руках ровно половину состава социал-демократического съезда, захватив которую они могли бы нанести надолго непоправимый удар всему делу русской революции».

По счастливому стечению обстоятельств к делегатам отнеслись как к потерпевшим кораблекрушение — поместили в гостиницу, предоставили медицинскую помощь и, увидев, что серьезно пострадавших нет, на следующий день отправили всех в Стокгольм с очередным рейсовым пароходом.

Луначарский выступил на съезде с блистательной речью. Он резко

критиковал Плеханова, разделявшего тогда оппортунистические взгляды на вооруженное восстание, не верившего в захват власти пролетариатом... «Всякая революция, — говорил Луначарский, — большая и последовательная революция, — стремится и, в случае удачи, приводит к революционному захвату власти новыми, до тех пор не стоявшими у власти этой, классами...»

Съезд принял Устав партии. Первый параграф в нем был дан в ленинской формулировке.

Но «объединение» с меньшевиками было весьма условным. «Разъехались мы со съезда довольно сумрачными. Для всех было ясно, что мир заключен только кажущийся». Когда Луначарский писал эти строки, в памяти все время стояло надменное лицо одного из меньшевистских лидеров, Дана. Дан пророчествовал:

— С большевиками теперь покончено, они побарахтаются еще несколько месяцев и совсем расплывутся в партии.

У Ленина было другое мнение.

Он готовился к новым боям.

С апреля 1906 года Луначарский участвует в организации новой легальной большевистской газеты «Волна» (26 апреля — 24 мая 1906 года). Вместе с Ольминским и Воровским он деятельно работает в новом органе вплоть до его закрытия. Когда же это случилось, Луначарский переходит в новые легальные издания, редактировавшиеся Лениным, — газету «Вперед» (26 мая — 14 июня 1906 года) и сменившую ее «Эхо» (22 июня — 7 июля 1906 года).

И этот период его работы освящен самыми теплыми, самыми волнующими воспоминаниями об Ильиче:

«Владимир Ильич все время продолжал оставаться главным редактором и по-прежнему с величайшим вниманием: следил за всеми отделами. Как в «Новой жизни», так долгое время и в этих небольших, сменявших друг друга газетках я вел отдел обзора печати, и не было ни одной самой маленькой моей заметки или вырезки, которая не была бы просмотрена Владимиром Ильичей. В большинстве случаев весь материал, кроме телеграмм, хроники и т. д., зачитывался вслух на редакционном совещании под руководством Ленина. Он и сам также читал нам свои статьи и чрезвычайно охотно выслушивал всякие замечания и советы.

Ленин вообще очень любил коллективную работу в самом подлинном смысле этого слова».

...В статьях Луначарского 1904–1906 годов, посвященных литературе, искусству, театру, ясно очерчиваются его эстетические симпатии и

антипатии. Жизнь противостояла ложным идеалистическим схемам, и для самого Луначарского понятие эстетический идеал все чаще теперь прямо связывается с борьбой за преобразование жизни.

Посмотрите, в этих словах из работы «Морис Метерлинк» — весь Луначарский той поры: «Истинная жизнь не заключается в моем «я», не заключается она и в десятках тысяч моих сограждан; жизнь — это грандиозное течение, необъятный и все растущий поток, в котором все мы лишь преходящие волны; важно не то, чтобы я лично жил, — важно, чтобы я способствовал красоте, гармонии, совершенству жизни в ее совокупности, и часто я могу это сделать в большей степени моею смертью, чем жизнью».

Путанные рассуждения махистского толка «заглушаются» в статье проповедью истинно народного революционного искусства. Такая позиция выражена здесь достаточно отчетливо:

«...Растет новая общественная волна, мы чувствуем с биением сердца приближение новой публики, которая кое-где уже начинает выставлять свои эстетические требования...

Совсем иначе почувствует себя тогда интеллигентный пролетарий: громадный простор для применения его сил вдруг откроется перед ним, забьет струю величайшее из искусств — искусство всенародное; художника призвут не для увеселения богача, страдающего сплином; ... миллионы и миллионы жаждущих красоты рук протянутся к нему, как теперь они протянуты за куском хлеба...»

Эта мысль уже подробно развивается в статьях, посвященных пьесам Леонида Андреева «Царь Голод» и «К звездам»,

Луначарский наносит острый удар по декадентству, искажающему правду жизни в угоду идеалистически-буржуазному взгляду на мир. Именно в этих статьях Луначарского сформулировано широко разошедшееся по России определение Леонида Андреева — «обывателя, испуганного революцией».

«Партийные критики обвиняют меня за «Царь Голод» в безверии в победу социализма, — писал обиженный Леонид Андреев Горькому. — Луначарский обвиняет меня в почти клеветническом изображении рабочего класса». Но оценка Луначарского была справедливой, и Горький не мог не разделить ее...

Мужественной романтикой революционной борьбы веет от статей Луначарского. Они не сухие реляции о событиях, не простые сводки с поля битвы, а живые, полнокровные картины полные света и пространства, страсти и движения. Публицистичность соединена здесь с подлинной

художественностью. Манера повествования выходит за рамки статьи, включая элементы самых разнообразных жанров. Не стремление к внешней эффективности ведет перо Луначарского, а желание глубже и ярче выявить смысл происходящего, вскрыть сам дух, душу события. И потому художественный образ у него, будь он высокоромантическим или убийственно-сатирическим, найден ли он вновь или имеет устойчивую литературную традицию, бьет в цель и поднимает глубинные пласты жизни.

В борьбе со многими набирающими силу модернистскими течениями Луначарский поддерживает реалистические искания русского искусства. Именно с этих позиций написаны им статьи о «Бешеных деньгах», «Снегурочке» Островского, «Вишневом саде» Чехова. Пропаганда демократического наследия для него — это одновременно и разговор об актуальнейших проблемах современной политической и литературной борьбы.

Так, критик напоминает, что Щедрин всегда выступал за сознательность целей в общественном движении, требовал четкого представления о конечном идеале, к достижению которого направлены усилия борющихся. Луначарский ссылается на слова Щедрина из «Пошехонской старины»: «Не погрязайте в подробностях настоящего, — говорил и писал я, — но воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без животворящего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим! Вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности... Что такое жизнь, лишенная идеалов?..

Это совокупность развращающих мелочей — и только!» Обращение к Щедрину здесь повод к разговору на темы сегодняшнего дня, к разговору о роли сознательности в политической борьбе. В статье «Жизнь и литература», напечатанной в 1905 году в марксистском журнале «Правда», и в критическом эссе «Варвары», опубликованном в «Вестнике жизни» (1906), Луначарский уже развертывает свою программу. Утверждая социальную направленность пьес Горького «Дачники» и «Варвары», он страстно полемизирует с реакционным журналом «Вопросы жизни» и его сотрудниками Неведомским и Волжским, проповедниками эстетства, отрыва искусства от революционной борьбы.

Эта полемика выходила далеко за рамки чисто эстетических проблем. «Борьба — вот задача искусства. Она должна воспитывать боевые чувства

и настроения». Именно такое понимание целей и задач литературы прежде всего объясняет внимание Луначарского к молодому Горькому.

Полемизируя с Неведомским, возводящим в принцип творчества «путь чисто эстетических исканий грации, изящества, чистоты», Луначарский, опираясь на анализ горьковских «Дачников», утверждает один только путь — «путь протеста против господствующей силы». Главный «интерес пьесы», говорит Луначарский, сосредоточен «на той части интеллигенции, которая после долгого и мучительного искания выстрадала, наконец, ясный вывод: прочь от ликующей и праздно болтающей интеллигенции, скорее в стан борцов за светлое будущее, за права бесправных пока, за счастье несчастных пока властителей завтрашнего дня!».

Смысл такой эстетической проповеди не нуждался в расшифровке, Луначарский ясно и определенно утверждал боевую, преобразующую роль искусства, его теснейшую связь с революционной борьбой, жизнью. «Она сама по себе является симптомом, — писал он о пьесе «Дачники», — это одна из первых ласточек настоящей весны — не той, которая приходит по приказу официальных календарей».

Проповедь служения революции — этим проникнуты многие и многие выступления Луначарского той поры. «Окупись в жизнь, — обращался он к мастерам искусства, — будь революционером, поработай пару лет на агитационной работе в казарме, в деревне, поброди по великой, новой, взбаламученной России, возьмись за какую-нибудь рискованную работу, дай тому общественному пламени, которое сейчас гуляет по жилам твоей родины, обжечь твое сердце и потом берись за карандаш, кисть или даже перо»,

Уже сам по себе многое значил для Луначарского выход в сферу изучения таких проблем, как проблемы мировоззрения и творчества, народности искусства, его классовых задач и интересов.

...Из-под пера Луначарского выходило множество статей, заметок, эссе, корреспонденции. Но нужно сказать о лучшем, созданном писателем в этот период, определяющем его ценность как публициста, зрелость как политика, его позицию в сложной общественно-литературной борьбе.

«Диалог об искусстве» и в особенности статья «Задачи социал-демократического художественного творчества» — наиболее значительные работы Луначарского той поры.

Полемическая направленность статей Луначарского, воевавшего с мистицизмом и мракобесием, находила признательность у революционно и демократически настроенных читателей. На мировоззрение многих из них оказало влияние его живое слово.

Статья «Задачи социал-демократического художественного творчества» (1906) развивала ленинские тезисы, изложенные в статье «Партийная организация и партийная литература». Весьма характерно, что Луначарский говорит здесь не о классовости литературы вообще, а о партийности искусства, о «слиянии» художника пролетариата с рабочим классом, о выражении дум и чаяний масс.

Искусство революции, собственно, делало лишь первые шаги. Это сейчас тысячи и тысячи томов исследуют его путь. А тогда...

Тогда по горячим следам событий нужно было и осмысливать сделанное и ориентироваться в сложнейших перипетиях борьбы, чтобы выбрать верный курс и принести максимальную пользу делу.

О новом искусстве шли споры.

Само его существование ставилось под сомнение: «Действительно — что это такое — пролетарское искусство?»

Еще в статье «Чему учит Короленко» (1906) критик писал: «Мир не может быть куплен иначе, как борьбой, и раз это так, то и боевые чувства (Луначарский имеет в виду чувства, возбуждаемые искусством, литературой. — А. Е.) имеют огромную ценность». Пробуждать такие чувства в массах — долг пролетарского искусства.

«Борьба будет занимать центральное место среди тем нового художника», — говорит Луначарский. Он верит в расцвет такого искусства. «Я действительно утверждаю, что, — писал Луначарский, — социал-демократическое художественное творчество должно существовать и будет существовать и что оно уже имеет свои задачи».

Надо сказать, что статью «Задачи социал-демократического художественного творчества» предворяли многие Предшествующие выступления Луначарского, в частности его полемика с публицистом кадетской газеты «Русь». Когда последний заявил, что «ему страшно, когда искусство так близко подходит к социализму», Луначарский иронически парирует: «Ну еще бы! А нам радостно!»

Он заявляет:

«Борьба социализма с капитализмом есть величайший культуркампф...»

«В области философии буржуазия уже терпит сильные поражения, в области искусства борьба только еще начинает разгораться. Но каждое великое культурное движение имело свое искусство. Его будет иметь и величайшее — рабочее движение».

Луначарский очень точно определяет зависимость растленного искусства от интересов денежного мешка: «Сколько-нибудь значительные

декаденты, мистики и символисты все попали в моду. Буржуазия, во-первых, и сама не обладает (в лучших, интеллигентнейших своих экземплярах) никакой жизнеспособностью и любит погружаться в мечты, а, во-вторых, мечты, в форме ли религии, или в форме настроения, всегда уводят прочь от жизни. Отрицай, пожалуй, мир! Буржуазия ничего не имеет против. Не ломай его только. За это она не погладит по головке; не призывай к борьбе реальной, борьбе силы против силы. Болтать же можно, уходить от жизни в салоны, кабинеты, гашиш, грезы, сколько угодно! За красивые грезы художника поблагодарят, как и за красивую обстановку — модерн для салона или кабинета. И допустима известная дерзость мысли, особенно же если она щекочет чувственность пресыщенного эпигона рыцарей первоначального накопления».

Нет надклассового искусства, говорит Луначарский. Нет и не может быть «искусства для искусства». Лучшие люди интеллигенции оказываются друзьями пролетариата. «Вне пролетариата есть либо прямое примирение с: ' позорной действительностью и шутовская служба при дворе «князя мира сего», либо... бесплодный протест, ибо вне пролетариата нет силы, способной «оружие критики превратить в критику оружия» и в социальное творчество».

Борьба во имя победы Революции — высшая и благороднейшая цель искусства...

Размышляя над этими страницами жизни Луначарского, я всегда вспоминаю строки поэта:

Дни идут, на боль и счастье множенные,
Отданные хмари и борьбе.
Дни бывают, из которых сложено
Лучшее и вечное в тебе...

Пожалуй, этими словами можно очень точно определить то решающее, чем были для Анатолия Васильевича эти месяцы работы с Ильичем.

ТЕМНЫЕ ДОРОГИ

Только большие задания должен ставить себе писатель; ...писатель ведь — звено бесконечной цепи: от звена к звену надо передавать свои надежды...

...Мало сказать, что с религиозных собраний уходишь с чувством неудовлетворенности; есть еще чувство грызущей скуки, озлобления на всю неуместность происходившего, оскорбления за красоту, за безобразность...

Александр Блок, 1907 г.

К этим дням Луначарского люди будут возвращаться вновь и вновь. И здесь всегда сталкиваешься с некоторым недоумением:

— Как же так? Большая школа революционной борьбы, длительная совместная работа с Лениным, правильная политическая позиция. И вдруг — после поражения революции — срыв в богоискательство!.. Тяжелые ошибки. Как связать одно с другим?..

А период этот — ярчайший пример того непреложного обстоятельства, что идеалистическая философия не абстрактно-теоретические постулаты. Она связана с живыми судьбами людей, обрекая их на долгие и мучительные блуждания по темным тропкам.

И, Не вы ищете, а вас ищут..."

Это были черные и мутные дни, когда Россия, казалось, погружается в беспросветную черную бездну.

Обнажая политический смысл наступления реакции на литературном фронте тех лет, Боровский писал, что мистические и полупорнографические романы и повести «растут из одного корня, они — плод одного и того же настроения. Это — своеобразная ликвидация революции... Оскудевающая интеллигенция (Боровский имеет в виду круги интеллигенции, слабо связанные с революционным движением. — А. Е.), которая всегда не прочь была поговорить о пользе свободы, возлагала большие надежды на революцию, на ее двигателя — пролетариат и на его руководителя — социал-демократию. Когда же ее надежды не сбылись, она начала развенчивать своих вчерашних кумиров. Пошло повальное

мародерство: клеветать на революционеров вообще, на социал-демократию в частности, стало признаком хорошего тона среди якобы демократической интеллигенции...».

Появилось множество «модных» писателей, поносивших марксизм и революцию. «Столпы» западного декаданса Габриеле д'Аннунцио и Франк Ведекинд становятся «законодателями мод» во многих интеллигентских кругах России. Поднимаются на щит упадочническая философия Шопенгауэра и человеконенавистнический культ Ницше. «Бывшие реалисты» Леонид Андреев и Федор Сологуб возглавили целое течение, группировавшееся вокруг сборников «Жизнь» и альманаха «Шиповник», где пелись гимны предательству и... разврату. Жизнеутверждающей идее Горького: «Человек — это звучит гордо» была противопоставлена другая мораль — одного из героев Арцыбашева: «Человек гадов по натуре».

Арцыбашев в «Санине» на место лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» ставит лозунг: «Водку и девку!» Над свежей могилой социал-демократа его герой говорит: «Одним дураком меньше стало!» И интеллигенция, захлебываясь от восторга, читает «Санина» и до небес превозносит «талант» Арцыбашева. Сологуб в «Навях чарах» клеветает на героев-освободителей эпохи 1905 года. Винниченко приравнивает революционеров к ворам и проституткам (рассказ «Купля»).

В злой пародии Боровский советует людям, предавшим память павших: «А вам, гг. антрепренеры, мой совет: если вы хотите делать сборы — а это ваше законное право, — тогда переименуйте существующие, хорошие пьесы соответственно потребностям «интеллигентных» одесситов.

Вот вам для примера репертуар на ближайшую неделю:

Понедельник. «Голая во вражеском стане» М. Метерлинка (прежде «Монна Ванна»).

Вторник. «Изнасилованная» Кн. Гамсуна (прежде — «Драма жизни»).

Среда. «Рыжая натурщица» Г. д'Аннунцио (прежде — «Джиоконда»).

Четверг. «Соблазнительница» С. Пшибыглевского (прежде — «Снег»).

Пятница. «Развращенная и покинутая» А. Шницлера (прежде — «Игра в любовь»).

Суббота. «Афинская ночь» В. Шекспира (прежде — «Сон в летнюю ночь»).

Воскресенье. 1. Утренник для учащихся: «Жених дочери — любовник матери» Н. Гоголя (прежде — «Ревизор»). 2. Вечером — «Притон убийства и разврата» М. Горького (прежде — «На дне»).

За полные сборы ручаюсь».

Пародия Воровского очень точно характеризовала нравственно-эстетическую атмосферу тех лет.

Настроения упадка проникли даже в гордость русской культуры — Художественный театр. Вл. Немирович-Данченко так объяснял причины этого кризиса:

«...Мы были в состоянии сильнейшей растерянности. Эта растерянность была в нашем репертуаре...

...Чехова уже не было в живых. Произведения нашего любимого драматурга Алексея Максимовича Горького мы не могли ставить вследствие цензурных условий, а другие драматурги, которых нам часто приходилось ставить, не радовали нас. В классическом репертуаре нам не хватало необходимого мужества для создания больших социальных образов. Мы не имели необходимой идеологической и политической смелости для выявления больших и мужественных идей классических драматургов.

Наше искусство стало засыхать. Оно уже не было таким горячим и страстным, каким оно было, когда мы начинали театр. Оно было в лучшем случае теплым. Мы начинали терять веру в себя и в свое искусство... Наша политическая жизнь была тускла. Мы теряли творческую смелость, без которой искусство не может двигаться вперед».

В период, последовавший за поражением революции 1905 года, широкое распространение в России получили религиозно-философские течения, известные под названием богоискательства и богостроительства.

Богоискатели (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Filosoфов, Н. М. Минский, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. В. Розанов и др.) искали «новое религиозное сознание». Демократии, революции, материализму они противопоставляли истину «абсолютной свободы и абсолютного бытия человеческой личности — в боге» (Мережковский). Без бога нет истины, нет счастья, утверждал Минский. Богоискатели и богостроители, о которых еще подробно пойдет речь, проповедовали религию и идеализм.

3 июня 1907 года царское правительство, возглавляемое министром Столыпиным, разогнало II Государственную думу. Началось новое наступление на демократию. Усиление реакции требовало от социал-демократии иных средств борьбы. Ленин доказывал, что необходимо участвовать в выборах и работе III Государственной думы. Тогда и возникло крыло «левых» большевиков, оформившееся как отзовистское и ультиматистское течения. «Отзовисты» требовали прекратить всякую работу в думе и отозвать социал-демократическую фракцию. «Ультиматисты» требовали от этой фракции проведения таких

мероприятий, которые в условиях того времени заведомо нельзя было осуществить. Ленин и большевики развернули решительную борьбу против тех и других.

На деле отзовизм и ультиматизм означали свертывание важнейшей легальной работы в массах.

II. „Блезус ди Мария“

Наверное, о таких мгновениях духовной жизни, какое переживал и он сейчас, писал Достоевский.

Луначарский снова раскрывает книгу, машинально возвращаясь к словам: «Бывают... минуты, когда все умственные и душевные силы, болезненно напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем сознания, и в это мгновение что-то пророческое снится потрясенной душе, как бы томящейся предчувствием будущего. И, воспламеняясь самой горячей, самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее, со всей его тайной, со всей неизвестностью...»

Разве мысли о народе-боготворце, о социализме-религии — это не философское открытие?! Он отошел от догм, он нащупывает новые пути к возвышению человека. Разве марксизм-застывшее учение? Разве оно не предполагает поиск?

Но почему его многие не понимают? Не хотят понять? Религия религии рознь! Не легенду же о Христе взял он на вооружение!

И почему такая обостренно-нервная реакция у Ильича? Кажется, до сих пор они неплохо понимали друг друга.

Пролетариат должен построить нового бога в своей душе. Его религия — социализм. Религия из противника социализма будет союзником...

Горький внимательно слушает. Он хочет понять Луначарского...

Еще в начале 1908 года Луначарский по его приглашению приехал на Капри.

Долго и подробно обсуждали они совместные планы — создать большое исследование по фольклору и истории русской литературы.

На Капри ящиками поступали книги — накапливался «материал» будущей работы. Вынашивается и замысел обширного совместного повествования «о приближении большевизма к синдикализму, т. е. о возможности слияния социализма с анархосоциализмом» (Горький).

А с Ильичем хорошо бы встретиться лично. Тогда можно было бы и поспорить и все обговорить. Уже три года, как он обещает приехать на Капри.

Письма Ильича Горькому 1905 года полны ожиданием встречи: «Удивительно соблазнительно, черт побери, забраться к Вам на Капри! Так

Вы это хорошо расписали, что, ей-богу, соберусь непременно и жену постараюсь с собой вытащить. Только вот насчет срока еще не знаю: теперь нельзя не заняться «Пролетарием» и надо *поставить* его, наладить работу во что бы то ни стало. Это возьмет месяц-другой... А сделать это необходимо. К весне же закатимся пить белое каприйское вино и смотреть Неаполь и болтать с Вами».

Тогда это не удалось.

Ленин обещал Горькому «приехать на Капри после того, как будут закончены дела по съезду...». Речь шла о V лондонском съезде РСДРП (он проходил с 30 апреля по 19 мая 1907 года в Лондоне), который должен был решить вопросы об отношении к буржуазным партиям, о работе большевиков в Государственной думе (Ленин настаивал, чтобы ее использовали как легальную трибуну для революционной работы), о взаимоотношениях партии и профсоюзов.

Горький тоже многое ждет от свидания с Ильичем: нужно договориться об издательских делах. Их программа подробно обсуждена с Богдановым, Луначарским и Базаровым.

Алексей Максимович горячо рекомендует партийному издателю К. Пятницкому своих коллег: «Вижу много интересных людей, особенно интересен для меня Луначарский. Это человек духовно богатый, и, несомненно, он способен сильно толкнуть вперед русскую революционную мысль».

Горький видит в Богданове крупного философа. Ленин никак не мог разделить восторгов и надежд Алексея Максимовича, когда он писал о Богданове: «Это чрезвычайно крупная фигура, от него можно ждать оглушительных работ в области философии» (Горький — Ладыжникову, 1906 год). Все глубже увязали теории Богданова в тине идеалистических схем Маха и Авенариуса.

В некоторых работах взгляды Луначарского и Богданова в эти годы подчас почти отождествляются. Нет, по ряду существеннейших проблем они расходились, например, в таком важнейшем вопросе, как оценка роли и значения пролетарской культуры.

По Богданову, пролетарская культура, возникшая в период господства буржуазии, ничем, по существу, не отличается от будущей культуры бесклассового, социалистического общества. Более того, он полагал, что существование пролетарской культуры есть условие, предпосылка, а не следствие победоносного завершения классовой борьбы пролетариата. Луначарский не отождествлял культуры досоциалистического и социалистического обществ. Он утверждал вслед за Лениным, что до

победы диктатуры пролетариата невозможен свободный и беспрепятственный рост пролетарской культуры. Богданов же говорил прямо противоположное: не будет пролетарской культуры — невозможен захват власти пролетариатом.

Но в области философии у них наметились в очень существенном сходные позиции. И Луначарский и Богданов не писали тогда прямо, что первичны ощущения, из которых и возник психический опыт людей и далее — сознание. Но логически именно эта мысль и вытекала из их работ, посвященных строительству новой религии, «веры без бога». И Ленин эту логику не мог не заметить.

Ленин отстаивал материалистическую, диаметрально противоположную концепцию мира: физический мир существует независимо от сознания человека, возник он задолго до людей; психическое сознание — лишь высший продукт материи, функция мозга человека.

«В мире идей, — говорил Горький, — необходимо различать тех субъектов, которые ищут, и тех, которые прячутся. Для первых необходимо найти верный путь к истине, куда бы он ни вел, хоть в пропасть, к уничтожению искателя. Вторые желают только скрыть себя, свой страх пред жизнью, свое непонимание ее тайн, спрятаться в удобной идее».

Прятаться в удобной идее Луначарский не мог. Это было не в его характере. Поиск его был поиском философской истины, способной объяснить мир. К сожалению, эти искания пошли по ложному пути.

Какими бы ни были оттенки и полутона, отличающие тогда философскую позицию Луначарского от позиции Богданова, существо дела не менялось: он включился в ревизию философско-теоретических основ марксизма, и важнейших вопросах философии и социологии Луначарский отошел от ленинизма. Этот отход сказался и в его письмах из Италии об изобразительном искусстве и в «Античных портретах», где утверждалась мысль о благотворном влиянии религии на развитие искусства. Те махистского толка наслоения, которые были в работах Луначарского 1904–1905 годов, получили дальнейшее развитие в книгах и статьях 1907–1908 годов. Потому, если говорить о философском видении мира Анатолием Васильевичем в это время, нужно рассматривать все эти работы в комплексе.

Существует традиционная классическая формула идеализма — первично сознание, а не бытие. Но это, так сказать, конечный смысл и дух этой философии. Как и во всяком учении, формы существования идеализма видоизменяются, отражая перемены исторического, социального, научного порядка. Не случайно создание «Материализма и эмпириокритицизма»

называют подвигом — нужны были огромные усилия, чтобы под фразеологией наисовременнейших, «новаторских» и «смелых» учений, нередко рядившихся в тогу марксизма, обнажить старое, знакомое лицо идеализма.

Нелепо было бы думать, что Луначарский, стоявший на материалистических позициях, вдруг неожиданно повернул на 360 градусов и с легкостью стал исповедовать идеи прямо противоположные. Здесь шел процесс иного рода. Раздумья Анатолия Васильевича о путях развития человеческого разума, несвободные, как мы знаем, от наслоений махистского толка, все более и более сближались с нравственно-философской концепцией махизма. Внешне вполне «марксистские» послышки Анатолия Васильевича о могуществе человеческого духа утрачивали всякий оттенок материализма, как только понятие «могущество» подменялось понятием «приоритет», «первичность». В этом коренном вопросе философии никаких отхождений от определяющего все и вся принципа быть не может: или идеализм, или материализм. Обоожествление опыта, да, собственно, и любой категории человеческого сознания, немедленно становилось уступкой идеализму, переходом на его, позиции. Хотя этот богостроительский идеализм не имел, казалось бы, ничего общего с традиционной «церковной» формой.

Луначарский, искренне исповедующий свои взгляды, разумеется, самым решительным образом отмежевываясь от любых попыток эту связь установить, хотя, как показал Ленин, она в конечном итоге и существовала. Сложность позиции Луначарского заключалась в том, что он, продолжая выступать решительным противником всякого церковного мракобесия, вероучений, невольно теоретически лил тогда воду на мельницу той философии, которая стоит у истоков всякой веры.

Но это не означает, что нужно, как это делается еще и сейчас во многих работах о Луначарском, писать об ошибках Анатолия Васильевича, прямо ставя его идеи в один ряд с откровенно-реакционными формами идеализма. Здесь нельзя не выделять субъективного момента — иначе исказится правильная картина духовных исканий Луначарского той поры. Исканий, исходящих из глубокого внутреннего убеждения, что он, Луначарский, исповедует только марксизм, а не что иное. Анатолий Васильевич искренне верил, что понятие «богостроительство» в данном случае относительно, ибо он наполняет его «в сущности совершенно материалистическими идеями».

И тогда из-под пера его выходили строки, вызвавшие вначале недоумение, а потом и гнев Ильича. Современный человек, по

Луначарскому, — «верховное существо» (отсюда и задача искусств — «создание Человека-бога»). Этот современный человек итог не исторического развития бытия, а эволюции «высших элементов» духа. Материалистическая основа социального человековедения здесь начисто утрачивалась. А отсюда была естественной и логичной мысль, облеченная в форму, где терминология никак уже не могла являться только «предметом спора»: «благо богов совпадает с благом человека». Итак, вместо веры в Христа — вера в «богонародушко».

Такой «материализм», естественно, ничего, кроме возмущения, у Ильича вызвать не мог.

— Но, позвольте, разве я за христианское смирение? — спрашивал Луначарский. — Разве не жизнеутверждающий гимн звучит в моих строках, когда я пишу: «Жизнь интересна, жизнь грандиозна... Не хочется ли иной раз взойти на какую-то высокую гору, раскрыть широко объятия и запеть так, чтобы на мгновение все страшные звуки и шумы мировой борьбы замерли... Ах, хорошо существовать! И вновь устремилось бы (все сущее. — А. Е.) в грозу и в бурю... поднимаясь механически инстинктивно или сознательно ко все высшей гармонии».

Ленину было легко возразить:

— Но что сопутствует у вас, Анатолий Васильевич, этому гимну — идея религиозности! Иначе не расшифровывается, скажем, такое ваше утверждение: «Аскетическое христианство есть продукт отчаяния добиться достойного счастья и торжества правды земными средствами, усовершенствовать плоть. Новое мирозерцание полно надежды достигнуть этого успеха... Что такое зло? То, что вредно развитию жизни нашего вида».

Эта идея создания «новой религии», религии без бога, и определила в рецензии на XXIII книжку «Знания» оценку Луначарским героя горьковской «Исповеди» как «воплощения поисков человеческой совести». И о каком марксизме могла идти речь, если у Луначарского «израненными ногами калик переходящих гоняется страдалец народ за правдой»? Не «калики переходящие» искали и нашли для России правду!»

Сам термин «богостроительство» у Ленина идет от Луначарского и, в частности, от статьи, опубликованной в сборнике «Литературный распад». В ответ на вопрос старика из горьковской «Исповеди»: «Кто есть бог, творящий чудеса?» — Луначарский отвечает: «Бог, о котором говорит старик, человечество, цельное социалистическое человечество. Это единственное божественное, что нам доступно. Этот бог не родился еще — строится только. А кто богостроитель? Конечно, пролетариат, в первую

голову, в тот исторический момент, который мы переживаем».

По мнению Луначарского, «идейная сила и совершенная новизна повести Горького заключаются именно в грандиозной картине: «изумленный народ... лицом к лицу сталкивается с «новой верой», с истиной, которую несет миру пролетариат». Так выдумывалась «новая религия», так «строился» бог.

Ленин писал: «Мыслить и «примыслить» люди могут себе всяческий ад, всяческих леших, Луначарский даже «примыслил» себе... ну, скажем мягко, религиозные понятия; но задача теории познания в том и состоит, чтобы показать нереальность, фантастичность, реакционность подобных примыслов».

Как видно из письма Ленина А. И. Елизаровой от 6 декабря 1908 года, первоначальное выражение в тексте книги: «Луначарский даже «примыслил» себе «боженьку», — было смягчено во избежание цензурных репрессий. В этой связи Ленин пишет: «Примыслил боженьку» — придется заменить: «примыслил» себе... ну, скажем мягко, религиозные понятия, или в этом роде».

Споря с философскими единомышленниками Ленина, Луначарский обижался:

— Мне кажется, что в понимании Владимира Ильича смысл моих высказываний обобщен несколько прямолинейно. Разве я защищаю реакционную поповщину? Мракобесие? Верю в загробную жизнь? Нет, тысячу раз нет! Я ненавижу православное или католическое мракобесие не меньше, чем Ильич! В чем мы расходимся? Законы материального мира прямо не переносятся на сферу духа. Я не за божество Иисуса Христа, но за божество коллективного разума человечества, энергии этого разума. Они существуют сами по себе, независимо от превращений и движения материального мира...

— Э-э, стой, батенька! Здесь все и начинается. Что в лоб, что по лбу. Можно спорить о чем угодно, но спорить о первичности или вторичности сознания — нет, на это ни Ильич, ни любой другой материалист не пойдет...

— Это опять огрубление моих мыслей. Я говорю не о существовании неких божественных, сверхъестественных сил, а о коллективном разуме...

— А что касается терминологии, здесь определяют все не субъективные намерения человека. Разве вы сами не знаете из истории, в какие только тоги и обличья не рядился идеализм. Что же вы хотите, чтобы Ленин спокойно взирал, как в философию снова шествует сей рыцарь печального образа, на этот раз в иных доспехах и под иным знаменем!.. В

таких вещах ни компромиссов, ни малейших уступок быть не может.

— «Пространство и время, — утверждает Мах, — суть упорядоченные... системы рядов ощущений».

— Что же отсюда следует? Только одно: значит, не человек со своими ощущениями существует в пространстве и времени, а, наоборот, пространство и время существуют в человеке, в его ощущениях. Что же это, как не признание' поповщины? Ильич очень прав, когда пишет, что философский идеализм есть только прикрытая, принаряженная чертовщина...

Спор был бескомпромиссный, и, естественно, к какому-либо согласию противники прийти не могли. Политический смысл проповеди богоискательства и богостроительства Ленин определил сразу: «русской буржуазии в ее контрреволюционных целях *понадобилось* оживить религию, поднять спрос на религию, сочинить религию, привить народу или по-новому укрепить в народе религию. Проповедь богостроительства приобрела поэтому общественный, политический характер».

Луначарский возражал Владимиру Ильичу:

— Разве можно ставить знак равенства между теми, кто исповедует откровенное церковное мракобесие, — Мережковским и К° — и нами, рассматривающими учение о вере с позиций марксизма?

— Вы создаете новую религию, — отвечал Ильич. — «Социалистической» религии не бывает. Налицо попытка «соединить» несоединимое — религию с марксизмом. Богостроительство потому не более как часть ревизии марксизма, развернутой против основ этой философии русскими махистами.

Да, Ильич был резок. Но в таких вопросах он иным быть и не мог: «... Вы подкрасили, подсахарили идею клерикалов, Пуришкевичей, Николая II и гг. Струве, ибо *на деле* идея бога им помогает держать народ в рабстве. Приукрасив идею бога, Вы приукрасили цепи, коими они сковывают темных рабочих и мужиков».

Опасность для неискушенного в философских тонкостях читателя была велика: ревизия марксистской философии шла под флагом «очищения» марксизма от «устаревших догм», «творческого развития» марксизма.

Луначарский становился на явно идеалистические позиции, когда обосновывал связь своей религии с марксизмом, с материализмом. «Мы не идеалисты, мы — материалисты, — говорил он, — в том смысле, что не находим ничего общего между законами физического мира и нашими истинами и идеалами, нашим миром моральным». Такая концепция

развивалась и в статье «Атеизм», опубликованной в сборнике «Очерки по истории марксизма». Он всюду стремится подчеркнуть действенный, активный характер своей религии. Но от этого она не переставала быть религией, пусть и «модернизированной», в «новом» духе.

В статьях «Еще о религии», «О религии» и «Евангелие от декаданса» богостроительские теории Луначарского подверглись резкой критике Плехановым. Плеханов приводит насмешливые слова Ф. Энгельса о попытке Л. Фейербаха построить религию без бога (попытка, замечает Г. В. Плеханов, «которая привела в такой восторг А. В. Луначарского»). «Стараясь построить истинную религию на основе материалистического понимания природы, Фейербах уподоблялся человеку, который решил бы, что новейшая химия есть истинная алхимия. Если возможна религия без бога, то возможна и алхимия без философского камня».

Любопытное обстоятельство: Плеханов обрушился на богостроительство Луначарского, пожалуй, с еще большей резкостью, чем Ленин: «Все «красочные» пророчества г. Луначарского имеют целью врачевание нравственных язв заболевшего тоской всероссийского «интеллигента», — пишет он в работе «О так называемых религиозных исканиях в России». — И этим характеризуется его религиозное искание. Наш пророк охотно говорит о пролетариате, о пролетарской точке зрения, о пролетарской борьбе и т. п. Но с пролетариатом, как таковым... не имеет ничего общего. Он — типичный российский «интеллигент» из наиболее впечатлительных, наиболее поверхностных и потому наименее устойчивых. Этими особенностями его, как умственного типа, объясняются все его метаморфозы, наивно принимаемые им за движение вперед».

Согласиться с такой характеристикой личности Луначарского, конечно же, невозможно. Критика Плеханова уже переходит здесь эмоционально ту грань, за которой обычно говорят не только о существе дела, но и о личных симпатиях и антипатиях. При всей резкости Ленина у него всегда ощущается озабоченность за дальнейшую судьбу талантливейшего, глубокого, ищущего человека, каким Ильич всегда считал Анатолия Васильевича. И к этому периоду в полной мере относятся слова Ленина о Луначарском, сказанные позднее В. Шульгину: «...В сети к Богданову зря попадает. Но мы его оттуда вытащим...»

В своей критике махизма и богостроительства Плеханов не был столь глубоко последователен, как В. И. Ленин. Так, он не только не увидел в «теориях» Богданова ревизионистской линии, но и считал его союзником марксистов, союзником с уклонением от марксизма. Кроме того, Плеханов сам совершал грубые ошибки при изложении диалектического

материализма и не раскрыл связь эмпириокритицизма с реакционными направлениями в науке. Эту задачу выполнил Ленин.

А какую позицию занял в этом споре (Ленин — Богданов — Луначарский) Горький?

Исследовавший историю взаимоотношений Горького и Луначарского на Капри в 1908–1910 годах А. Нинов предлагает такую схему их «взаимных влияний»: «Если в богдановских работах Горького интересовали преимущественно социологические изыскания и выводы о коллективной психологии пролетариата и т. п., то в воззрениях Луначарского Горькому ближе всего была идея «религиозного атеизма», использования религиозности как нравственной предпосылки для утверждения социалистического миропонимания. Именно из этих элементов — вполне искусственного соединения остаточных религиозных воззрений с социализмом — возникло «богостроительство» — особое течение внутри большевистской партии, которому Горький в 1908–1911 годах отдал определенную дань и в своей публицистике и в художественном творчестве.

Вслед за Луначарским Горький попытался превратить религию из противника социализма в союзника. Если мещанство утратило в душе своей бога и в религии неискренне, ибо не верует ни во что, то грядущий пролетариат, согласно теориям «богостроительства», должен возродить, построить бога в своей душе, превратив социализм в «свою новую религию. Иначе говоря, коллективистское, социалистическое сознание должно держаться на такой же горячей вере в истинность своих принципов, на какой основывается религиозное сознание искренне верующего человека».

Попытка одеть социализм в религиозные одежды означала движение вспять к давно изжившим себя формам утопического и мелкобуржуазного социализма, охотно опиравшегося на авторитет религии. Ленин считал проповедь «богостроительства» недопустимой для марксиста и открыто заявлял, что большевизму не по дороге с подобной проповедью.

Общую оценку духовных исканий Горького и Луначарского той поры у А. Нинова можно принять, но без этой явно возвышающей Горького за счет Луначарского оговорки: «вслед за Луначарским».

Здесь, как показывают все работы Горького того периода, было сближение философских позиций, а не ученичество друг у друга. Доказательство тому — та же горьковская «Исповедь», искания которой, как пишет сам А. Нинов, вели «не к отрицанию религии как таковой, а к утверждению особой ее формы, признающей бога без церкви». К тому же

Горький был не из тех мыслителей, кто слепо, на веру, принимал какое-нибудь учение, не придя сам к убеждению в его истинности.

«Всякий человек, занимающийся строительством бога или даже только допускающий такое строительство, *оплевывает* себя худшим образом, занимаясь вместо «деяний» как раз самосозерцанием, самолюбованием, причем «созерцает»-то такой человек самые грязные, тупые, холопские, черты или черточки своего «я», обожествляемые богостроительством», — писал Ленин Горькому.

Страсти накалялись.

Борьба принципов, миропонимания не знает компромиссов. Отсвет бывшего союза греет строки Горького, когда он в начале января 1908 года пишет И. Ладыжникову: «Сюда, на Капри, приедет Луначарский, зовем Ильича и Богданова, думаю, что к весне все съедутся, было бы хорошо тогда заглянуть и Вам». Но нельзя было примирить непримиримое, хотя бы и под выдвинутой Горьким идеей обновления и активизации деятельности издательства «Знание».

«Я себя дам скорее четвертовать, чем соглашусь участвовать в органе или в коллегии, подобные вещи проповедующей», — отмежевывался Ленин от «Очерков по философии марксизма», восхитивших Горького.

«Задумке» Алексея Максимовича мирно поговорить, все уладить не суждено было осуществиться. Он посылает Луначарскому копию ленинского письма, подчеркнув карандашом слова Ильича о его непримиримости к философским концепциям Богданова и Луначарского. С горечью пишет Горький Анатолию Васильевичу: «Или — съезд (Горький имеет в виду встречу на Капри. — А. Е.), или мы въедем в трясины новых раздвоений, недоразумений и т. д. Ильич-то уже, кажется, въехал».

Какая-то надежда на примирение еще теплится в строках: «Звать я буду на остров и того и другого (и Ленина и Богданова. — А. Е.), буду звать усиленно, ибо жду от этого съезда для всех, а паче для себя! — хороших результатов. Если б это случилось! Если б нам съехаться и поговорить, подумать, пописать — неужели вам не улыбается сие?»

Ленин настаивал на принципиальном философском споре: «Я уже *послал в печать* самое что ни на есть формальное объявление войны, — писал Ленин Горькому в апреле 1908 года. — Дипломатии здесь уже нет места, — я, конечно, не в худом смысле говорю о дипломатии, а в хорошем.

«Хорошая» дипломатия с Вашей стороны, дорогой А. М. (если Вы не уверовали тоже в бога), должна бы состоять в отделении наших общих (т. е. меня считая в том числе) дел от философии.

Беседа о других делах кроме философии не выгорит теперь:

неестественно выйдет. Впрочем, если действительно эти *другие* дела, не философские, а «Пролетарий», на пример, требуют беседы именно *теперь*, именно у Вас, я бы мог приехать (не знаю, найду ли денег: как раз теперь затруднения), но повторяю: только под условием, что о философии и о религии я не говорю.

А к Вам я непременно собираюсь приехать на свободе, покончив работу, побеседовать».

Ленин уже сдал в печать статью «Марксизм и ревизионизм», где объявил о своем намерении выступить против «Очерков по философии марксизма»...

Готовились к встрече с Лениным. «Сегодня Александр Александрович читает реферат на тему об «эмпириомонизме», на днях читал Луначарский, — вообще живем очень интересно» (Горький — Ладыжникову). «Вызываем Ильича к приезду Базарова и Степанова. Не опоздайте попасть в «самую гущу» (Горький — ему же). В апреле 1908 года Богданов и его единомышленники были на Капри...

В понедельник они получили телеграмму с отказом Ленина приехать на Капри. А сегодня...

На вилле «Блезус ди Мария», где жил Горький, готовились к встрече, Задумчиво ходил из угла в угол нижнего зала Богданов.

— Маша, Луначарские еще не пришли?

— Скоро будут. Наверное, с Толей завозились.

Анатолий Васильевич с крестником Горького сыном Толей и женой Анной Александровной жили рядом — на виа Тиберио.

— Пожалуй, пора на пристань.

— Идем...

Пароход долго разворачивался, медленно приближаясь к маленькому пирсу. Но вот прогрохотала якорная цепь, по сходням спустились первые пассажиры, и Горький увидел Ильича.

Обнялись.

— А где Надежда Константиновна?

— Не удалось ей... Дела. Может быть, этим летом удастся выбраться вдвоем...

Ленин улыбнулся:

— А вам, Мария Федоровна, за «Пролетарий» от всех нас поклон...

— Ну что вы, Владимир Ильич!

— Нет, нет! Большое дело сделали!

Мария Федоровна помогла наладить одну из «цепочек», по которой новая ленинская газета (выходила в 1906–1909 годах) шла в Россию.

— Отойдем в сторонку! — Ленин взял Горького под руку.

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток...

Но что-то вроде спора все же произошло.

— Алексей Максимович! Я — сразу: мириться на философии не буду... Вы уж не выступайте в роли миротворца...

— Но Богданов и Луначарский — большевики. Вам с ними работать, а не с Плехановым!

— Что делать! Плеханов — меньшевик, а в философии материализм защищает. Значит, здесь нам по дороге. А что касается Анатолия Васильевича... Что ж, не будем пока смешивать партийную работу с философскими спорами... Всему свое место...

Из скупой мозаики воспоминаний участников встречи и их друзей складывается картина тех дней: вести философские дискуссии Ильич не хотел. На попытки завязать спор отвечал резко, непримиримо. Богданову заметил:

— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал... Вы мне объясните в двух-трех фразах, почему махизм революционнее марксизма?

Богданов говорил долго и туманно.

— Бросьте, — посоветовал Владимир Ильич. — Кто-то, кажется Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром». Я бы прибавил: и махистом. Бросим это дело. Сыграем лучше в шахматы...

Примирение явно расстраивалось.

Ильич предложил Луначарскому, Богданову и Базарову создать совместный труд — историю революции 1905–1907 годов, но те были слишком увлечены, как им казалось, более важными философскими спорами, чтобы согласиться на это.

«Помните, весной 1908 года на Капри наше «последнее свидание» с Богдановым, Базаровым и Луначарским? — писал впоследствии Ленин Горькому. — Помните, я сказал, что придется разойтись годика на 2–3, и тогда еще М. Ф., бывшая председателем, запротестовала бешено, призывая меня к порядку, и т. п.!»

«Пробыл Владимир Ильич на Капри всего несколько дней, и после его отъезда у Горького было грустное настроение, с которым он долго не мог справиться», — вспоминает М. Ф. Андреева.

Неприятно было и Ильичу. Он «мало как-то рассказывал о своей поездке. Больше говорил о красоте моря и о тамошнем вине, о разговорах

же на большие темы, бывшие на Капри, говорил скупно: тяжелоэто это ему было.

Опять засел Ильич за философию» (Н. К. Крупская).

В 1909 году выходит из печати гениальный труд В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», где был дан развернутый критический анализ «теорий» и Богданова, и Луначарского, и всех зарубежных и русских школ эмпириокритицизма.

Подчеркивая связь гносеологических и эстетических положений эмпириокритицизма, Ленин писал, что надо быть слепым, чтобы не видеть идейного родства между «обожествлением высших человеческих потенций» Луначарского и всеобщей «подстановкой» психического под всю физическую природу Богданова. Это одна и та же мысль, выраженная в одном случае преимущественно с точки зрения эстетической, в другом — гносеологической.

Определяя природу теоретических исканий Луначарского, подчеркивая несамостоятельный характер его эстетических взглядов, Ленин не без основания замечал: «Может быть, мы заблуждаемся, но мы ищем», — писал... Луначарский. — Не *вы* ищете, а *вас ищут*, вот в чем беда! Не вы подходите с вашей, т. е. марксистской... точки зрения к каждому повороту буржуазно-философской моды, а к вам подходит эта мода, вам навязывает она свои новые подделки во вкусе идеализма...» Значит, нужен был бескомпромиссный, яростный бой. Не доброта, а жестокость, ибо плох тот врач, который, боясь причинить больному боль, отказывается от операции и оставляет у него смертоносную опухоль. Идеализм, который проповедуют Луначарский и Базаров, — писал Владимир Ильич в «Заключении» своей работы, — «есть только утонченная, рафинированная форма фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на пользу себе малейшее шатание философской мысли. Объективная, классовая роль эмпириокритицизма всецело сводится к прислужничеству фидеистам в их борьбе против материализма вообще и против исторического материализма в частности».

III. Михаил Вилонов и другие...

Ильич уехал.

Жизнь на Капри снова вошла в прежнюю колею.

Противники разошлись, не примирившись, — каждый уверенный в своей правоте.

А на Капри шли письма.

Десятками ложились они на рабочие столы Горького, Луначарского,

Богданова. Письма тревожные и деловитые. Россия остро нуждалась в квалифицированных кадрах революционеров и пропагандистов.

Горький писал Ладыжникову: «Жалобы эти усилились за последнее время, — что объясняется ростом организации. Рабочие пишут, что они личными силами не могут удовлетворять запросов массового человека, запросов, которые все растут и ширятся.

Это положение обязывает нас сделать все, что можем, дабы усилить интеллектуальную энергию партии. Мы — Александр] Александрович], рабочий-уралец, живущий здесь, я и Луначар[ский] — пришли к необходимости устроить за границей курсы для выработки организаторов и пропагандистов.

Устраивается это так: будут извещены о курсах организации в России, и организации эти, выбрав из своей среды наиболее способных рабочих, пошлют их за границу месяца на 3–4. Только рабочих».

Поездка на Капри и минимальная «стипендия» «студента» (а их предполагалось иметь до двадцати человек) стоили немалые деньги — 500 золотых рублей.

Но где взять средства на организацию школы?

Все, что мог, отдал Горький.

Не поскупилась М. Ф. Андреева.

Не смогли отказать другу Ф. Шаляпин и А. Амфитеатров.

Нижегородский судовладелец В. Каменский, хороший знакомый Алексея Максимовича, пополнил кассу.

Шли пожертвования.

Какова должна быть — цель школы? — этот вопрос не мог не возникнуть. Здесь мнения разделились.

— Учеба, расширение кругозора — вот главная цель, — полагали Михаил Вилонов и Горький.

Не только культурничество, но и организация философской группы, политического крыла в партии, борьба с ленинским «Пролетарием». Это еще не высказывалось откровенно, но явно вытекало из действий и намерений Богданова и Алексинского.

А. Богданов пытался создать собственную философскую школу — «эмпириомонизм», являвшуюся на деле лишь одной из разновидностей субъективно-идеалистической махистской философии. Г. Алексинский, в начале своей политической деятельности социал-демократ, к этому времени прочно стоял на позициях отзовизма и стал одним из лидеров складывавшейся фракционной группы «Вперед».

Вся дальнейшая жизнь школы — противоборство этих начал и

мнений.

Рефераты, журналистика, диспуты, лекции, посещение музеев, библиотек — все это очертило круг занятий «студентов». Один из них, В. Косарев, вспоминает:

«Работа пошла усиленным темпом. Отдыхать полагалось лишь по воскресеньям. Трудно было привыкать к усиленным занятиям, особенно вначале. Публика уставала. Это замечали лектора и старались наладить развлечения по праздникам.

Горький» у которого часто гостили художники, музыканты, писатели, устраивал вечеринки. Читал свои новые произведения, организовывал домашние концерты и собеседования. Кроме чаю, здесь выпивалось немало хорошего вина, местного и привозного. Во время бесед ученики разбивались на группы вокруг Богданова, Горького и Покровского, завязывались споры. Живший тогда на Капри Герман Лопатин рассказывал о своем личном знакомстве с К. Марксом, и время проходило чрезвычайно интересно».

Об этом же мы узнаем из писем Горького М. Коцюбинскому: «Приехавшая сюда рабочая публика — чудесные ребята, и я с ними душевно отдыхаю от щипков и уколов «культуры». В то же время, по мере возможности, они знакомятся с культурой истинной — были в Неаполитанском музее, в старых церквях, в Помпее, будем и в Риме. Хорошо они смотрят, хорошо судят, и — вообще — хорошо с ними демократической моей душе!

А между делом — музыкой занимаемся; живет здесь добрый парень, директор московского] императорского] музы-к[ально]го о[бщест]ва Сахновский, композитор, пишет оперу и симфонию, устраивает в праздники, по вечерам концерты — рабочая публика моя и тут на месте.

Конечно, все это — вне крепостных стен с. — дечной программы, — но — что ж? — я всегда высоко ценил удовольствие быть еретиком».

Письмо это датировано 15 сентября 1909 года.

Деятельность школы расширялась.

— Думали — школа, кружок, — заметил впоследствии Луначарский, — сложилась группа.

Лекторами Каприйской школы, кроме Горького, стали А. Богданов, Г. Алексинский, А. Луначарский, М. Покровский, М. Лядов, Станислав Вольский, то есть те, кто с весны 1908 года стал исповедовать в философии «богостроительство», в политике — «отзовизм».

Ленин сразу почувствовал опасность: «Отрицать, что вся эта группа товарищей ведет агитацию против «Пролетария», поддерживая и защищая

отзовистов, значило бы насмехаться над известными всем в партии фактами. Отрицать, что остров Капри получил уже известность даже в общей русской литературе как литературский центр богостроительства, значило бы, издеваться над фактами. Вся русская печать давно уже указала на то, что Луначарский с острова Капри повел проповедь богостроительства. Ему помогал в России Базаров. Однородные философские взгляды защищал в десятке русских легальных книг и статей, в десятке заграничных рефератов Богданов».

Слушатели школы (их было около тридцати) не сразу поняли что к чему. Один из них, И. Панкратов, решительно не принявший политику; фракции, вспоминает: «В первый период занятий в школе ни я, ни другие ученики не подозревали о подлинных замыслах организаторов школы. Но вскоре мы заметили, что Богданов и в особенности Алексинский стали резко отзываться о В. И. Ленине».

Борьба принимала все более острые формы...

Теоретические ошибки Луначарского подверглись резкой критике на заседании расширенной редакции газеты «Пролетарий» в июне 1909 года. В резолюции «О богостроительных тенденциях в социал-демократической среде» отмечалось, что отдельные социал-демократы, в том числе и Луначарский, проповедуют веру и богостроительство, пытаются придать научному социализму характер религиозного верования. «Расширенная редакция «Пролетария», — говорилось далее, — заявляет, что она рассматривает это течение, особенно ярко пропагандируемое в статьях т. Луначарского, как течение, порывающее с основами марксизма, приносящее по самому существу своей проповеди, а отнюдь не одной терминологии, вред революционной социал-демократической работе по просвещению рабочих масс... Расширенная редакция «Пролетария»... предлагает редакции, как и прежде, вести решительную борьбу с подобными тенденциями, разоблачая их антимарксистский характер».

Ни Богданов, ни Луначарский не поняли тогда всей глубины своих заблуждений. Пытаясь свести все дело к «недоразумениям», Луначарский, зная об отношении к его ошибкам в редакции, прислал на заседание заявление, в котором протестовал против «придинок» «Пролетария». Богданов поддержал Луначарского, отметив у него лишь «злоупотребление религиозной терминологией». После окончания работы заседания Луначарский в листке «Ко всем товарищам», изданном А. Богдановым, напечатал «опровержение» — «Несколько слов о моем богостроительстве», где отмежевался от «клички богостроителя», заявляя о разрыве со своей прежней терминологией, затрудняющей «истинное понимание» его идей.

Но существа дела такое заявление, конечно, не меняло.

Как мы уже знаем, Горький хотел примирить Ленина с Богдановым и Луначарским. И что характерно в переписке Ленина этого периода, так это настойчивая и последовательная борьба за Луначарского. Борьба, в которой Ленин, однако, ни на шаг не отступает от своей позиции. Из письма Ленина Горькому от 7 февраля 1908 года видно, что Владимир Ильич внимательно следит за деятельностью Луначарского: «...как рядовой марксист, я читаю внимательно наших партийных философов, читаю внимательно эмпириомониста Богданова и эмпириокритиков Базарова, Луначарского и др...»

Но на предложение Горького «забыть разногласия и примириться» следует решительный отказ:

«...Раз человек партии пришел к убеждению в сугубой неправильности и *вреде* известной проповеди, то он обязан выступить против нее...

Какое же тут «примирение» может быть, милый А. М.? Помилуйте, об этом смешно и заикаться. Бой *абсолютно* неизбежен» (письмо от 24 марта 1908 года).

Однако, стремясь вернуть Луначарского в ряды большинства, Ленин резко разделяет вопрос о философских расхождениях от вопроса о политических разногласиях. Не разыскано письмо Ленина, о котором упоминается в его письме к А. М. Горькому от 19 апреля 1908 года:

«Еще раз повторяю, что *ни в коем случае* непозволительно смешивать споры литераторов о философии с *партийным* (т. е. *фракционным*) делом. Я уже это писал Ан. Вас-чу...»

Владимир Ильич никак не хотел допустить, чтобы от большевиков ушел этот, пусть заблуждающийся в вопросах философии, но очень ценный человек. Ленин не перестает вести с ним переговоры о сотрудничестве в большевистских изданиях. Луначарский принимает предложение. Но Ленин напоминает ему о том, что политический союз не означает идейно-философского компромисса.

В понимании Ильича человеческая личность — тот организм, в котором в едином сплаве слито философское и моральное, социологическое и политическое.

Еще многие и многие поколения будут раздумывать над его письмами к Луначарскому и по поводу их. Научно-философская глубина мышления, темперамент бойца и политика, глубочайшая человеческая нежность — трудно сказать, что преобладает в строках, написанных рукой человека, верящего и надеющегося, не идущего ни на какие философские и

политические компромиссы.

Ибо в идеологии и политике не может быть соглашений. И когда речь заходила о них, рождались твердые, суровые слова.

В письме к Луначарскому от 16 апреля 1908 года говорится:

«Очень рад, что за «Пролетарий» Вы беретесь. *Необходимо* это крайне... Смотрите же, не забываете, что Вы — сотрудник партийной газеты, и окружающим не давайте забывать...

...Насчет философии *приватно*: не могу Вам вернуть комплиментов и думаю, что Вы их скоро назад возьмете. А у меня дороги разошлись (и должно быть, надолго) с проповедниками «соединения научного социализма с религией» да и со всеми махистами».

В школе назревал раскол. Исключают за решительную поддержку Ленина Михаила Вилонова. Вилонов и еще часть учеников уехали к Ильичу в Париж. Встреча была радостной. Один из ее участников, старый большевик А. Гречнев-Чернов, запомнил ее в подробностях:

«Михаил рассказывал, какую острую фракционную борьбу вели Богданов и другие руководители школы против Ленина и ленинцев. Слова Ленина о Каприйской школе как отзовистском фракционном центре подтвердились полностью.

Владимир Ильич начал вести занятия с приехавшими, уделяя им много внимания и времени. К концу года из Капри в Париж приехали и остальные слушатели. Владимир Ильич и им читал лекции. Обстоятельно был проработан вопрос о текущем моменте, о характере столыпинской земельной реформы, прочитаны лекции о ведущей роли рабочего класса, о работе думской фракции большевиков и о значении этой работы».

Тогда же Ленин написал Горькому: «Сегодня увидал в первый раз т. Михаила, покалякал с ним по душам и о делах и о Вас и увидел, что ошибался жестоко. Прав был философ Гегель, ей-богу: жизнь идет вперед противоречиями, и живые противоречия во много раз богаче, разностороннее, содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется. Я рассматривал школу *только* как центр новой фракции. Оказалось, это не верно — не в том смысле, чтобы она не была центром новой фракции (школа была этим центром и состоит таковым сейчас), а в том смысле, что это неполно, что это не вся правда. Субъективно некие люди делали из школы такой центр, объективно была она им, а кроме того школа черпнула из настоящей рабочей жизни настоящих рабочих передовиков...

Из слов Михаила я вижу, дорогой А. М., что Вам теперь очень тяжело. Рабочее движение и социал-демократию пришлось Вам сразу увидеть с такой стороны, в таких проявлениях, в таких формах, которые не раз уже в

истории России и Западной Европы приводили интеллигентских маловеров к отчаянию в рабочем движении и в социал-демократии. Я уверен, что с Вами этого не случится, и после разговора с Михаилом мне хочется крепко пожать Вам руку».

К концу декабря 1909 года организационно сформировавшаяся группа «Вперед» заявила о себе официально. Горький, болезненно переживавший все эти распри, теперь решительно отмежевывается от фракционеров.

Это была титаническая схватка натур, характеров, принципов, где боль и горечь уступали перед необходимостью твердо определить свою позицию.

М. Андреева информирует А. Амфитеатрова (октябрь 1910 года): «Нервы А. М. в ужасном состоянии, он почти не спит, ест еще меньше обычного, бледен. Прошлогодняя школа — нравственный разрыв с Луначарским, Богдановым, которых он и посейчас очень высоко ставит как талантливых людей, а Богданова считает выдающимся ученым, усиленная работа при условии, что чуть не каждую написанную страницу у него из рук рвет К. П. (Пятницкий. — А. Е.), тогда как самому А. М. хотелось бы задержать ее, поработать еще, дать полежать написанной вещи, и многое еще другое ежедневное, мелкое, но волнующее и неприятное... А главное и прежде всего — общее положение дел в России, падения и крушения, общее положение литературы русской, г. г. литераторы — все это доконало даже и его крепкую натуру...»

Летом 1910 года Ленин вновь приезжает к Горькому на Капри. Он не изменяет своих позиций, о чем прямо и пишет в августовской статье «О фракции «впередовцев»: «Еще и еще раз надо повторить, что это лицемерие впередовцев объясняется не личными качествами Петра или Сидора, а *политической* фальшью всей их позиции, объясняется тем, что литераторы-махисты и отзовисты *не могут* вступить *прямо и открыто* в борьбу за дорогие им несоциал-демократические идейки. Кто поймет эти *политические* условия, тот не будет останавливаться растерянно, недоуменно, тоскливо перед одной внешней стороной явления, перед суммой личных конфликтов, склоки, руготни и пр.».

Собственно, победа была уже одержана: явное, подавляющее большинство партии шло за большевиками. Отсюда — и прекрасное настроение Ильича.

«Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям, — рассказывает Горький. — Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил М. Андреевой,

— невесело, говорил, с глубоким сожалением:

— Умные, талантливые люди, не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а — не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

— Луначарский вернется в партию, он — менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одаренная натура. Я к нему «питаю слабость» — черт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ!» ...В эту ночь они почти не спали. Через день Пятницкий записал в дневнике: «В 5 встают. Провожая Г[орького] и Лен[ина] до парохода».

IV. По дорогам Европы

Бегут в ночи вагоны, глухо пересчитывают мили стыки рельсов, и в полуоткрытое окно уже чувствуется свежее дыхание приближающегося моря.

Поправив ночник Над столиком, Луначарский продолжает письмо: «Много людей и стран уже промелькнуло в моей жизни перед глазами. Я видел всяких — и щедрых духом и нищих душой. И всегда не перестаю удивляться — как чертовски талантлив русский человек.

Много нас сейчас на чужбине. Переезжаем из Парижа в Женеву и обратно. Ищем чего-то. Спорим. Ругаемся.

А настоящее дело делается в России. Ей-поклон...»

Письмо завтра будет опущено. Но дойдет ли до адресата?

Может быть, за ним уже закрылись ворота Бутырок или «Крестов». Может быть, тот, как и он когда-то, перебирается такой же глухой ночью через русскую границу.

На чужбину. В эмиграцию...

Философские споры не утихают, отнимают время, оставляя горькое чувство неудовлетворенности. И физически-неприятное ощущение ссоры с Лениным.

Жесткие слова. Жесткие фразы писем. А он-то знал, как мягко мог писать и разговаривать Ильич...

Подчас становится легче, когда калейдоскоп стран и событий мелькает перед глазами, как эти нерусские домики с острыми крышами, проносящиеся за окном.

Из страны в страну, из города в город забрасывает его судьба.

А событий действительно было немало... И снова вроде бы намечался путь к примирению с Ильичей.

В 1907 году Луначарский — делегат Лондонского съезда партии. В том

же году он как представитель большевиков участвует в работах Штутгартского конгресса Интернационала. Его избирают в комиссию конгресса по выработке резолюций о взаимоотношениях между партией и профессиональными союзами. Поддерживая позицию большевиков, Луначарский выступил против Плеханова, отстаивавшего нейтралитет профсоюзных организаций.

Знакомы они были давно, и политические распри не мешали им обсуждать многое другое. Во время конгресса они сидели рядом. Плеханов очень метко характеризовал некоторых выступающих ораторов. «Когда говорил Бебель (между прочим, не очень удачную речь, против которой Ленин и Роза Люксембург решили, потом выступить в комиссии), то Плеханов, слушавший его с восхищением, сказал нам: «Очевидно, есть некоторые биологически предустановленные к ораторской судьбе типы. Посмотрите, например, на Бебеля — ведь он страшно похож на Демосфена». Это было действительно необычайно меткое замечание. Всякий, кто сравнит знаменитую античную статую Демосфена с хорошей фотографией Бебеля, немедленно заметит это сходство. Про Вандервельде, — вспоминает Луначарский, — Плеханов иронически заметил: «Теперь начинает возглашать протодиакон II Интернационала». А когда заговорил Жорес, Плеханов сказал: «Фейерверочный человек, но порядочный путаник...»

Личное уважение личным уважением. В принципиально-партийных боях Анатолий Васильевич говорил о позиции Плеханова достаточно резко.

На Копенгагенском конгрессе Интернационала (1910) Луначарский появляется уже с мандатом группы «Вперед».

Не доезжая до Копенгагена, в Дании, он встретился с Лениным. Из краткого обмена мнениями выяснилось, что почти по всем вопросам программы они стояли на близкой точке зрения. О группе «Вперед» Ленин отозвался настолько иронически, что подробный разговор о взаимоотношениях стал явно неуместным...

Пути людей часто сближаются, и в Копенгагене Луначарский снова увидел восхитившего его ораторским искусством Жореса. Жорес был настоящим героем съезда: все его выступления прошли с огромным успехом.

«Хотя я в то время был впередовцем и представлял в Копенгагене ту фактически отколовшуюся группу, которая, однако, числилась при ЦК нашей партии, на самом съезде у меня установились превосходные отношения с ленинцами, и Ленин поручил мне войти от большевистской фракции русской социал-демократической делегации в довольно важную

комиссию по выработке резолюции о кооперации, — рассказывает Луначарский, — я не могу сейчас входить в суть того вопроса, в котором большую роль играли бельгийцы, настаивавшие — правильно — на социалистическом характере кооперации. Конечно, к этому утверждению бельгийцев можно было подойти с двух сторон. Мы подходили с той точки зрения, что конгресс должен подтянуть кооперацию к партии, поставить ее на служение борьбе за социализм на следующий же день после победы революции...»

Предполагалось, что на следующем, Венском, конгрессе (он не состоялся — началась война) Анатолий Васильевич выступит с сообщением о взаимоотношениях партии и культурно-просветительных организаций пролетариата...

А жизнь шла. В ней, кроме высокой философии, была и более приземленная, прозаическая сторона — быт эмиграции. Для товарищей Луначарский — тот же хороший друг, просиживающий дни и ночи над «реализацией очередных литературных проектов».

Группа «Вперед» жила исключительно с доходов от рефератов Луначарского. Обычно ему организовывали целый ряд рефератов в различных городах, заранее снимали зал, печатали афиши. «И я всегда волновался, — вспоминает Лебедев-Полянский, — как бы он где не засиделся и не опоздал «на поезд, как бы не перепутал порядок докладов, не перепутал дни». И все-таки он однажды пропустил доклад, увлекшись поездкой по Женевскому озеру.

Внимательные, мудрые глаза следили за его исканиями. «Фельетон Луначарского, — пишет в конце января 1913 года Ленин Горькому на Капри, — «Между страхом и надеждой» меня, после Вашего рассказа, заинтересовал. Не могли ли бы Вы послать мне его, ежели у вас свободен?» В другом письме высказывается заветное желание Владимира Ильича. *Ежели бы Луначарского так же отделить от Богданова на эстетике, как Алексинский начал от него отделяться на политике... ежели бы да кабы...*» — пишет Ленин Горькому во второй половине февраля 1913 года (подчеркнуто нами. — А. Е.).

Как ни серьезно было влияние на Луначарского философско-эстетических взглядов Богданова, все же в его работах зримо ощущалось то здоровое, боевое, революционное, что и дало основание Ленину в письме Горькому ставить вопрос об отделении Луначарского от Богданова «на эстетике».

Мы уже подробно разбирали статью «Задачи социал-демократического художественного творчества» (1906 г.). Принципиальное значение для

понимания эстетических воззрений Луначарского в этот период имеет и его статья «Социализм и искусство», опубликованная в 1908 году в сборнике «Театр», выпущенном издательством «Шиповник». Нельзя недооценивать этой работы, где отстаивалось революционное, близкое народу искусство в годы расцвета декаданса, упадочничества, пессимизма, реакции, наступившей после поражения революции 1905–1907 годов.

Особенно интересен в статье раздел «Задачи дня», где Луначарский резко выступает против «буржуазной идеи об увеселительном характере» искусства. Анализируя состояние тогдашней театральной жизни, критик пишет: «Театр остается местом развлечения. Это развлечение бывает иногда красивым, изящным, не без идейного оттенка, чаще грубо, вульгарно, низменно; но уже одно отношение к театру как к развлечению губит его...

Не дай бог, если по этому же пути пошел бы и революционный театр».

Луначарский против бескрылого, бездушного, декадентского искусства. Он за искусство «прекрасного, яркого и возвышенного мирозерцания», за ясность идеи, утверждаемой художником. Туманной мистике и натурализму Леонида Андреева Луначарский противопоставляет искусство героического, возвышенного идеала, способного увлечь за собой массы, быть знаменем в революционной борьбе.

«Вообще путь натурализма, хотя бы и импрессионистски сконцентрированного, — говорится в «Задачах дня», — не является истинным путем нового искусства. На партийтаге германской с.-д. партии в Бреславле рабочие энергически протестовали против стремления социалистических беллетристов кормить их изображением их утомления, нужды и унижения и т. п. Бедные интеллигенты!

Они воображали, что работали как раз в пролетарском вкусе, когда старались перещеголять друг друга в мрачности красок, какими они рисовали «социальный вопрос», — и вдруг такой сюрприз.

Рабочие заявили, что далеко предпочитают старого Шиллера.

Драгоценный симптом!»

И нужно отдать должное Луначарскому: он принципиально ново решал уже в эти годы проблему эстетического идеала в искусстве, проблему положительного героя, героического.

Опираясь на опыт передового революционного искусства, и прежде всего творчества Горького, Луначарский приветствует стремление Горького «найти элементы здорового и пламенного романтизма в самой реальной жизни рабочего, усмотреть новую красоту в самой «прозе» пролетарской борьбы».

Писатель — разведчик будущего, и не бескрылое описательство завоевывает ему любовь и признательность рабочих масс. «Социалист-художнику, интеллигенту надо творить в области фантастической ярко, сочно, выпукло, гиперболично...» — пишет он, поддерживая искусство «высоты философской мысли», искусство, где была бы «влита та романтическая душа, которая ищет себе выражение в последних произведениях Максима Горького».

Даже по этому можно судить о революционном пафосе его статей, его боевом эстетическом кредо.

Да, «на эстетике» Луначарский действительно отделялся от Богданова. В этой области он работал как рыцарь Революции, нападал и отражал удары, пробивая дорогу молодому искусству Революции.

В работах, написанных за границей и опубликованных в «Киевской мысли» и других русских изданиях 1912–1916 годов, он противопоставляет Ромена Роллана и Анатоля Франса декадентскому «искусству» Запада. «Самыми губительными эпидемиями», «одичалым индивидуализмом» называет он полотна ультрамодернистов, порвавших всякие связи с реальной действительностью. «Уж лучше не запахивайтесь идеями. Всякому свое», — бросает реплику публицист идеологам «бульварной пошлости». «Дочь рынка» — так метко окрестил он музу, служащую золотому тельцу.

Мысли Луначарского о путях развития революционного искусства изложены в «Письмах о пролетарской литературе».

В первой заметке «Что такое пролетарская литература и возможна ли она?» из цикла «Письма о пролетарской литературе» Луначарский пишет, что не всякое литературное произведение, рисующее жизнь рабочего класса, может быть отнесено к пролетарскому искусству. Существуют пасквиль на рабочий класс, есть мнимые друзья пролетариата. К таким людям Луначарский относит редактора монархической газеты «Французское дело» Леона Додэ, посвятившего рабочим роман «Те, что поднимаются». Из романа следовало, что лучшие люди труда проникнуты монархическими идеями.

«Каким же образом, — спрашивает Луначарский, — мы точно можем определить, что такое пролетарское художество, пролетарская литература?

Когда мы говорим — пролетарская, то мы этим самым говорим — классовая. Эта литература должна носить классовый характер, выражать или вырабатывать классовое содержание...

...Мы говорим о художественной литературе».

«Искусство есть оружие, и оружие огромной ценности, — продолжает

далее Луначарский. — ...Я отнюдь не хочу этим сказать, что пролетарскому художнику должны быть интересны только чисто революционные темы. Наоборот, весь широкий мир должен интересовать и волновать его. Все человеческие страсти от самых бурных, до самых нежных пусть будут его красками. Но ведь этот мир преломлен будет сквозь новое пролетарское сознание.

Как сказочный царь Мидас, к чему ни прикасался, все превращал в золото, так пролетарское искусство, что бы оно ни выражало, превратит всякий материал в оружие в деле самосознания и спайки рабочего класса...»

Луначарский не только оценивал достоинства творения художника, но и умел заглянуть в его творческую лабораторию, увидеть муки поиска и направление его.

Интересно такое обстоятельство. Русская публика решительно не приняла «Версальской серии» рисунков Бенуа, ушедшего от треволнений бурного времени в старофранцузское рококо. Бенуа жил тогда за границей. В близком к большевикам журнале «Вестник жизни» (1907 г., № 2) Луначарский с болью за талант художника писал: «Тысяча и один этюд Версальского парка, и все более или менее хорошо сделаны». Но «Версаль перестал действовать. «Как хорошо!» — говорит публика и широко, широко зевает». Луначарский размышляет — только возвращение в Россию даст новые силы мастеру.

Вроде бы писал определившийся «противник» Бенуа. Но вот читаем написанное почти одновременно со статьей Луначарского письмо друга художника — Бакста к Бенуа: «Не устану звать тебя скорее сюда; не потому что ты сейчас здесь необходим, но Россия тебе (подчеркнуто Бакстом. — А. Е.) необходима, как теплый свет... Плюнь на Версаль!.. А горишь ты тогда, когда в условиях горения. Поэтому напиться Россией».

Два документа, написанные с совершенно разных «позиций» по отношению к адресату, но как точно в обоих определена сама суть трагедии мечущегося художника. Написать так, как написал Луначарский, мог только человек трепетно и взволнованно заинтересованный в судьбах искусства.

К сожалению, одна из самых значительнейших его работ той поры оставалась незнакомой широкому читателю. Речь идет о статье «Искусство для искусства и искусство для жизни». Впервые опубликованная в 1914 году на украинском и армянском языках (на этом языке она была издана и отдельной книжкой), статья до юбилейных торжеств, связанных с празднованием 90-летия Луначарского, ни разу не перепечатывалась.

На машинописном «русском» экземпляре статьи, подписанном

Луначарским, есть приписка, сделанная рукою Анатолия Васильевича: «Очень прошу по окончании перевода вернуть мне оригинал».

Приписка эта была обращена к замечательному поэту Армении Акопу Акопяну. «Армянский Верхарн» (как назвал Акопяна Луначарский), познакомившись с Анатолием Васильевичем в 1911 году в Париже, в автобиографии с благодарностью вспоминает историю статьи «Искусство для искусства и искусство для жизни», которую он и перевел на армянский язык.

Позднее в предисловии к сборнику Акопа Акопяна «Новое утро» Луначарский с теплотой напишет: «Давным-давно познакомились мы и подружились. Мы оба тогда были молоды. Встретились далеко от нашей Родины. Он — из Тифлиса, я — из Украины, Москвы, Ленинграда, а связались больше всего за границей. Акоп Акопян был в то время надежным революционным пунктом у себя. Он оказывал бесчисленное количество революционных услуг подпольщикам и был крепко-накрепко связан с различными партийными центрами и группами в Петербурге и в эмиграции.

Но, кроме интересов политических, нас связывали и интересы поэтические».

Взлелеянный Акопяном, пролетарский литературно-художественный ежемесячный альманах «Красные гвоздики» («Кармир Мехакнер») испытывал финансовые затруднения. Луначарский, зная об этом, прислал статью Акопяну бесплатно, для укрепления фонда журнала.

В «Дзвш» (Киев) статья также попала не случайно. По просьбе редакции Луначарский писал в журнал в 1913–1914 годах. («Трибуна вполне приличная», — сообщал он жене в неопубликованной отрывке, хранящейся в частном собрании К. Мамонова.)

Луначарский развертывает в статье эстетическую и социологическую программу искусства, называя саму постановку вопроса «искусство для искусства» «почти бессмысленной». «Стремясь доказать какое-нибудь свое произведение, тенденциозный художник искажает действительную жизнь и направляет свое воображение не по свободным путям, а по узкому руслу, предугазанному требованиями его полемизирующего и поучающего рассудка. Сразу же это расхолаживает публику. Она видит перед собою не артиста, творящего вольно, без задней мысли, дар которого выражается в стройной и облегчающей восприятие организации богатого, тонко им воспринятого и пережитого материала, — нет. Она видит теперь перед собою «господина учителя», хитрого проповедника. Добро бы он говорил прямо, а то он, с одной стороны, прячется за маску художника, за свои

образы, словно старается, чтобы мы не заметили его поучений, с другой стороны, все эти образы строит так, чтобы хитро привести нас, как детей малых, к выводам, которые ему угодно навязать нам.

От этого незаконного, смешения проповеди с искусством страдает и то и другое».

О боевой силе партийного, действенного искусства пишет Луначарский, говоря об «истинных художниках», властителях дум своего поколения: «Для него («уважающего себя художника». — А. Е.) искусство не ремесло, не производство хорошеньких вещиц, а песня, рвущаяся из самых глубин его души, все равно в звуках ли или в образах.

Он всю свою личность вливает в свое художество. И если душа его полна, если есть у него звезды, по которым его чувство и его воля находят себе путь в жизненном море — то тоже и искусство непременно будет идейным, тенденциозным, если хотите.

Но эту тенденцию можно осуждать только тогда, когда художник с ней не справился. А когда она слилась с произведением искусства, то она свидетельствует лишь о богатстве и определенности личности художника.

Посмотрите, в какое болото заезжают сторонники чистого искусства, выходит так, что самым лучшим художником явится человек глупый, мало отзывчивый, лишенный силы воли. Ведь чем умнее, чутче и сильнее человек, тем скорее будет он иметь свою собственную мораль, тем ярче будут его идеалы, тем более властно захочет он заражать своим чувством или идеалом окружающих его людей. И вот он будет «тенденциозным».

Статья Луначарского была программой боевого, революционного искусства...

По постановлению группы «Вперед» Луначарский переводится в Париж для постоянного ведения там политической работы.

«Мое пребывание в Париже, — вспоминал он, — от конца 1911 г. по 1915 г. было посвящено довольно многосторонней деятельности... Одновременно с этим я писал довольно большое количество статей в ежемесячных журналах и различного рода сборниках.

Помимо литературной работы я основал кружок пролетарской культуры... читал также лекции для рабочих по истории всемирной литературы и огромное количество рефератов как в Париже, так и в русских колониях (эмигрантов. — А. Е.) Швейцарии, Германии и Бельгии».

В это время Луначарский пишет статью «Князь поэтов в народном университете (Письмо из Парижа)», где, рассказывая о культурной жизни Франции, особенно отмечает «знаменитого автора грандиозной эпопеи «Жан Кристоф» Ромена Роллана». Вместе с Ролланом Луначарский

осуждает «аристократическую, оранжерейную, махровую эстетику Уайльда и его сторонников». Этой эстетике он противопоставляет эстетику демократического искусства. В статье «Молодая французская поэзия» критик ополчается на искусство, которое «приводит к неясным грезам о возможном потустороннем мире, а подчас к плену души каким-нибудь готовым религиозным догматом», — на искусство символистов и иррационалистов.

Уже здесь начинается спор с Брюсовым, отстаивавшим тогда мысль о невозможности для человеческого сознания постичь сущность вещей, о том, что сама действительность есть лишь символ, знак чего-то лежащего за нею. Поэзию Верхарна Луначарский называет социальной. Но его «Черные факелы» и «Окровавленные вечера» представляются ему «самыми мучительными пессимистическими книгами, какие создал расслабленный символизм конца века».

В книге Верхарна «Явившиеся на пути моем» Луначарский видит симптомы возрождения поэта, а о сборниках «Галлюцинирующие деревни», «Города-Соблазнитель», «Лики жизни» он пишет: «Они пропитаны революционным духом, как нельзя более близким к возвышеннейшим чувствам рабочего класса в его авангарде». Всем этим работам Луначарского свойственно стремление поддержать гражданскую, воинствующе-революционную линию в литературе.

Ленин вновь и вновь возвращается в мыслях, статьях, письмах к судьбе талантливого критика и публициста.

«Помните, — писал он в начале января 1913 года из Кракова Горькому на остров Капри, — весной 1908-го года на Капри наше «последнее свидание» с Богдановым, Базаровым и Луначарским? Помните, я сказал, что придется разойтись годика на 2–3...

Оказалось — 4х/2, почти 5 лет. И это еще немного для такого периода глубочайшего развала, какой был в 1908–1911 гг. Не знаю, *способны* ли Богданов, Базаров, Вольский (полуанархист), Луначарский, Алексинский *научиться* из тяжелого опыта 1908–1911 гг. Поняли ли они, что *марксизм* штука посерьезнее, поглубже, чем им казалось... *Ежели* поняли, — тысячу им приветов, и все личное (неизбежно внесенное острой борьбой) пойдет в минуту насмарку. Ну, а ежели не поняли, не научились, тогда не взыщите: дружба дружбой, а служба службой. За попытки поносить марксизм или путать политику рабочей партии воевать будем не щадя живота».

Катастрофа, в ожидании которой так долго жил мир, перестала быть угрозой, стала страшной реальностью.

Началась мировая война.

Настало время определить свое место в схватке.

Нежно, трепетно любил Луначарский Францию, Что будет с ней завтра? Он понимал озабоченность своих парижских друзей, грусть в глазах женщин, останавливающихся у газетных витрин.

И дорого стоило ему признание, что, наконец, он «обрел равновесие и стал на решительную интернационалистическую позицию».

В предисловии к сборнику «Европа в пляске смерти» Луначарский писал: «...В конце [19]15 года я решился покинуть Францию и переселиться в Швейцарию. С высоты нейтральных Альп мне казалось возможным более объективно разобраться в событиях, значение которых могло быть подвергнуто сомнению и результаты которых явно рисовались мне как революционные.

Переезд мой в Швейцарию был для меня лично чрезвычайно благотворен. Я действительно смог вынести оттуда более или менее широкие и верные взгляды на войну, ее причины и последствия.

Во многом исправилась моя интернационалистическая точка зрения, выравниваясь под необыкновенно четкую, смелую линию, какую вел Ленин...»

С недоумением и болью встречал он в печати казавшиеся абсурдными строки Плеханова, призвавшего «воевать с немцами, не щадя живота своего».

Плеханов и «ультрапатриотизм»!..

Плеханов и «единая, неделимая»!..

Плеханов и шовинизм!..

Все это не укладывается в сознании. Радостью светятся строки его письма 30 ноября 1914 года: «Все женевские друзья заняли правильную позицию относительно войны». Здесь же горечь: «Проклятый шовинизм разлился сейчас по России». Нужно действовать! Нужно спасти от шовинизма «рабочий класс прежде всего, спасти лучшую часть демократии вообще, сразу занять боевые позиции против правительства». «Это настоятельнейшие и обещающие значительный успех задачи».

Памфлеты Луначарского бьют по «псевдопатриотической позиции» Засулич, Маслова, Плеханова. Едко высмеивают Геда и Гейдемана. Требуют создания Третьего Интернационала.

В новом блеске в годы войны раскрывается Луначарский-публицист. В статье «К психологии империализма», опубликованной 20 августа 1912 года в газете «Киевская мысль», Луначарский разоблачает «большую прессу», выдающую колониальный разбой в Судане, Конго, Марокко, Мадагаскаре за цивилизаторскую миссию «просвещенных» государств. Эта

миссия — «право свежевать еще далеко не замиренное Марокко» — куплена ценою крови тысяч и тысяч «опекаемых».

Это миссия грабежа, порабощения, изуверства, рассчитанная на обогащение правящей элиты Франции. Между пиратами шла грызня из-за дележа колоний, и «прогрессивные газеты всего мира помещали статьи, разоблачавшие такой ужас цивилизаторской деятельности капиталистических компаний, державших французское Конго на откупе, что кровь леденел» в жилах». Бельгийские и французские каучуковые компании, пишет Луначарский, превращают «в драгоценную резину малоценную плоть и кровь чернокожих... Компании вели дело настолько хищнически, что подсекали в корне самое благосостояние страны и быстро превращали в пустыню край до них более или менее населенный и обещающий при правильном хозяйстве быть постоянным золотым источником».

«Вакханалией бессовестного хищничества» называет Луначарский колонизаторскую политику империалистических государств. О тех писателях и журналистах, которые вольно или невольно оправдывают грабительские войны, Луначарский пишет: «А тут зубастый финансист, о жестоком эгоизме которого распространяется... Адан (французский писатель. — А. Е.), смеется и потирает руки, видя, как таскает дрова в его печку человек, говорящий с уважением о приближающейся эре справедливости».

Выступая против шовинистического угара, охватившего значительную часть западноевропейской и русской интеллигенции, Луначарский в статье «Пароксизм патриотизма» (газета «День» от 17 февраля 1913 года) иронизирует: «Ближайшее будущее покажет, насколько оправдываются надежды националистов, что президентство Пуанкаре будет эпохой военной славы». Самое ближайшее будущее развеяло мечты французского буржуа.

В многочисленных корреспонденциях, опубликованных в парижских и русских газетах, в выступлениях на митингах, в рефератах Луначарский критиковал оборонческую позицию Плеханова, разоблачал империалистический характер первой мировой войны. Он действовал как интернационалист, ленинец...

В одном из мартовских писем 1915 года Анатолий Васильевич размышляет: «Я против стремления придать рабочей партии, явлению широкому, характер сектантской чистоты, но я так же против того, чтобы всякое практическое решение, всякий лозунг, всякое политическое выражение программы натывались на сопротивление не простой инерции,

а духа, явным образом враждебного, антисоциалистического, антиреволюционного... Теперь не только социал-национализм даже в нынешнем его проявлении есть вещь очень пагубная, подтачивающая самую трудную в переводе ее на чувства и практику, самую высокую нашу идею — рабочий интернационализм, но вместе с тем он заставляет своих адептов скользить по наклонной плоскости классового сотрудничества и националистических антипатий бог знает куда. Подумайте только: Плеханов, осуждающий основную линию Р.С.-Д.Р.П., где же? В... заскорузлом консервативном, ультрабуржуазном национальном органе. Гейдеман, пишущий донос на английских интернационалистов и гнусно спрашивающий: от кого же они получили деньги на свою пропаганду, и делающий все это — где же?.. У Клемансо, старого социалистоеда. Если столпы марксизма, подобные Плеханову и Гейдеману, и старые испытанные вожди доходят до подобного бесчинства, это должно о чем-то говорить нам. Прибавьте к этому, что Гед сидит в министерстве, а Каутский лопочет что-то совершенно невразумительное, усевшись между двумя стульями. Прибавьте к этому, что В. Адлер некоторое время вел ультрагерманскую, человеконенавистническую линию. И вот вам вся марксистская хваленая гвардия: Гед, Гейдеман, Плеханов, Каутский, Адлер. Если так обстоит дело с этими людьми левого устремления, запутавшимися в тенетах социал-национализма, то чего ждать от более слабых, всегда бывших сомнительными элементами... Будем ли мы их психологически оправдывать, будем ли мы оплакивать потерю этих людей — это другое дело, но идти с ними в ногу мы ни в коем случае не можем. Тем, кто занял половинчатую позицию вроде Каутского, надо будет выбрать с совершеннейшею серьезностью: «с нами или с ними».

Как ему видится новый Интернационал?

Луначарский отвечает на это статьей «Новый путь»: «...Организация — вещь могучая, но простой переменной устава многого не сделаешь. Бросается в глаза, что, учтя и дружественные и враждебные стихийные силы, мы останемся перед лицом вопроса о социальном и волевом развитии сознания и воли нами в нас самих, рабочим классом — в рабочем же классе... Мы думаем, это дело пропаганды нигде не поставлено правильно... В общем и целом пролетариат сделал страшно мало для завоевания школы. Он должен биться за нее, быть может, больше, чем за армию: кооперативы, синдикаты должны уделять львиную долю доходов на организацию социалистических школ всех ступеней.

Партийные высшие школы и научные органы будут венчать эту систему. Но, само собой разумеется, кроме школы, кроме кружков,

огромную просветительную роль должна сыграть густая сеть идейных клубов, находящихся в загоне, на самом же деле более важных, чем пресловутые избирательные ячейки, не менее важных, чем синдикаты... Как много остается сделать в области организации пролетарского сознания и как колоссальны задачи организации чувства... Пролетариат должен постоянно жить в атмосфере коллективного чувства. Социалистическое общежитие должно обнять все стороны жизни пролетария...»

Луначарский живет вестями с Родины.

Встретив Лебедева-Полянского, с надеждой говорит ему:

— Скоро будет у нас революция, вернусь в Россию, уйду со всей головой в революционно-культурную работу... Буду разъезжать с докладами. У меня есть что сказать пролетариату...

Шли годы трудных скитаний и годы самых неожиданных встреч.

На Унтер-ден-Линден в Берлине Луначарский неожиданно заметил страшно знакомое лицо. Где он его видел?

И вдруг в памяти вихрем пронеслось — Лукьяновская тюрьма, вежливые надзиратели, «Варшавянка» по вечерам.

— Моисей Соломонович!..

Человек обернулся, сразу узнав Луначарского.

— Анатолий Васильевич! Какими судьбами!

— Да вот иду читать реферат. Русская колония в Берлине пригласила...

— А я, знаете, — вдруг без всякого перехода заметил Урицкий, — порвал с Мартовым. Тяжелые времена, но с оборонцами нам не по пути... — Ас рефератом осторожней — полиция сейчас смотрит в оба!..

Договорились встретиться.

Но Луначарскому с рефератами явно «везло». После лекции он очутился в берлинской тюрьме. Он просидел несколько дней в камере, когда его вызвали к сухопарому, педантичному господину, который, не слушая никаких объяснений и протестов, категорически заявил:

— Вам надлежит выехать из Пруссии немедленно. И въезд в нее вам отныне запрещается...

Неведомо какими путями узнал обо всем этом Урицкий. Он, рассказывает Луначарский, оказался добрым гением. «Он не только великолепно владел языком, но имел повсюду связи, которые привел в движение, чтобы превратить мой арест в крупный скандал для правительства». Он «со спокойной иронической усмешечкой беседовал со следователем или буржуазными журналистами или «давал направление» нашей компании на совещании с Карлом Либкнехтом, который тоже заинтересовался этим мелким, но выразительным фактом».

В 1917 году Луначарский приезжает в Швейцарию, к Ленину, «с предложением самого полного союза». Ленин принимает такой союз от Луначарского, поставив ему условием ни в чем не отклоняться от политической линии большинства...

Грянула Февральская революция. Луначарский едет на родину. В Торнео он и его товарищи пересели из чистых заграничных вагонов в российский военно-санитарный поезд. Спутником Анатолия Васильевича был Лебедев-Полянский. Его рассказ достаточно красноречив: «Грязь и пылица в вагонах были невообразимые. Были даны какие-то подозрительные грязные мешки с сеном. Многие, большинство не хотело на них спать и сбрасывало их с лавок; действительно их противно было взять в руки. Смотрим, тов. Луначарский тащит два мешка, любовно укладывает их, стоя белый от пыли, как мельник.

Принесли в больших медных ведрах — позеленевших, просаленных, грязных — на обед какую-то баланду вроде тюремной, — все отвернулись, поморщив носы; Луначарский берет ложку и, похваливая, ест всем на удивление». Нужно было подбодрить товарищей, поддержать на трудном переходе...

В мае 1917 года «путешественники» увидели русский пограничный шлагбаум...

V. „К оружию, граждане! Составляйте свои батальоны!..“

Петроград бурлил. У Казанского собора, в садах и парках, у Биржи то и дело вспыхивали стихийные митинги. Выступали все — большевики, кадеты, эсеры, меньшевики.

Людей опьяняло высокое и звонкое слово «Свобода». Весь город являл собой огромную волнующуюся сходку, где одним аплодировали, других освистывали, третьих засыпали вопросами. Это было, как говорил Луначарский, «золотое время митингов».

С красными бантами в петлицах по Невскому прогуливались нарядно одетые буржуа. С транспарантами проходили колонны солдат. Гремела «Марсельеза».

К оружию, граждане,
Составляйте свои батальоны,
Вперед, вперед, пусть нечистая кровь
Зальет ваши поля...

Бывшие жандармы испуганно брали под козырек.

«Все смешалось в доме Облонских!»

В неопубликованном письме к жене, А. А. Луначарской, оставшейся с сыном Анатолием в Швейцарии, через шесть дней после приезда он спешит поделиться впечатлениями: «Жизнь тут колоссальная во всем, трагическая и значительная».

Как только отбурлил майский съезд Советов, Луначарский был выдвинут межрайонной организацией кандидатом в городскую думу. Список межрайонцев и ленинцев в думу был общий: политических разногласий между ними не было. Только некоторые тактические соображения еще препятствовали слиянию организаций. По свидетельству Луначарского, ЦК «авторитетно руководил обеими организациями в равной степени». («Межрайонцы», в группу которых входил тогда Луначарский, или «Межрайонная организация объединенных социал-демократов», организационно оформилась в Петербурге еще в 1913 году. В июле 1917 года VI съезд РСДРП(б) принял ее в большевистскую партию.)

Нельзя было упустить легальные возможности думы для борьбы с эсерами, кадетами, меньшевиками. Луначарский работал здесь бок о бок с Калининым, Аксельродом, Нахимсоном и другими товарищами. «Идеологически наша группа была сильнее всех. Ее выступления всюду встречались с большой симпатией. Рабочие и солдаты были главными избирателями», — писал Луначарский в работе «Идеология накануне Октября». Но большой вес имели и эсеры, за которыми шла вся обывательская масса.

Не успел Анатолий Васильевич толком оглядеться, как оказался товарищем городского головы, председателем культурно-просветительной фракции Петроградской городской думы, руководителем всей культурно-просветительской работы в городе.

Пришлось срочно и неотложно решать множество дел. «Это мое детище», — пишет он о первой конференции пролетарских просветительских обществ.

В городе плохо с продовольствием. В другой его записке говорится: «Порой трудно представить, как трудно ребятам заводских окраин. Я председательствую в комиссии, которая хочет улучшить их питание. Сделано много, но и это — капля в море необходимого».

И конечно, давняя его любовь — театр. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина приобрела письмо Луначарского (сейчас оно хранится в отделе рукописей библиотеки) от 14 сентября 1917 года председателю Исполнительного комитета Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов. Луначарский просит отдать особняк

Кронштадтского морского собрания популярным у зрителя театральным труппам Петрограда. «Таким образом, Кронштадт встанет во главе не только революционного Петрограда, но и его творческого пролетариата, вызывающего к жизни все новые очаги духовного роста и обновления».

Много времени отнимают дебаты в думе. Здесь он работает с Яковом Михайловичем Свердловым, координирующим работу думской партийной группы.

Во время одного из перерывов в заседаниях Луначарский пошел в кафе перекусить. Вместе с ним отправился незнакомец. Представил его Анатолию Васильевичу и товарищам Свердлов, но фамилии Луначарский не расслышал. Он с интересом рассматривал небольшого роста человека с орлиным профилем, ясными живыми глазами. У Луначарского вырвалось:

— Я очень рад, что вижу вас в группе. Мне кажется, что вы как нельзя лучше приспособлены ко всем перипетиям борьбы, которая предстоит нам вообще и в думе в частности.

— Я тоже рад знакомству. Фамилия моя Володарский. По происхождению и образу жизни — рабочий из Америки. Агитацией занимаюсь давно. Так что будем работать вместе...

Знакомство перешло в дружбу, хотя Володарский довольно скоро отошел от думской работы.

Как-то еще в первые дни Февральской революции за утренним кофе в маленькой кухне встречаются Луначарский и Лебедев-Полянский.

Анатолий Васильевич молчит. И вдруг таинственно заявляет:

— Знаете, а ведь Милюков может не удержаться. Если Петроградский Совет окажется силен, дело может повернуться в нашу сторону. Рабочий класс заговорит по-иному.

— Что же, вы думаете, что пролетариат возьмет власть в свои руки и сумеет ее удержать и организовать? — заметил Полянский.

— А вы что думаете? Конечно. Еще как все выйдет! Ленин будет премьер-министром... Я — министром народного просвещения.

Временное правительство не раз ставило вопрос об аресте Луначарского. Особенно остро сложилось положение в июльские дни, когда он с балкона штаба большевиков — дворца Кшесинской приветствовал вместе со Свердловым манифестации рабочих. «Министр народного просвещения» и его собеседник оказались соседями по камерам знаменитых «Крестов».

При встрече на прогулке в «Крестах» Полянский не без ехидства иронизировал:

— Ну как, Анатолий Васильевич, дела в нашем министерстве?

— Как видите, читаю «Философию в систематическом изложении». А впрочем, еще посмотрим.

Примерно через месяц обоих вызывает начальник тюрьмы в контору.

Рассказывает, как он водил-этапы по Сибири, как помогал политическим, какое участие принимал в Февральской революции. Для убедительности скрепляет все крепким русским словечком.

— Сейчас вот вы в «Крестах», а скоро вам, пожалуй, быть министрами.

Так, без дела, проговорили более получаса. Возвратились в камеры.

— Наши шансы, значит, поднимаются. Заискивает тюремная крыса. Пойдем в гору, — резюмирует Луначарский.

— Прямо в министерство просвещения?

— Да, теперь это будет возможно. Вот увидите... Пророчество — из тех, что оправдываются. Хотя и не сразу.

Захлопнулись за спиной двери «Крестов». Луначарский вышел на свободу.

...Город потрясла весть о корниловском мятеже.

Глухо шумел Петербург, мгновенно разделившийся на три лагеря. Крайнюю реакцию, всеми силами расчищающую путь Корнилову в столицу, возглавил Милюков. Метался Керенский со своим правительством, смертельно перепуганный «недобропорядочным поведением» «им же воспитанного кандидата в диктаторы» (Луначарский). Организовать действенный отпор мятежному генералу смог лишь большевистский штаб обороны во главе с Дзержинским.

«Думские эсеры и меньшевики были в панике, — рассказывает Луначарский в работе «Идеология накануне Октября». — Они смотрели теперь... на нас, как на опору и спасителей».

В письмах к жене нарастает тревога: «Кто знает, не будет ли скоро смертельная опасность грозить моему дорогому, чудному революционному Петрограду? Что-то будет? Сердце сжимается. ...Одно скажу — я до конца останусь с рабочими Петрограда и разделю с ними во всяком случае всю горечь до дна».

Вместе с Дзержинским Луначарский работает в большевистском комитете обороны Петрограда. Написанные Луначарским листовки самолеты разбрасывают среди корниловских частей.

Луначарского видят всюду — на фабриках и заводах, почти ежедневно на массовых митингах в цирке «Модерн», в Кронштадтском арсенале.

«Теперь моя нормальная аудитория — 4000 человек, — сообщает он А. А. Луначарской. — Мне страшно хочется быть в постоянном контакте с

массами». В автобиографии 1926 года он вспоминает об этом периоде: «Никогда ни до, ни после не приходилось мне жить такой кипучей жизнью. Откуда только брались силы?»

«Модерн» стал своего рода его «резиденцией». По словам Анатолия Васильевича, аудиторию составляли процентов двадцать рабочих, процентов пятьдесят солдат, городская беднота и интеллигенция.

Луначарский расширил свой первоначальный план выступлений. Преобладали, конечно, митинги чисто политического свойства, но был прочитан и своеобразный цикл лекций «Великие демократические коммуны» — о коммунах древней Греции, Афин, Италии конца средних веков, флорентийских свободолюбцах, коммунах Фландрии и Голландии и, конечно же, о Парижской коммуне.

На Петроград шел Корнилов, но часам к семи вечера «Модерн» был всегда переполнен. Начинал Луначарский, как всегда, с информации о положении на фронте. Аудитория жадно ловила каждое слово. С «безумным ликованием, — вспоминал он, — принимала к концу корниловщины эта масса известие о... разложении войск контрреволюции».

Один из митингов особенно запомнился Луначарскому. Внезапно погас свет. Горела только тусклая керосиновая лампочка у трибуны да вспыхивали в темноте звездочками огоньки папирос. Никто и не думал расходиться. Луначарский выступал вместе с Володарским. Они бросали слова в эту темноту, а «слушатели же видели только с одной стороны освещенную фигуру оратора и его терявшуюся в полутьме жестикуляцию». Стояла такая тишина, словно в зале никого не было.

Когда Луначарский выходил из цирка, он слышал:

— Это уже не митинг, а священнодействие какое-то!

Интересно одно полностью еще не опубликованное письмо, где Анатолий Васильевич рассказывает А. А. Луначарской, как в течение часа-полутора он с друзьями обратил рабочих завода «Вулкан» из «меньшевистско-оборонческой веры» в большевистскую. «Страшную остроту митингам, — писал он позднее, — придавала их необычайная активность, ибо агитация велась здесь прямо и деловым образом, в смысле подготовки новой революции».

В ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

...Из миллионов впустую протекших часов только один становится подлинно историческим — звездным часом человечества., и тогда — как на острие громоотвода скопляется все атмосферное электричество — кратчайший отрезок времени вмещает огромное множество событий. То, что обычно протекает размеренно... сжимается в это единственное мгновение, которое... направляет жизнь отдельных людей, целого народа или даже всего человечества.

Стефан Цвейг

Цвейг писал, имея в виду великие открытия, озарения художественного и политического гения.

Люди всегда завидуют тем, кто был современником и участником «звездных дней человечества».

Луначарскому выпало счастье быть солдатом Октября — величайшего звездного часа, определившего судьбу многих и многих поколений. И не рядовым солдатом.

I. „Семь дней, в которые создан мир“

Кажется, в такие минуты мозг все делает автоматически. Но это только кажется.

Так в науке годы и годы экспериментов, опытов, поисков, надежд, раздумий, как в фокусе рефлектора, скрещиваются в тысячные доли секунды и дают долгожданный «взрыв».

Ожидаемый, желанный, могучий, ибо он сконцентрировал идеи, судьбы, раздумья долгого и тяжелого пути...

Тревожно, взмятенно, героически жил Смольный в великую ночь. Разгоряченные лица. Хлопают двери. Люди выходят с директивами и мандатами.

Восстание началось. В ночь на 23 октября застучали сапоги Красной гвардии по чугунным плитам громадных коридоров Смольного, где помещались Петербургский Совет и Центральный Исполнительный Комитет Советов. Входили батальоны Красной гвардии, чтобы взять под

свою охрану Смольный. За батальонами тащили ящики патронов, винтовок, пулеметов, выданных Красной гвардии по приказу Военно-революционного комитета.

В Смольный приходили вызванные уполномоченные различных заводов и учреждений для получения приказов, указаний, распоряжений. Петербург разбит на секторы восстания. В ночь на 25 октября (7 ноября) полки и Красная гвардия заняли все вокзалы. Войска начали смыкать кольцо около Зимнего дворца.

Так очерчивает начальный круг событий Н. Подвойский.

«Когда мы подошли к Смольному, — записывал вечером Рид, — его массивный фасад сверкал огнями. Со всех улиц к нему подходили новые и новые люди, торопившиеся сквозь мрак и тьму. Подъезжали и отъезжали автомобили и мотоциклы. Огромный серый броневик, над башенкой которого развевались два красных флага, завывая сиреной, выполз из ворот. Было холодно, и красногвардейцы, охранявшие вход, грелись у костра. У внутренних ворот тоже горел костер, при свете которого часовые медленно прочли наши пропуска и оглядели нас с ног до головы. По обеим сторонам входа стояли пулеметы со снятыми чехлами, и с их казенных частей, извиваясь, как змеи, свисали патронные ленты. Во дворе, под деревьями сада, стояло много броневиков; их моторы были заведены и работали. Огромные и пустые, плохо освещенные залы гудели от топота тяжелых сапог, криков и говора... Настроение было решительное. Все лестницы были залиты толпой: тут были рабочие в черных блузах и черных меховых шапках, многие с винтовками через плечо, солдаты в грубых шинелях грязного цвета и в серых меховых папах».

Исторические поручения и назначения в Смольном тут же диктуются на трещащих без умолку машинках, подписываются карандашом на коленях, и человек, облеченный невиданными ранее полномочиями, торопится в ночь.

«Я не могу без изумления вспомнить эту ошеломляющую работу, — рассказывал Луначарский, — и считаю деятельность Военно-революционного комитета в октябрьские дни одним из проявлений человеческой энергии, доказывающим, какие неисчерпаемые запасы ее имеются в революционном сердце и на что способно оно, когда его призывает громовый голос революции».

Назначение Совета народных комиссаров «совершалось в какой-то комнатухе Смольного, где стулья были забросаны пальто и шапками и где все теснилось вокруг плохо освещенного стола. Мы выбирали руководителей обновленной России».

Он идет вместе с Ильичем коридорами Смольного.

Тулупы, бескозырки, папахи...

— Владимир Ильич, вас ждут в зале...

Ленин хитровато улыбается, подмигивает и, смешавшись с разноязычной и пестрой толпой, уходит...

Все нужно было начинать с азов. Даже подбор кадров для технического аппарата Смольного.

Участник Октября Б. Коротков приводит любопытное свидетельство о встрече в те дни с Луначарским.

Шел октябрь 1917 года — холодный, туманный, слякотный. Коротков работал рассыльным в редакции. Сильно уставал, ночевал тут же, в редакции, на диване для посетителей, просыпался продрогший до костей и бежал в контору топить печку. С этого и начиналась его служба. Часам к десяти собирались сотрудники, он разносил пакеты по городу и, выполнив множество заданий, снова возвращался к своей печке.

Работа в конторе проходила довольно беспорядочно. На улице проносились грузовики. Тесно прижавшись друг к другу, в них сидели люди в серых солдатских шинелях. Коротков с вниманием и немного с завистью посматривал на винтовки и пулеметы.

Сотрудники наперебой рассказывали новости. Дрова давно прогорели. Коротков сидел не шевелясь у остывшей печи.

Никто не заметил, как в комнату вошел Луначарский.

Люди даже вздрогнули, когда неожиданно услышали его голос.

— Товарищи, — сказал Луначарский, — кто желает перейти на работу в Смольный, в экспедицию газеты «Рабочий и солдат»? Предупреждаю, работа не/ из легких и небезопасная.

Со всех сторон поднялись руки.

— Нет, это много.

Луначарский отобрал шестерых, в том числе и Короткова.

«Сердце у меня екнуло, — рассказывает Коротков. — В Смольный. Там, быть может, я увижу Ленина. Пусть любая работа, лишь бы взяли! Одеться мне было недолго — шапка да ватник. Через несколько минут я уже быстро шагал по улице, не обходя луж, в худых ботинках, полных воды».

В воротах Смольного их задержали матросы. Луначарский предъявил пропуск, сказав, что все шестеро идут с ним;

На лестнице было тихо, и шаги вошедших отдавались под порталом...

Вечером 26 октября (8 ноября) на заседании II Всероссийского съезда Советов выступил Ленин.

«Он стоял, — рассказывает Джон Рид, — держась за край трибуны, обводя прищуренными глазами делегатов, не замечая лавины оваций.

Когда она стихла, он коротко и просто сказал:

— Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка...»

И гремят потрясающие самые далекие континенты манифесты и декларации.

Гремят, как торжественная мелодия «Интернационала», как ликующая в громе литавр медь «Марсельезы».

Возбужденные расходятся люди. Луначарского знакомят с американским корреспондентом Джоном Ридом.

— Я слышал о вас, — Анатолий Васильевич улыбается.

— Я тоже.

— Наверное, трудно сейчас?!

— Всем трудно.

— А как с искусством?..

— Об этом потом... Только то, что вы видите, — история!

— Потому я и здесь...

Тогда еще многие и многие люди в мире не могли даже приблизительно предсказать, что нес земле тот октябрьский рассвет, поднявшийся над вздыбленным холодным Петроградом.

Непостижимо, как он успевал всюду. 17 декабря «Правда» извещала, например, о его четырех докладах.

Это был необычный день. 17 декабря «Правда» писала: «Сегодня рабочие, солдаты и крестьяне, все честные граждане демонстрируют по улицам Петрограда за мир и братство народов. Буржуазия пытается обмануть население Петрограда и сорвать манифестацию трудовых масс. Попытки ее обречены на жалкий и постыдный провал. Все на улицу! Против бойни народов, против буржуазного грабительства, против предательской и бесчестной печати, против саботажников — лакеев капитала!

Да здравствует международный пролетариат!

Да здравствует Третий Интернационал!

Да здравствует Международная Революция!»

Подробный отчет о событиях мы находим в письме Анатолия Васильевича А. А. Луначарской, написанном на другой день — 18 декабря:

«Вчерашний день принадлежал к числу счастливейших.

Демонстрация наша была решена всего за день, а многие из нас боялись, что не по отсутствию симпатии к нашему правительству, а по

недостатку времени для организации пролетариат не сумеет откликнуться достаточно эффективно, трудно было ему изготовить вовремя и плакаты с теми лозунгами, которые рекомендовала «Правда».

Но наш чудесный рабочий класс и его друг — революционный гарнизон превзошли себя. В демонстрации приняло участие не менее полумиллиона людей! Я лично два с половиной часа пропускал полки и заводы у могилы жертв Февральской революции и не дождался конца человеческой реке. Кто-то насчитал, что знамен и транспарантов было 4870.

Какое настроение, какая мощь! Камо плакал.

И в этот раз среди других ехали верхами с пиками два донских казачьих полка со знаменем — «Долой Каледина, Дон — трудовому казачеству. Да здравствуют Народные Комиссары!».

Жалко только, что комиссаров было лишь два — Шлихтер да я.

Вечером я с большим успехом говорил на громадном митинге рабочей молодежи, а потом в Зале Армии и Флота читал большую лекцию: «Роль интеллигенции в обществе».

Народу собралось видимо-невидимо, и первый раз в Петрограде почти сплошь интеллигенция. И заметь» ведь вчера не ходили по нашему распоряжению трамваи!..

Сегодня пришли сказать мне, что Ал. Блок, Мейерхольд, Петров-Водкин и Рюрик Ивнев устраивают митинг на тему: «Народные комиссары — представители подлинных масс. Интеллигенция, возвращайся на службу народу!» Все это очень недурно».

II. Когда сдвигаются древние пласты... У начала начал

Люди ожесточились. Все рушилось: привычный быт, семьи, философии и теории. Казалось, кто-то могучей рукой вздернул на дыбы Россию.

Холодом веяло в пустых заводских цехах. Не ходили поезда. По всей стране полыхали зарева боев, мятежей, сражений.

Голод и казавшиеся фантастическими декреты, разруха и манифесты, говорившие о человеческом счастье, кровь и планы электрификации нищей страны, холод и массовые театральные представления на площадях.

Обыватель испуганно запирает на засовы дверь. Растерянно оглядывался Бунин, все чаще приходивший к мысли покинуть родину.

Многих тогда потрясло «отступничество» Кони.

Еще бы! Почетный академик, сенатор, действительный тайный советник, член Государственного совета, кавалер почти всех высших орденов империи, «его высокопревосходительство» пошел «на службу к

большевикам»!

«Старческий маразм!» — говорили об этом в бывших салонах. Да, Анатолию Федоровичу было семьдесят пять лет. Но никогда еще он не чувствовал себя таким молодым, как в те минуты, когда набрасывал строки своего знаменитого письма Луначарскому.

«Ваши цели колоссальны, — писал он, — Ваши идеи кажутся мне настолько широкими, что мне, большому оппортунисту, который соразмерял шаги соответственно духу медлительной эпохи, в которую я жил, все это кажется гигантским, головокружительным. Но если власть будет прочной, если она будет полна внимания к народным нуждам... что же, я верил и верю в Россию, я верил и верю в гиганта, который был отравлен, опоен, обобран и спал. Я всегда предвидел, что, когда народ возьмет власть в свои руки, это будет совсем в неожиданных формах, совсем не так, как думали мы, прокуроры и адвокаты народа. Так оно и вышло».

Но таких, как Кони, было тогда не так уж много. И далеко не каждый из «столпов российской интеллигенции» мог, завершая свой путь после 1917 года, сказать так, как Кони в письме Елизавете Александровне Садовой: «Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть... Я любил свой народ, свою страну, служил им, как мог и умел. Я не боюсь смерти. Я много боролся за свой народ, за то, что верил».

Не всем давалась легко величайшая «переоценка ценностей», которая проходила во всех слоях русской интеллигенции.

Трагически воспринимает события Куприн. После Октября он делает почти что непоправимый шаг — уезжает за границу. Уезжает, чтобы написать оттуда строки, полные безысходной горечи: «Сейчас мои дела рогожные. Ах, если бы Вы знали, какой это тяжелый труд, какое унижение, какая горечь писать ради насущного хлеба, ради пары штанов, пачки папирос... Правда, иногда ласковый привет читателя умилит, обрадует, поддержит морально, да без него и страшно было бы жить, думая, что вот возвел ты многоэтажную постройку, работу всей жизни, — а она никому не нужна. И плохой советчик в одинокие минуты бедность».

Он еще вернется на Родину. Разбитым и больным. Вернется, чтобы сказать всем: для истинно русского художника вне России нет места под солнцем.

Пришел в Смольный и предложил свое сердце и руки революции Маяковский.

В опустевших банках ветер лениво шевелил вороха бумаг. За шторами особняков составлялись планы заговоров. ЧК публиковала списки

расстрелянных за саботаж и контрреволюцию.

Революция делала свои первые шаги. «Все, кого Революция Труда низвергла, — писал Луначарский, — шипели и готовили месть. Все, кто слабодушен, связан привычкой, комфортом, устал, — отдали свое сочувствие под разными соусами контрреволюции и ее желанному «порядку».

Ожесточенная борьба шла в литературе и искусстве.

Растерянные, озлобленные, вчерашние «властители дум» пророчили скорую гибель культуре. Всероссийский союз писателей, выражавший настроения оппозиционной буржуазной интеллигенции, в открытом письме к Луначарскому мрачно констатировал: «Русская литература перестает существовать. Из явления мирового значения она превратилась в явление комнатного обихода».

Душевное состояние Сологуба точно подметил в «Портретах русских поэтов» Илья Эренбург: «На лице Сологуба всегда тщательно закрыты ставни, напрасно любопытные прохожие жаждут заглянуть — что там внутри. Есть особнячки такие — окна занавешены, двери заперты... Только смутно чует сердце что-то недоброе в этой мирной тишине».

На Невском и Морской в Петрограде, на Тверской и в Зарядье за зашторенными окнами растерявшиеся люди записывали в дневники: «Прошло больше года, и чего мы добились? Россия в клетке, Россия прокаженная. Голод. Неустройство. Террор. Город силой отнимает у деревни хлеб, сало, картошку».

18 ноября 1917 года в театрах и мастерских, студиях и квартирах изучалось скромное газетное объявление: «Просим всех товарищей художников, музыкантов, литераторов и артистов, желающих работать по сближению широких народных масс с искусством во всех его проявлениях, а также товарищей членов союзов пролетарских художников и писателей — явиться 18-го с. м. в Зимний дворец — канцелярию комиссара по народному просвещению».

Идти или не идти? Было над чем задуматься. Все было совсем не просто.

Для того чтобы встать на сторону революции, нужно было иметь немалое гражданское мужество. Тех, кто отдал свой талант Октябрю, кто «сотрудничал с Советами», буржуазная интеллигенция объявляла предателями.

Яростно встречается «отступничество» В. Брюсова. Горько замечает он в своей автобиографии: «После Октябрьской революции я еще в конце 1917 г. начал работать с советским правительством, что повлекло на меня...

гонение со стороны моих прежних сотоварищей (исключения из членов литературных обществ и т. п.)». «В 1919 году в Киеве, где я тогда жила, — рассказывает Н. А. Луначарская-Розенель, — стало известно, что Брюсов работает с большевиками, что он вступил в партию. Эта новость была, как бомба, брошенная в стан реакционно настроенной интеллигенции... Клеветали и злобствовали, понимая, как значителен этот шаг. Рафинированный интеллигент, эстет, «метр», человек, завоевавший в совсем молодые годы признание и авторитет... Что делать такому человеку среди большевиков? Брюсов — центр интеллектуальной и художественной жизни Москвы, быть может, России, ученый, исследователь — вдруг делается, страшно сказать, сотрудником Наркомпроса. Невероятно!»

Серафимовича исключают из литературного общества «Среда» за то, что он взял на себя ведение литературно-художественного отдела в газете «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов».

В мае 1918 года Блок писал З. Гиппиус: «...Нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное...

Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало...»

Блок размышляет о будущем Родины.

«Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память России», слышу я вокруг себя...» — писал Блок в январе 1918 года. — Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слышать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух...».

Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым: чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.

Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывающие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, это называется революцией.

Стыдно сейчас ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон...

Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Но таких, как Маяковский, Брюсов и Блок, было вначале не так уж много.

Октябрь резко размежевал деятелей культуры. Часть художников и писателей, либо не понявших революции, либо прочными корнями связанных со старым миром, покинули Россию. Часть — ушли во

«внутреннюю эмиграцию», которая нередко оборачивалась злобными выступлениями в клубах, кафе, на страницах печати. Да иначе и не могло быть.

«Когда гибнет старое общество, — говорил Ленин 4 июня 1918 года, — труп его нельзя заколотить в гроб и положить в могилу. Он разлагается в нашей среде, этот труп гниет и заражает нас самих.

Иначе на свете не было ни одной великой революции и не может быть. Именно то, с чем мы должны бороться за сохранение и развитие ростков нового в атмосфере, пропитанной миазмами разлагающегося трупа, та литературная и политическая обстановка, та игра политических партий, которые, от кадетов до меньшевиков, этими миазмами разлагающегося трупа пропитаны, все это они собираются бросать нам как палки под колеса. Иначе социалистическую революцию никогда родить нельзя...»

Сложность положения на литературном фронте складывалась не только из открытой или затаенной вражды. Многие честные писатели не сразу разобрались в смысле происходящих событий.

Часть интеллигенции хотела просто переждать-время, скрыться от бурь революции в мирке камерного искусства, выждать, осмотреться, как Шевырев из повести Алексея Толстого «Милосердия!»: «Пусть там, за стенами театра, настойчивые и свирепые молодые люди совершают государственные перевороты, пусть сдвигаются, как пермские древние пласты, классы, пусть извергаются страсти сокрушительной лавой, пусть завтра будет конец или начало нового мира, здесь за эти четыре часа итальянского обмана бедное сердце человеческое, могущее вместить волнения и мук не больше, чем отпущено ему, погрузится в туман забвения, отдохнет, отогреется».

Интеллигенты включались в строительство молодой советской культуры.

Скоро в литературе заявит о себе отряд писателей нового склада, опаленный огнем революции и ее битв, — М. Шолохов и Л. Леонов, К. Федин и А. Малышкин, Вс. Иванов и Н. Островский, А. Фадеев, А. Гайдар и Н. Тихонов. Десятки в недалеком будущем известных писателей сражались на фронтах гражданской войны.

Луначарский видел и свет и тень этих дней: «...В жизни России произошел такой переворот, какого не произошло ни в одной стране. Как после землетрясения, все выглядит по-новому. Не развалины вокруг, но новая жизнь, вызванная этим не просто стихийным, но человечески осмысленным землетрясением, буйно прорывается отовсюду. На все приобретает новая точка зрения, все обновлено и вовне и внутри...

Старые художники частью озлобленно отошли от обновленной земли, частью растерянно смотрят на нее и больше замечают не убранные еще руины, чем цветущую новую жизнь. Однако есть и такие среди них, которые сделали усилия над собою и, может быть, без полного внутреннего понимания, но с большой остротой глаза и карандаша зарисовывают сперва дикие для них, а потом все более и более увлекательные формы новой жизни. С другой стороны, из взрыхленной земли выходят и выходят десятками и сотнями новые писатели.

Куда только не бросала их жизнь, чего только они не пережили! В одну неделю испытали они больше, чем иной крупный писатель за всю свою жизнь в прошлые годы. Все ужасы империалистической, всю многосложность, всю горькую героическую симфонию войны гражданской и одновременно с этим скорбные, потрясающие картины напряжения нашего тыла — для того, чтобы не сдать завоеваний революции во много крат сильнейшему врагу. Почти всякого из них жизнь метала с севера на юг, с востока на запад, красноармейцами ли, советским ли служащим или перекати-полем, носимым вихрями взбудораженной атмосферы».

Да, нелегко было многим разобраться в хаосе происходящего.

Трудно и Луначарскому. Только несколько дней прошло с заседания, когда составлялся первый советский Совнарком. Анатолию Васильевичу сказали, что ЦК партии, подбирая состав правительства, поручает ему Народный комиссариат просвещения. Даже посоветоваться в подробностях с Ильичей было нельзя — занят.

Сегодня они столкнулись лицом к лицу в коридоре Смольного. Ленин был озабочен и серьезен:

— Надо мне вам сказать два слова, Анатолий Васильевич. Ну, давать вам всякого рода инструкции по части ваших новых обязанностей я сейчас не имею времени, да и не могу сказать, чтобы у меня была какая-нибудь совершенно продуманная система мыслей относительно первых шагов революции в просветенском деле. Ясно, что очень многое придется совсем перевернуть, перекроить, пустить по новым путям. Я думаю, вам обязательно нужно серьезно переговорить с Надеждой Константиновной. Она будет вам помогать. Она много думала над этими вопросами и, мне кажется, наметила правильную линию... Что касается высшей школы, то здесь должен большую помощь оказать Михаил Николаевич Покровский. Но со всеми реформами нужно быть, по-моему, очень осторожным. Дело крайне сложное. Ясно одно: всемерно надо позаботиться о расширении доступа в высшие учебные заведения широким массам, прежде всего, пролетарской молодежи... Значит, цель есть. Но с чего начать?

Вряд ли кто-нибудь ему смог бы на это ответить. Но когда в поздние ночные часы он закрывал глаза, перед ним калейдоскопом киноленты проходили темные петербургские подъезды и чердаки, набитые беспризорниками, презрительно-снисходительная ухмылка бывшего кавалера «Святой Анны», с вежливой улыбкой светского человека саботирующего все и вся в Министерстве просвещения, шепот растерянных актеров в не-топленном зале Александринки, благородное негодование седовласого старца, решившего, что на Землю снизошли новые орды Тимура лишь на том основании, что его многолетний труд о бабочках до сих пор лежал ненабранный в типографии академии.

Всплывали и другие видения в мятущемся, воспаленном мозгу: хмурое, ожесточенное лицо Бориса Савинкова, старого знакомого по далекой ссылке, недоумевающие, цыгански-озорные глаза Куприна...

Иных уж нет, а те далече...

Мятущаяся, ищущая, раздираемая противоречиями русская интеллигенция...

Надо сохранить лучших, талантливейших. Сохранить сокровища культуры.

Кстати, картины... Они мерзнут в холодных залах бывших дворцов, бесхозные и брошенные.

Холод... Его пробирал озноб, когда он вспоминал нетопленные классы бывшей гимназии на Сретенке. Учительница куталась в платок, а слова ее словно застывали в воздухе звенящими льдышками...

А Россия, как всегда щедрая на таланты, несмотря ни на что, словно не было ни разрухи, ни холода, ни потухших топок заводов, как безбрежный океан, выносила на берег Петрограда и Москвы будущих Ломоносовых, Пушкиных, Сеченовых, Менделеевых. Им нельзя было дать потонуть в бешеном водовороте событий, в мелькании многоязычной толпы. Им нужно учителей, бумагу, лаборатории, халаты, кисти.

И все эти сотни судеб, характеров, событий так или иначе связывались с работой людей, которыми ему поручено было партией руководить и которые, в свою очередь, ждали от него ответа на тысячи вопросов. Решить их, казалось, можно было бы лишь с помощью волшебства.

От одного перечня обязанностей у первого наркома просвещения голова могла пойти кругом: в его ведении находились вопросы ликвидации неграмотности, дошкольного воспитания, строительства новой трудовой школы, профессионального образования, социального воспитания, высшего образования, вопросы политического просвещения, пропаганда идей революционного марксизма, борьба с буржуазной идеологией,

книгопечатание, все отрасли искусства и литературы.

Даже хотя бы приблизительно охватить все это казалось невозможным. Это — если одному. Но он был не один.

Заместителем Луначарского работал известный историк М. Н. Покровский. Государственное издательство возглавлял В. В. Боровский. Нарком всегда чувствовал поддержку Н. К. Крупской. Многие проблемы культуры решались им совместно с В. Д. Бонч-Бруевичем. Верными товарищами были те, кто составил Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмотности (ВЧК ликбеза), созданную в июле 1920 года при Народном комиссариате просвещения, — Л. Р. Менжинская, Н. А. Подвойская и другие. На работу в народное образование пришли известные литературоведы и учителя — П. Н. Сакулин, П. С. Коган, Н. Л. Бродский, В. В. Голубков, М. А. Рыбников, К. П. Спасская. Деятельность наркома просвещения была частью общей большой работы по культурному преобразованию России, работы, возглавляемой и проводимой партией во главе с Лениным.

Как-то Горький писал об Ильиче: «Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное аскетическое подвижничество честного русского интеллигент-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей».

И когда мы пишем о подвижничестве Луначарского, мы думаем о подвижничестве всей плеяды революционеров-ленинцев, и прежде всего о высоком гражданском подвиге Владимира Ильича.

Не было такого уголка культурной жизни, куда бы не доходили слово Ленина, его совет, его товарищеская помощь. И если столь многое так блистательно удавалось Луначарскому, если он правильно ориентировался в сложнейших ситуациях, которые ставила сложная и бурная жизнь, то этому обстоятельству он обязан Ленину и той славной плеяде его соратников, которые работали бок о бок с ним. Киров и Менжинский, Крупская и Бонч-Бруевич, Дзержинский и Боровский — сколько сделали они для культурного строительства в те грозные годы! Мы не говорим уже об огромной армии рядовых культурного фронта, самоотверженных коммунистах, проводивших работу на местах. Деятельность Луначарского опиралась на могучую поддержку этих людей, ориентировалась и направлялась партией.

III. Его дни и ночи. „Первые шаги Наркомпроса“

Город словно подменили в эти четыре дня.

Еще недавно шумные, сверкающие огнями огромных люстр особняки словно затаились в туманном мареве, сумрачно поглядывая холодными окнами на темнеющие в сумерках рабочие патрули.

Резкий октябрьский ветер бросал снежную крупу в намокшие листы манифеста, расклеенного утром на стенах домов:

«Граждане России!

Восстанием 25 октября трудящиеся массы впервые достигли подлинной власти...

Волею революционного народа я назначен народным комиссаром по просвещению.

Дело общего руководства народным просвещением, поскольку таковое остается за центральной государственной властью, поручается впредь до Учредительного собрания государственной комиссии по народному просвещению, председателем и исполнителем которой является народный комиссар....

...Государственная комиссия приветствует педагогов на арене светлого и почетного труда просвещения народа — хозяина страны...

Первейшей задачей своей комиссия считает улучшение положения учителей, и прежде всего самых обездоленных, едва ли не самых важных работников культурного дела — народных учителей начальных школ. Их справедливые требования должны быть удовлетворены немедленно...

Залог спасения страны — в сотрудничестве живых и подлинных демократических сил ее.

Мы верим, что дружные усилия трудового народа и честной просвещенной интеллигенции выведут страну из мучительного кризиса и поведут ее через законченное народовластие к царству социализма и братства народов.

Народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский.

Петроград, 29 октября 1917 г.»

Манифест читали, и манифест саботировали. Впрочем, как и другие манифесты. Вместе с товарищами из Смольного ходил из министерства в министерство Джон Рид, наблюдая, собственно, одно и то же.

Вороха разбросанных на полу бумаг встретили их в министерстве труда. Стояла жестокая стужа, но никто не хотел затопить печи. Сотни служащих шатались по коридорам и кабинетам, делая вид, что не замечают прибывших. На вопрос — где кабинет министра? — с презрительной улыбкой пожимали плечами.

Революционного комиссара социального обеспечения Александру Коллонтай в ее «епархии» встретили забастовкой. В приютах и

благотворительных домах тщетно ждали денег и продуктов. Сорок служащих, явившихся на работу, усердно спутывали отчетность:

— Пусть комиссары разберутся! Они умные!..

Здание министерства осаждали делегации голодающих калек и сирот с истощенными лицами. Кивая в сторону Коллонтай, чиновники с ледяной вежливостью советовали:

— У новых хозяев спросите...

«Расстроенная до слез Коллонтай, — записал Рид, — велела арестовать забастовщиков и не выпустила их, пока они не отдали ключей от учреждения и сейфа. Но когда она получила эти ключи, то выяснилось, что ее предшественница, графиня Панина, скрылась со всеми фондами. Графиня отказалась сдавать их кому бы то ни было, кроме Учредительного собрания».

То же самое творилось в министерстве земледелия, в министерстве продовольствия, в министерстве финансов, Чиновники, которым было приказано выйти на работу под страхом лишения места и права на пенсию, продолжали бастовать.

Луначарский все это знал, потому и не ожидал ничего хорошего, вступая «во владения свои» с товарищами, которых он предполагал назначить заведующими отделами министерства. Действительность подтвердила самые худшие ожидания.

«Мы, — рассказывает он, — нашли там группу низших служащих, которые весьма дружелюбно, даже не без энтузиазма, приветствовали нас, а в основном — полную пустоту. Явился какой-то тип от чиновников министерства, который пытался с нами о чем-то договориться в смысле, насколько помню, предоставления им права работать без нас до Учредительного собрания, которое-де и решит, — принять им нас или нет. Мы, конечно, прогнали этого субъекта. Затем мы остались в пустых комнатах, полных шкапами, и начали устраиваться».

Из Москвы не сообщали ничего обнадеживающего. Некоторые учителя (а их было не так уж мало) в школы не шли, откровенно заявляя:

— Пока не уйдет Советская власть, мы детей учить не будем...

Все приходилось начинать сначала. Очистить школы и министерство от явных врагов. Найти путь к сердцам сочувствующих. «Должна идти, — напоминал нарком сотрудникам Наркомпроса, — дружеская, симпатизирующая пропаганда среди интеллигенции, создание гибких, деликатных, но находящихся под контролем коммунистической партии организаций».

Так пролетел конец октября, почти весь ноябрь. Тяжелыми, но совсем

не безнадежными были для Луначарского эти дни: «Еще почти не было у меня никаких чиновников — одни курьеры да ответственные работники, — но уже закипела жизнь, уже начали восстанавливаться бесчисленные социальные провода, которые должны были соединить рождающийся Наркомпрос со всем просветительным миром в громадной стране».

Но все же нужных людей было еще очень и очень мало. Михаил Кольцов, зашедший к наркому, застал его нервно расхаживающим по кабинету:

— Ну как их убедить, чертей, что мы им не враги! Послушайте, какое сегодня число?

— Девятнадцатое ноября.

— Есть идея! Через пять дней юбилей. Не большой, но все же юбилей — тридцать дней Советской власти. Попробую выступить перед ними. Как думаете, поможет?

— Наверное, поможет... Не со всеми, конечно...

— И я думаю, не со всеми. Но кое-кого на нашу сторону перетянем... Пойдемте вместе, посмотрите...

— С удовольствием, Анатолий Васильевич!..

Не без внутреннего волнения входили они в настороженный, огромный, не топлёный саботажниками зал. Стоял адский холод, и тускло мерцала в полутьме под потолком единственная лампочка. Аудитория явно раскололась на две части. Ближе к наркому сели его товарищи, большевики, пришедшие вместе с ним на работу в Наркомпрос. Одеты они были довольно пестро и явно выделялись среди чопорных, лощеных чиновников, с опаской и недоверием поглядывающих на них. Эти были из тех, что решили не вести саботажа и «пока что» помогать новой власти...

Луначарский начал говорить. Сначала тихо, потом громче и громче. Кольцову все происходящее казалось какой-то картиной из фантастического романа: «Перед этой странной аудиторией, в этом полупризрачном зале народный комиссар Луначарский произносит речь на тему о том, что вот Советская власть держится уже целых тридцать дней... Чего только не мобилизовал Луначарский, чего только не привлек в свою речь!.. Говорил о семи днях, в которые господь создал мир, о сорока днях потопа, о ста днях Наполеона, о семидесяти двух днях Парижской коммуны... Перед зачарованными слушателями развернулись картины, которые им не снились, которые они никогда и не представляли себе. Чиновники впервые в жизни увидели говорящего министра. И как говорящего!

Последние слова нарком произнес под гром аплодисментов:

— Товарищи! Наши враги предсказывали, что мы не сможем продержаться более трех дней... Вы видите: мы держимся уже целый месяц, и я вас заверяю, что если вы придете сюда через три месяца, то мы еще тоже будем держаться!»

Луначарский называл себя «интеллигентом среди большевиков и большевиком среди интеллигентов». В этих несколько шутливых словах он сам, не замечая этого, раскрыл «тайну» своей необыкновенной популярности среди учителей, писателей, художников, артистов. Человек огромной эрудиции и таланта, колоссальных знаний, необыкновенного личного обаяния, он умел «подобрать ключ» почти к каждой душе, вызвать ответную волну доверия, расположить к откровенному и дружескому разговору. Конечно, и эту сторону дела имел в виду Ленин, когда писал: «В комиссариате просвещения есть два — и только два — товарища с заданиями исключительного свойства. Это — нарком, т. Луначарский, осуществляющий общее руководство, и заместитель, т. Покровский, осуществляющий руководство, во-первых, как заместитель наркома, во-вторых, как обязательный советник (и руководитель) по вопросам научным, по вопросам марксизма вообще...» Конечно, этими словами Ильич никак не хотел умалить значение деятельности многих и многих соратников Луначарского, о которых мы уже говорили, но Ленин не мог не отдать должное и самому наркому.

В личном архиве автора этой книги хранятся письма соратника Луначарского В. Д. Бонч-Бруевича. И нельзя не задуматься о нравственных принципах работы ветеранов ленинской гвардии. Казалось бы, порой речь идет о мелочи, но как обстоятельно и по-деловому разбираются в этих письмах все стороны вопроса, какой ободряющей корреспондента заинтересованностью светится каждая строка. Я не говорю уже о делах важного, принципиального характера. Здесь — отвечается немедленно, твердо, разносторонне. И как далеко все это от туманных обещаний иных, забывчивой неаккуратности, еще свойственной многим и многим, неоперативности, душевной лени!

В работе Луначарского и его друзей — черты той же партийной, большевистской интеллигентности, проявляющейся и в большом и малом.

Для Луначарского не было больших и «малых» дел, когда речь шла о приобщении к революционному культурному строительству новых сил, когда решалась судьба человека. Когда нужно было прийти на помощь, ободрить отчаявшегося, помочь советом.

К тому же он всегда вел дела с такими людьми предельно честно и откровенно. Время было трудное, никаких золотых гор он обещать не мог, о

чем публично и заявлял в «Известиях»: «Идите же работать с нами: мы не можем обещать еще никому каких-либо особых благ, но обещаем глубокое внутреннее удовлетворение — это сознание причастности к великому строительству».

У интеллигенции, наслушавшейся на своем веку немало краснобайствующих либералов и доктринеров, такой честный разговор не мог не вызвать уважения.

И люди шли. Все больше и больше...

Разрушить привилегию на знания, сломать чиновничий и бюрократический аппарат старой школы, саботажников, маловеров, разъяснить политику партии широчайшим учительским массам, в том числе тем многим педагогам, которые были воспитаны в традициях старого, дооктябрьского периода, это была лишь малая часть задач. Опубликованное в ноябре 1917 года «Обращение» Луначарского к гражданам России говорило и о необходимости всеобщей ликвидации неграмотности, о введении всеобщего, обязательного и бесплатного обучения.

Но не только учителя — многие учащиеся старших классов бывших гимназий с недоверием встречали новые перемены. Это к ним обращается Луначарский 12 ноября 1917 года. Обращается страстно, убежденно, уверенный, что его слова дойдут к сердцам всех, кто еще не окончательно отравлен ядом сословных буржуазных представлений: «Пусть попробуют ученики старших классов... сблизиться с великолепной молодежью рабочей, давшей в этой революции столько стойких, самоотверженных бойцов. Молодость поможет лучшим из них найти общий язык с юными героями рабочих кварталов.

За рабочим классом будущее, под его знаменами все, что дерзновенно зовет на бой. судьбу, что горит пламенем энтузиазма. Грядет будущее, которое ломит перегородки. Юноши всех классов, бросайте мерзкие привилегии, за которые цепляются ваши отцы, собирайте ваши сокровища в новом царстве, ибо оно у дверей. Вы-то уж наверное увидите его... Глядите жизни прямо в лицо, и вы узнаете, с кем вам надо идти...

Учителям с сухим сердцем, отвечающим «нет» на призыв трудового народа к совместной работе, вы скажете молодым голосом: мы требуем от вас мира и дружбы с восставшим народом».

В марте 1919 года была принята партийная программа с разделом по народному образованию. Раздел этот был написан Владимиром Ильичем. «В области народного просвещения, — говорилось в программе, — РКП ставит своей задачей довести до конца начатое с Октябрьской революции

1917 г. дело превращения школы из орудия классового господства буржуазии в орудие полного уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистического перерождения общества...

...Школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс, в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм».

Так декларировала партия принципы политики Советской власти в области школьного строительства.

Россия садилась за парту. Она не могла не учиться, чтобы удержать завоеванное.

Нельзя забыть эти лица с фотографий тех лет — сосредоточенные лица рабочих, склонившихся над букварем. Губы тихо шепчут:

— Мы — не рабы.

— Рабы — не мы.

Первые прочитанные самостоятельно слова...

Эту картину можно было видеть по всей стране.

...Пожелтевшая страничка из старого блокнота Луначарского. Видимо, цифры для лекции... 76 процентов населения в возрасте от девяти лет и старше, а среди женщин 88 процентов — неграмотно. Средняя Азия и окраина России — почти сплошь неграмотно. Грамотных таджиков — 0,5 процента; киргизов — 0,6; туркменов — 0,7; узбеков — 1,6; казахов — 2 процента. По всей России на 1000 человек населения в городах приходится 61 человек, а в деревнях — всего три человека, имеющих образование выше начального.

Вот оно — наследство царизма...

Начало похода против неграмотности — подписанный Лениным 26 декабря 1919 года, в разгар гражданской войны, декрет Совнаркома «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». «...Борьба с неграмотностью, — писал Ильич, — задача важнее других».

О вещах непостижимых и не возникавших в самом изощренном воображении приходилось думать тогда Луначарскому.

Из чего, например, можно сделать ручку, чернила или тетрадь?

Существует множество промышленных рецептов на этот счет, но выдавшие виды американские инженеры и специалисты только разводили в недоумении руками, когда узнали, что в 1919–1920 годах в селах и городках Казанской и Вятской губерний вместо карандашей употребляли древесный уголь, в Екатеринбургской и Орловской — свинцовые палочки, в Псковской

делали чернила из свеклы, в Ярославской — из клюквы и шишек ольхи, в Вологодской — из сажи, в тех же губерниях писали на дощечках, крашеных стенах и столах, на печных заслонках и листах старого железа, в частях Красной Армии «рисовали» буквы на снегу и земле палкой, в Архангельской, Орловской и Пермской губерниях «тетради» делали из старых бумаг местных архивов, а «буквари» составляли из газетных заголовков, плакатов и лозунгов.

Луначарский направляет на борьбу с безграмотностью лучших, талантливейших работников. Создаются курсы для учителей грамоты. К концу 1920 года их окончило более 26 тысяч человек. Всего к тому времени обучением неграмотных занималось около 200 тысяч человек.

В «Истории гражданской войны» развернут материал, показывающий огромный размах такой работы.

В дело включилась пресса! Газеты, плакаты и лозунги призывали граждан учиться и учить. «Кто неграмотен, тот учится. Кто грамотен, тот учит других», — писала «Тверская правда». «Не должно быть неграмотных в Советской России!» — под таким лозунгом выпустил однодневную газету «День просвещения» Тюменско-Тобольский губернский отдел народного образования. В городах и селах висели плакаты: «Безграмотность — родная сестра разрухи!», «Грамотность — путь к коммунизму!», «Грамотный, обучи неграмотного!». В Самарской губернии создаются передвижные выставки на тему: «Грамотность — путь к улучшению сельского хозяйства». В Северодвинской, Олонецкой, Тульской, Смоленской, Рязанской и других губерниях проходили «Дни» и «Недели ликбеза», во время которых устраивались митинги, собрания и спектакли для неграмотных, разъяснялся декрет о ликбезе, давались пробные уроки.

Луначарский делает все возможное, чтобы обеспечить школы хотя бы самым необходимым. К осени 1920 года из центра на места было направлено 4 тысячи пудов бумаги, до 8 миллионов ручек, карандашей и перьев. Издательствами было выпущено около 6 миллионов букварей.

Есть такое выражение — «немые цифры»...

Но цифры не немые. Когда за ними — трагедия. Трагедия целого народа. Тогда цифры кричат.

Прошло менее года.

В течение 1920 года в Советской республике ликвидировали свою неграмотность, по далеко не полным данным, около 3 миллионов человек, а всего за первые три года Советской власти обучено грамоте около 7 миллионов человек.

Такого не знала еще история ни одной страны. За один этот подвиг не

придумать достойной награды.

Первые шаги Советской власти. Первые шаги Наркомпроса. Смелые, стремительные шаги!

Нет, напрасно кричали зарубежные писаки, что русская культура умерла. Первый после 1917 года литературно-критический журнал «Печать и революция» открывался вступительной статьей Луначарского. В ней говорилось: «Только обывательское брюзжание одних и какое-то желчное раздражение других (критиков особенно) мешает видеть, что мы переживаем интересную страницу в области художественного творчества, несмотря на его кажущееся оскудение, что огромные массы привлечены к участию в художественной жизни страны, что эта художественная жизнь не замерла, несмотря на страшные препятствия...»

Издание книг не прекратилось. Уже в 1917–1918 годах книжную продукцию выпускали московские и петроградские издательства — «Полярная звезда», Московское книгоиздательство писателей, «Северные дни», «Огни», «Наука и школа», «Голос минувшего», «Начатки знания».

Воскресала и рождалась к новой жизни культура.

«...Из взрыхленной земли выходят и выходят десятками и сотнями новые писатели», — замечал Луначарский в предисловии к книге рассказов А. Новикова-Прибоя. Да разве только писатели. Молодые ученые, художники, музыканты, артисты. Всем им нужно было помочь. При вузах создавались рабочие факультеты.

Бывший декан рабфака Тимирязевской академии рассказывает, например, что огромную помощь вместе с Калининш и Крупской оказывал им тогда в организации учебного процесса Луначарский. Он сразу нашел общий язык с ректором академии профессором В. Р. Вильямсом. Вильямс решительно поддержал наркома, заявив, что у него «ни на мгновение не могло возникнуть ни колебаний, ни сомнений» в необходимости организовать рабочий факультет.

«Рабфаковцы буквально революционизировали старую Петровку. Они были запевалами всех собраний и сходов, настоящими вожаками молодежи», — вспоминает И. Кувшинов.

Дети рабочих и крестьян, отцы которых в царской "России не могли и думать о том, чтобы получить образование, высоко ценили возможность учиться, использовали все для расширения и углубления своих знаний. По окончании рабфака основная часть слушателей поступала в академию. С 1921 года по 1935 год рабочий факультет окончили 1753 человека; из них 1140 человек поступили в Тимирязевку. Бывшие рабфаковцы работают ныне в разных концах страны, да и в самой Тимирязевке. Среди них

президент ВАСХНИЛ П. П. Лобанов, профессор А. В. Петербургский, лауреат Государственной премии доцент Д. Д. Мартюгин и многие другие видные ученые и специалисты.

И конечно, Луначарский никогда не мог остаться равнодушным к судьбе молодого таланта.

Ему докладывают об «одареннейшем юноше Дмитрие Шостаковиче». Последовало немедленное распоряжение о «предоставлении ему всех возможностей для учебы и развития мастерства».

Частым гостем в квартире Луначарского был молодой Иван Семенович Козловский.

— Из него вырастет большой мастер, — говорил о нем Анатолий Васильевич.

Бывавший тогда часто у наркома поэт Александр Жаров написал недавно Ивану Семеновичу об их ушедшем друге, давшем им «крылья революции».

Всех нас она тогда по-пролетарски
Брала с размаху на крутой подъем.
Ее душевный отзвук Луначарский
Расслышал в чистом голосе твоём.
Так вспомним, друг, со всею силой чувства
В арбатском переулке добрый дом,
Где в трудный путь народного искусства
Благословил нас ленинский нарком.

Как-то Луначарский спрашивает И. Уткина, А. Безыменского и А. Жарова, не хотят ли они побывать за границей.

— А командировки не дадите? — вопросом на вопрос ответил Иосиф Уткин.

— Я не могу дать командировки, но коллегия Наркомпроса может...

Анатолий Васильевич назвал день и час, когда должен будет обсуждаться на коллегии этот вопрос. Докладывал Луначарский сам. Кто-то спросил:

— А почему комсомольских поэтов надо за границу посылать?

— А кого же еще посылать? Декадентов? Декадентами Запад не удивишь.

Так ответил нарком, в тот же день подписавший командировочные удостоверения молодых поэтов.

Анатолий Васильевич был председателем комиссии, которая устанавливала стипендии. Он лично знакомился с каждой кандидатурой, рекомендуемой профессорами консерватории или ВХУТЕИНа (Высшего художественно-технического института)» прослушивал музыкантов, смотрел картины молодых художников. Нередко его кабинет превращался в зал выставки. Молодых музыкантов он слушал у себя дома (в Денежном переулке, куда переехал из Кремля) или в консерватории.

«Помню, с какой радостью Луначарский «открыл» арфистку Веру Дулову, скрипача Давида Ойстраха. При его содействии многие талантливые музыканты уезжали за границу продолжать учебу», — вспоминает секретарь Луначарского К. С. Еринова.

Луначарский определил судьбу и художника Владимира Панфилова.

В начале 1922 года орехово-зуевские рабочие попросили Луначарского приехать к ним и выступить с докладом. Анатолий Васильевич согласился.

Придя на спектакль местного театра, нарком заинтересовался картинами рабочего паренька Володи Панфилова, висевшими в фойе, и захотел познакомиться с художником.

Сам В. Панфилов рассказывает: «Привели меня к наркому, он стал расспрашивать, как живу (жил я тогда в башне возле Пожарной каланчи), обнял меня за плечи и спросил: «Хочешь учиться?», я сказал: «А где мне учиться?» — «Будешь учиться в Москве».

Луначарский вернулся в столицу и слово свое сдержал — вызвал Панфилова. С его письмом Володя приехал в Москву и прямо направился в Кремль. Шел он с небольшим узелком, в котором хранилось все его «имущество»: лоскутное одеяло и набор рабочего инструмента. Его оставили жить в Кремле, в Потешном дворце, и жил он там, в семье Луначарского, год, свидетельствует К. С. Еринова. Окончив ВХУТЕИН, Панфилов работал театральным художником. Позже увлекся батальной живописью, и в годы Великой Отечественной войны В. Панфилов написал немало известных ныне полотен.

Человек фантастической работоспособности Луначарский, казалось, раздвигал сутки во времени.

Во всяком случае, сейчас многим трудно понять, как физически успевал Луначарский вести огромную работу в Наркомпросе, выступать с докладами, писать статьи, встречаться с людьми и в то же время, как правило, не отказывать многочисленным писателям, молодым и опытным, не только просмотреть их новые рукописи, но и сопроводить их яркими, блестящими светом истинного таланта предисловиями.

В собрании известного московского коллекционера Эм. Циппельзона

сохранилась написанная в связи с этим дружеская эпиграмма на Луначарского очень рано ушедшего от нас пролетарского поэта В. Александровского:

О нем не повторю чужих острот.
Пускай моя звучит свежо и ново:
Родился предисловием вперед
И произнес вступительное слово.

Не было той области культуры, к которой он не был причастен самым непосредственным образом.

А сколько труда вложил он в организацию массовых народных празднеств, получивших тогда широчайшее распространение! Для осуществления одного из них он приглашает ныне широко известного театрального деятеля Н. Петрова, руководившего в те годы в Костроме Малым драматическим театром.

Действие разворачивалось на Дворцовой площади. Налево и направо от арки штаба были сооружены две огромные игровые площадки. Одна называлась «Красная», а другая «Белая». На площадках разыгрывались попеременно пантомимные сцены, рисующие различные эпизоды из истории русской революции. Общей сюжетной темой была борьба «Труда» и «Капитала». Сцены «Труда» разыгрывались на «Красной» площадке, а сцены «Капитала» — на «Белой».

«Красной» площадкой руководил Н. Петров, а режиссура «Белой» была поручена А. Р. Кугелю, К. Н. Державину и Ю. П. Анненкову (он же являлся и художником всей постановки). Общим руководителем был Н. Н. Евреинов.

Центральная фигура на «Красной» площадке — Ленин, центр «Белой» — Керенский.

Из-под арки штаба мчались грузовики, заполненные вооруженными рабочими. Они проносились мимо Александровской колонны, возле которой находился командный пункт и трибуны для зрителей, и, продолжая свой путь, останавливались возле исторической «поленницы», у самого Зимнего дворца, который охраняли юнкера и женский батальон. Короткий бой возле «поленницы» оканчивался бегством юнкеров и женского батальона, и восставшие врывались во двор Зимнего, рассказывает Н. Петров.

Дворец становился главным действующим лицом. До этого момента

он был весь затемнен, но, как только восставшие врывались во двор, сразу же включались прожекторы на «Авроре», которая стояла против Зимнего, и начинали беспокойно метаться по крыше дворца. Дворец превращался в силуэт, и сейчас же вспыхивал свет во всех его окнах. В окнах были спущены белые шторы, и на их фоне приемом театра китайских теней разыгрывались маленькие пантомимы боя. Этот эпизод в представлении так и назывался «Силуэтный бой». Поединки в окнах оканчивались победой восставших. Все прожекторы и с «Авроры» и с Дворцовой площади концентрировались на огромном красном знамени, взвивавшемся над дворцом, а во всех окнах вместо белого вспыхивал красный свет. На опустевшей дворцовой площади разыгрывался последний сатирический эпизод — бегство Керенского, переодетого в женское платье, и вся пантомима оканчивалась фейерверком и орудийным салютом.

За работу режиссеры получили вознаграждение: А. Р. Ку-гель, Ю. П. Анненков, К. Н. Державин и Н. Петров — паек: табак на сто папирос и по два кило мороженых яблок, а Н. Н. Евреинов, как общий руководитель, — шубу на лисьем меху.

С. М. Киров сказал тогда, что «пантомимы — это представления нашей эпохи». Устарели ли они? Тот же Н. Петров размышляет: «Кто знает, какие постановки могли бы идти сейчас на наших стадионах, продолжай мы опыты постановки массовых празднеств, и не вступили ли бы они в соревнование с достаточно примитивным представлением, когда двадцать четыре человека гоняют по полю мячик, а сто тысяч человек буквально выходят из себя, следя за движением мяча. И если мы так серьезно сейчас говорим о вопросах культуры, то имеем ли мы право пренебрегать трибуной, с которой так много можно сказать, обращаясь сразу к ста тысячам зрителей?»

Думается, что опытный режиссер прав.

Мы уже говорили о воистину безграничных «границах», определявших тогда сферу деятельности Наркомпроса. Секретарь Луначарского К. С. Еринова рассказывает, что уже один из первых приемов у наркома «ошеломил» ее. Здесь были и неприменимый секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург, и директор Большого театра Е. К. Малиновская, и член Коллегии Наркомпроса известный педагог Н. Н. Иорданский, и В. Я. Брюсов, и молодые люди в шинелях, желающие попасть в вуз, и актеры периферийных театров, хлопочущие о трудоустройстве.

В архиве Наркомпроса до сих пор лежат неопубликованные письма к Луначарскому Бальмонта, Вяч. Иванова, Ив. Шмелева, Ф. Сологуба, М. Волошина, Арцыбашева и других.

К. И. Чуковского потрясло «вавилонское столпотворение» у Луначарского: «Педагоги, рабочие, изобретатели, библиотекари, цирковые эксцентрики, футуристы, художники всех направлений и жанров (от передвижников до кубистов), философы, балерины, гипнотизеры, певцы, поэты Пролеткульта и просто поэты, артисты бывшей императорской сцены — все они длинной вереницей шли к Анатолию Васильевичу на второй этаж по измызанной лестнице, в тесную комнату, которая в конце концов стала называться «приемной»... Наряду с решением широких вопросов государственного — и даже мирового — масштаба ему в то время приходилось решать множество мельчайших проблем, вроде добывания мороженой клюквы для приюта престарелых актрис или изыскания портянок для детского дома на Охте».

И Луначарский выслушивал, советовал, звонил, писал записки, устраивал на работу.

Откуда брались силы, чтобы объять воистину необъятное: «Под гром орудий наступавшего на Петроград Юденича Луначарский собирал друзей, чтобы прочесть им сделанные «на досуге» переводы из забытого немецкого поэта Конрада Мейера, а наутро обсуждал методику школьных программ или читал в Доме культуры Выборгского района лекцию для домашних хозяек о Бетховене, Гёте, Толстом, Чайковском или Леонардо да Винчи, — вспоминает Корнелий Зелинский. — Если бы мог, он захватил бы весь мир, чтобы потащить его к коммунизму, чтобы убедить, доказать, поэтически вдохновить его, и для этого выбрать и показать у каждого лучшее в нем, близкое революции. Каждое явление, особенно в области искусства, он стремился повернуть лицом не к прошлому, а к будущему, взять что-то здоровое... Вот почему Луначарский в те годы произнес так много вступительных речей на бесчисленных вечерах и юбилеях и написал столько предисловий к самым неожиданным книжкам... Он делал это с великодушием «Лоренцо Великолепного» — так называли его друзья».

Время отдалило от нас те дни. Но не как свет умерших звезд доходят к потомкам всполохи тех дней.

Как-то поздним зимним вечером мы шли с поэтом Борисом Слуцким по Ленинским горам. Невесомо падал на черный асфальт снег, и Борис Абрамович неожиданно заговорил о Луначарском:

— То, что было для него тогда «суматохой дел», сегодня выглядит подвигом. И это, — он кивнул головой в сторону громады университета, — и то, что от Анны Павловой до Улановой и Максимовой на весь мир гремит слава русского балета, — непостижимо уму, сколько он сделал тогда для будущего нашего искусства — лучшие памятники жизни человеческой.

Конечно, рядом был Ильич и его гвардия — было на кого опереться, но я не могу без волнения думать о месте Луначарского в те первые дни становления нового общества. Так же шел, наверное, тогда снег. Но все было пронизано вокруг атмосферой тревоги, войн, мятежей, пожаров. Как-то я написал это.

Слуцкий читал медленно, глухо, и слова его, казалось, как этот тихий снег, уплывают в темноту ночи:

Памяти Луначарского
Надо стихи написать.
Он в голодное время
Вздумал балет спасать.
Без продовольствия бросовые
В хоре пойдут голоса.
Лошади — даже бронзовые —
Не проживут без овса...
Холодно было, голодно —
И не нужны для людей
Тихие песни горлинок,
Плавные па лебедей...
Бедной, сырой, недужной
Он доказал Москве:
Нужен балет ненужный —
Сердцу и голове...

Наш замечательный артист и знаток книг Николай Павлович Смирнов-Сокольский, много раз встречавшийся с Луначарским, просматривал по просьбе автора этих строк некоторые первоначальные наброски глав книги. Он заметил тогда:

— Если перечитать все воспоминания о встречах с Луначарским, вспомнить огромный водоворот людей, ежедневно так или иначе с ним соприкасавшихся, то может создаться впечатление, что наркому ничего не оставалось, как плыть по воле волн, — настолько трудно было справиться с такой стихией. Но это было не так. Даже в мелочах он умел выделить главное, основное направление работы, степень ее значимости для общего дела. Потому, если учесть и его удивительную работоспособность, важнейшие вопросы всегда были в сфере его внимания.

Н. П. Смирнов-Сокольский раскрыл ныне уникальную газету

«Известия Смирнова-Сокольского». Под этим ошарашившим в свое время обывателей заголовком было набрано: «Номер первый, а может быть, и последний»:

«— Мы были молоды тогда, — с улыбкой вспоминал Сокольский. — Мне захотелось организовать газету, освещающую жизнь артистов эстрады. С бумагой было неимоверно трудно. Пошел к Луначарскому.

«Вы знаете, как у нас с бумагой?!» — спросил он.

«Знаю. Но газета нужна».

И только когда я в течение получаса доказал ему, как важно сплотить актеров, поддерживающих Советскую власть, дать им печатную трибуну, Луначарский разрешил выпустить пробные номера...»

Первый номер написал от начала до конца сам Николай Павлович. Потом заботы захлестнули его, и он охладел к газете. Больше она не выходила. Но слова Луначарского запомнил на всю жизнь: «Очень трудно сейчас, и дел масса. Но на искусстве, работающем на революцию, я экономить не могу. Не в силах... Ни бумагу, ни время».

По ночам к нему приходила смертельная, гнетущая усталость.

С Луначарского писано множество портретов. Существует и несметное количество фотографий. Из всей этой огромной иконографии Анатолию Васильевичу более всего нравился портрет работы художника Юрия Анненкова, автора известных по тысячам репродукций портретов В. И. Ленина, Я. М. Свердлова, В. А. Антонова-Овсеенко.

Великий Нестеров считал, что у портретиста должен быть особый глаз на лицо человеческое, зоркий и чуткий, особая любовь к человеческому лицу, как средоточию всего человеческого в человеке.

Луначарский на портрете Ю. Анненкова сосредоточен и задумчив. И очень усталый. Немного тяжеловатый взгляд из-под пенсне. Несколько притухшие глаза. Лицо умного, доброго, очень нелегкой жизнью живущего человека.

Видимо, это сразу почувствовал Луначарский, взглянув на портрет, и обрадовался, что художник тонко поймал то его сложное душевное состояние, о котором никому не расскажешь и которое словами не передашь. Здесь было точное психологическое понимание «натуры». И еще — доброе товарищеское сочувствие, теплота. Луначарский писал об этом портрете: «Ни одно из моих изображений, какое я знаю, будь то рисунки или фотографии, не может быть даже сравнимо с превосходным листом, который посвятил моей скромной особе художник».

Рабочий день наркома был загружен сверх всякого мыслимого предела. Ксения Семеновна Еринова рассказывает:

«Работа «номинально» начиналась в 9 утра. Но когда я приходила к этому времени в Кремль, занятия были уже в полном разгаре. Анатолий Васильевич энергично расхаживал по кабинету и диктовал стенографистке статью или материалы для Коллегии Наркомпроса. Заметив это, я стала приходить на работу раньше. В Потешном дворце, слева от приемной наркома, помещалась библиотека. Почти каждый день секретари подбирали по списку Луначарского литературу. Анатолий Васильевич брал книги и ставил их возле постели. Спал мало, просыпался очень рано и сразу начинал диктовать стенографистке. К вечеру, освободившись от заседаний и приемов в Наркомпросе, продолжал работать...» Так проходили дни и ночи наркома.

IV. „С кем быть?..”

— Что вы от них хотите, уважаемый Андрей Иванович! Хамы. Растащить, погубить, испохабить — это они могут.

Человек в бобровой шубе возмущенно пожал плечами:

— Я, например, на поклон к ним не ходил и не пойду.

— Но что будет с Россией?! Голод, разруха, война, фронт разваливается. Мы же русские интеллигенты. Нужно что-то делать. Нужно. Кроме того, говорят, что их нарком — интеллигентный человек.

— Комиссар, а не нарком. Все они одним миром мазаны. Не пойду!

— Нужно, Андрей Иванович, нужно. Послушайте меня. Кроме того, могут быть неприятности. Какая-никакая, но это все же власть. И нас приглашали.

Бобровая шуба что-то проворчала, потом решительно направилась к двери.

— Хорошо, я зайду. Но предупреждаю, ничего из этого у них не выйдет.

— Только не горячитесь, милый Андрей Иванович, не горячитесь. Кто знает, как может все обернуться...

Луначарский встал из-за стола. Лицо у него было бледное, осунувшееся. Сидел он в пальто — морозный пар медленно поднимался к потолку.

— Прошу садиться. Раздеваться не советую, — извиняющаяся улыбка скользнула по лицу наркома. Он развел руками. — Сами видите. Небогато живем. Очень хорошо, что вы зашли, Андрей Иванович. Давно хотел с вами познакомиться. Кстати, вашу книгу о раннем Возрождении и работу о Данте я прекрасно знаю. Не совсем согласен с оценкой философии «Божественной комедии», но в целом смело, фундаментально. Кстати, там написано, что это первая часть, а вторая как?..

— Сейчас не до Данте, — буркнул Андрей Иванович, видимо несколько озадаченный началом разговора. — Сами видите, что творится. Все гибнет. Все рушится.

— Почему все? Наоборот, только строиться начинаем. Везде. Во всех областях. А, кстати, книжку вы кончайте, бумагу пренебреженно разыщем. Может быть, не сразу, трудно у нас с бумагой. Но разыщем обязательно. И издадим. Скажем, в Академии наук.

— Премного благодарен. Но не из-за Данте же вы меня вызвали!

— Почему не из-за Данте. Здесь все связано, все соединено, дорогой Андрей Иванович. Народу нужны знания. Книги, учебники, помощь. Позарез нужны. Вся Россия садится за парту. А вы же коренной русский интеллигент. У вас громадный педагогический опыт. Нет, я вас не агитирую. Вот мы решаем в Наркомпросе, как организовать учебный процесс в бывших гимназиях. Вы же много лет преподавали в них. Как вы полагаете?

— Ну, знаете, вы меня сразу ошарашили... И я вообще...

— А я вас и не тороплю, голубчик, — перебил Луначарский. — Вы подумайте, подумайте. И обязательно заходите. В любое время. Запросто. Очень будем рады.

Шуба пыталась что-то возразить.

— А возражений слушать не желаю. Всем трудно, дорогой. Всем. А знания ваши нам очень нужны. России нужны. Так что непременно жду. Не прощаюсь. Кстати, захватите и то, что уже написано из второй книги. Почитаем, поговорим. Сам очень хочу сесть за французских поэтов. Но некогда. Совсем некогда. Голова идет кругом. Так что заходите.

Шуба растерянно вышла.

— Черт те что! — развела она руками за дверями. — Все это странно. Очень странно... Данте, Наркомпрос, Россия. Этот сумасшедший, кажется, действительно верит, что сейчас все это кому-либо нужно. Странно. Непостижимо...

Этот разговор Луначарского с одним из уважаемых ученых, записанный нами со слов известного некрасововеда В. Е. Евгеньева-Максимова, весьма характерен для «быта» тех лет.

«...Привлечение к работе буржуазной интеллигенции является теперь очередной, назревшей и необходимой задачей дня...» — Так определил направление этой работы Ленин.

Луначарский много размышлял о ее непростых путях в революцию, искал тот «нравственный ключ», который открывал бы путь к сердцам колеблющихся и сомневающихся. Действительно, как было найти компас

для ориентировки в огромном и разноликом море?

«Если мы, — думал он, — станем исследовать, какие черты коммунизма отталкивают все это скопление атомов, всю эту интеллигентскую туманность, на своем месте нужную нам и в некоторых отношениях близкую к нам, то мы увидим, что их отталкивает, во-первых, террор. Тут больше всего кривятся жвачные толстовцы, но морщат нос и хищные группировки интеллигенции, которые вполне признают террор господствующих классов.

Далее пугает интеллигенцию марксизм, не столько потому, что в основе его лежит диалектический материализм или что из него вытекает коммунизм, сколько потому, что он требует дисциплины мысли, идейного единства со своей партией».

Поэтому, приходил к выводу Луначарский, «работу с нею можно вести, только говоря на ее языке. Коминтерн, национальные партии должны суметь вмешаться в эстетические, этические, а не только социально-политические распри интеллигентской ярмарки. Его представители должны показать, какими ясными становятся все вопросы при прикосновении к ним диалектического материализма. Они должны доказать также, что мы ничего не выбрасываем вон зря, что мы ценим все ценное в культуре, что никакого понимания жизни, мысли и искусства мы не желаем, не допустим, надо, словом, доказать, что основной штаб пролетариата не только не ниже в культурном отношении, чем интеллигенция, но выше ее и действительно может руководить ею и вывести ее из бесплодной и часто мучительной толчеи».

В океане многих пристрастий, симпатий и антипатий Луначарский сразу нашел опору. «...Настоящими прочными сотрудниками пролетариата, — считал Луначарский, — являются и остаются те, главным мотивом которых служит сознание огромной культурной высоты и красоты грядущего общества, полной невозможности достигнуть хоть отдаленно подобной широты жизни вне социализма...»

Нужно было иметь необычайный такт, энциклопедические знания, огромный жизненный опыт, чтобы в то сложное время быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке, находить верный путь к сердцам самых различных по духовному складу и политическим убеждениям, людей. Луначарский был именно таким человеком, и это особенно подчеркнул Станиславский: «Способность понимать искусство, чувствовать его дана немногим. Ею обладает наш руководитель Анатолий Васильевич Луначарский».

Практически невозможно перечислить всех людей науки и искусства,

которым Луначарский не помог бы в трудную минуту. Помог не в мелочах, а в борьбе, решении важнейших мировоззренческих вопросов,

«Завоевание пролетариатом интеллигенции, — говорил он в статье «III Интернационал и интеллигенция», — есть одна из существеннейших задач великого социального переворота». Поэтому, понимая всю сложность этого процесса, он и выдвинул первую основу творческого сотрудничества — «Кто против буржуазии, тот с нами...».

Главное, что, конечно, решало дело, — непреодолимая убедительность ленинизма. Но и характер самой личности Луначарского сыграл здесь немаловажную роль.

Вл. И. Немирович-Данченко любил рассказывать, с каким вежливым, но трудно скрываемым скептицизмом актеры встретили первое выступление Луначарского перед труппой Художественного театра. Многие в театре думали, что большевистский нарком «во главе искусства — это не иначе, как грибоедовский фельдфебель в Вольтерах». А он оказался образованнее самых образованных людей Художественного театра, вместе взятых. Такое же потрясение испытали и все присутствующие на двухсотлетнем юбилее Академии наук в Петрограде. Приветствуя иностранных гостей, Луначарский начал свою речь по-русски, продолжал по-немецки, по-французски, по-итальянски и закончил великолепной латынью.

Это «лучший из министров просвещения, каких я когда-либо видел», — восхищался Луначарским Анатолий Федорович Кони. «Анатолию Васильевичу нельзя не удивляться как чуду, ибо по какой-то парадоксальной причине просвещением на Руси исстари ведали самые непросвещенные люди», — говорил Сергей Федорович Ольденбург, известный востоковед, неменный секретарь Академии наук. «У него, — писал И. Е. Репин К. И. Чуковскому о Луначарском, — большая смелость и оригинальность в мыслях». И в другом письме: «...Он же образованный литератор, как лучшие, и скромный, и порядочный, как бывают только выдающиеся деятели».

Не только талант и необычайная эрудиция Луначарского делали его необыкновенно популярным среди интеллигенции. Он был живым примером мужественного и героического решения вопроса, стоявшего тогда перед каждым деятелем культуры: «С кем быть?» Решения бесспорного и бескомпромиссного. И потому, что он на своем личном опыте знал, как трудно порой найти верный путь в жизни, в сложной общественно-политической борьбе, Луначарский так терпеливо разъяснял каждому политику Советского правительства.

Выдвинутый партией на один из важнейших постов в государстве, Луначарский никогда не подчеркивал своего особого положения. К 90-летию со дня его рождения «Правда» пи сала, что на борьбу за новую культуру партия направила многих выдающихся марксистов, теоретиков и организаторов. Она не поручала одному человеку, как представляется в некоторых работах о Луначарском, «направлять первые шаги советского искусства», «руководить развитием молодой советской культуры». Заслуга Луначарского глубже: он в сложнейших условиях помог сформироваться и укрепиться целой когорте деятелей социалистической культуры, целеустремленно осуществлявших линию партии в строительстве новой цивилизации.

Впрочем, «огрехи» оценок, о которых говорилось в «Правде», не исчезли. В дни того же юбилея появилась статья, где Луначарский назывался ни более ни менее, как «Иваном Калитой» нашего искусства.

Нет, он был иным, о чем прямо и заявлял, понимая сложные, драматические процессы разрыва с устоявшимися представлениями: «В эпоху резкого перелома, когда целый класс, обладавший широкими средствами, командовавший в обществе, определявший в значительной степени его духовную жизнь, отходит и умирает, и когда новый класс выступает на первый план, — при таких условиях художественный мир не может не оказаться в замешательстве, не может не пережить очень острую бурю, сопровождаемую, быть может, для отдельных индивидов прямою гибелью... Я не хочу сейчас рисовать действительность розовыми красками. Мы переживаем болезненный переходный момент, момент гражданской войны, голода, хозяйственной разрухи, который только в самое последнее время начинает освещаться солнцем победы. Конечно, пройдет еще не мало дней, в которые мы должны будем говорить о рождении в муках нового общества, а не о его нормальном функционировании. Но нормальное функционирование социалистического общества предполагает максимум свободы для художника».

Множество теперь кажушихся азбучными истин приходилось тогда разъяснять. Многие не понял, например, в революции Короленко. Он считал, что борьба диктатуры пролетариата с эксплуататорскими классами — излишняя жестокость, доказывал, что мирная эволюция в лоне республиканской конституции скорее достигнет желанной цели, чем беспощадная борьба, которая, по его мнению, только зря озлобляла народ. Со свойственной всегда Короленко откровенностью и бесстрашием Владимир Галактионович свое мнение открыто высказывал всюду и везде, в письмах, разговорах, на собраниях. Он напечатал по этому поводу ряд

писем в заграничной бело эмигрантской прессе. В малоизвестных и полностью не опубликованных воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича говорится, что все это было хорошо известно Ленину.

«Не понимает он задачи нашей революции, — сетовал Владимир Ильич. — Подчас некоторые интеллигенты называют себя революционерами, социалистами, да еще народными, а что нужно для народа, даже и не представляют. Они готовы оставить и помещика, и фабриканта, и попа — всех на старых своих местах... Мало надежды, что Короленко поймет, что сейчас делается в России, а впрочем, надо попытаться рассказать ему все поподробней. Надо просить А. В. Луначарского вступить с ним в переписку: ему удобней всего, как комиссару Народного просвещения и к тому же писателю. Пусть попытается, как он это отлично умеет, все поподробней рассказать Владимиру Галактионовичу — по крайней мере пусть он знает мотивы всего, что совершается. Может быть, перестанет осуждать и поможет нам в деле утверждения советского строя на местах».

При первом же свидании с Луначарским Ленин рассказал ему о письмах В. Г. Короленко и распорядился все сведения из Полтавы, где тогда жил писатель, в дальнейшем пересылать лично Луначарскому.

— А сочинения Владимира Галактионовича надо сейчас же переиздать в Государственном издательстве как можно дешевле: они очень полезны для чтения широкими массами, — сказал Владимир Ильич, обращаясь к Луначарскому как члену редакционной коллегии Госиздата.

Анатолий Васильевич в скором времени вошел в переписку с Короленко. Написал ему шесть больших и подробных писем о задачах Октябрьской революции. От Короленко он получал ответы, судя по которым позиция писателя явно менялась.

Новая действительность опрокидывала недоверие и скептицизм, заставляла по-иному мыслить, оценивать события и факты.

Октябрь 1920 года. Академик В. В. Шулейкин читает вступительную лекцию в Высшем техническом училище Петрограда. Речь идет вроде бы о самой что ни на есть «чистой» физике. Но мысли о другом, изменившем жизнь каждого, властно «вторгаются в священный храм науки»:

— Что произошло с атомом?.. Родившись еще при Демокрите, он через все века прокатился в виде какого-то шарика, одетого в непроницаемую скорлупу. Химики говорили о силах сродства, присущих этому шарикю. Некоторые физики, в сущности ничего не объясняя, приделывали к его скорлупе какие-то рожки и ножки. Но вот в свете современной науки рассыпалась эта скорлупа, и открылись под ней новые миры...

проникнутые необычайной красотой...

«И неизвестно, — признавался Шулейкин, — что еще было важнее — тайна атома или тайна нового мира».

В Петрограде большую помощь ученым вместе с Луначарским организует Горький. Трудные были тогда времена.

Каждый шаг вперед давался с чудовищным напряжением сил. Позднее в статье «Ленин и молодежь» Луначарский не без горькой иронии говорил о необыкновенной сложности и психологической и государственной перестройки: «Как неподмазанные колеса, все это вопило, визжало и не двигалось с места. Все винты и гайки нашей государственной машины представляли из себя набор, который фигурировал прежде в совершенно другом механизме и который пришлось случайно коммунистическому молотку пригнать и набить друг на друга. Когда эту чудовищную машину из старых чиновников тот или другой коммунист пускает в ход, она, конечно, болтается, она гремит, она стучит и пускает пыль, она ломается на каждом шагу... Это Владимир Ильич с полной ясностью видел».

Естественно, что казусов тогда было — не занимать.

Да, к сожалению, не так уж редкими в сумятице тех лет были недоразумения, требовавшие немедленного вмешательства. В одном из писем Луначарский обвиняет Бонч-Бруевича в том, что он дал распоряжение о реквизиции дома, где жил К. С. Станиславский. Но это запальчивый переხлест. Распоряжение было дано одним из подчиненных Владимира Дмитриевича. Возмущенный нарком 2 июля 1920 года официально обращается к Ленину:

«Руководитель Художественного театра Станиславский — один из самых редких людей как в моральном отношении, так и в качестве несравненного художника.

Мне очень хочется всячески облегчить его положение. Я, конечно, добьюсь для него академического пайка (сейчас он продает свои последние брюки на Сухаревой), но меня гораздо больше огорчает то, что В. Д. Бонч-Бруевич выселяет его (помещение понадобилось для автобазы. — А. Е.) из дома, в котором он жил в течение очень долгого времени и с которым сроднился».

Ленин немедленно предложил оставить Станиславского в покое, создать максимальные возможности для творчества, закрепить за ним квартиру. Это та самая квартира, в которой он прожил до своего конца и куда сегодня трепетно входят экскурсанты. «Мемориальный музей-квартира К. С. Станиславского», — написано здесь при входе...

Необыкновенно трудно было молодой Советской республике. Не

хватало топлива, денег, средств. «Две души живут у меня в груди. С одной стороны, мне очень хотелось бы сократить количество финансируемых театров, с другой стороны, театры умоляют взять их в число финансируемых», — пишет в РКИ Попову Луначарский...

После разгрома Деникина и Колчака многие ученые открыто заявили о переходе на позиции новой власти.

В «Беседах по марксистскому миросозерцанию» Луначарский подводил некоторые итоги: «Основной материк понял всю глубину и значительность революции, понял искренность забот нового правительства о культуре и хозяйстве страны и пошел навстречу пролетариату». Позднее, на совещании по вопросам искусства в Агитпропе ЦК ВКП(б) (май 1927 года) Луначарский говорил: «С месяца на месяц, с года на год мы завоевывали симпатии специалистов. Они приходили к Советской власти, ибо эта власть их ценит, считает полезными, признает за ними будущее, относится к ним по-товарищески».

Его сердце не оставалось равнодушным ни к одному празднику большого, народного искусства, и сколь многое для понимания его характера дают его записки к художникам, артистам, писателям, которые он успевал набрасывать между заседаниями, диспутами, собственной титанической работой. «Дорогой, дорогой Евгений Багратионович! — писал он Вахтангову после просмотра «Принцессы Турандот». — Странно я сейчас себя чувствую. В душе разбужен Вами такой безоблачный, легкокрылый, певучий праздник... и рядом с ним я узнал, что Вы больны. Выздоровливайте, милый, талантливый, богатый. Ваше дарование так разнообразно, так поэтично, так глубоко, что нельзя не любить Вас, не гордиться Вами... Жду от Вас большого, исключительного. Ваш Луначарский». Трудно было не откликнуться на такое движение души!

Постепенно дело налаживалось.

В 1920 году при Академии наук создается радиевый институт во главе с академиком В. И. Вернадским, открываются естественнонаучный и физико-технический институты. Более 200 специалистов уже участвовало в разработке плана ГОЭЛРО.

К. А. Тимирязев избирается депутатом Московского Совета и обращается со страстным призывом к русским ученым — идти работать для народной власти. Широко отмечается юбилей деятельности Н. Е. Жуковского, работавшего над теорией волнового сопротивления самолетов и снарядов. На его исследования правительство отпускает специальные средства. В том же 1920 году академик В. И. Палладин начинает новую работу — «Микробиология в сельском хозяйстве», а И. П. Павлов изучает

трофические нервы, управляющие обменом веществ. В 1920 году избирают академиком В. Л. Комарова, изучающего флору Дальнего Востока. Тогда же выходит имеющая мировое значение работа профессора Д. С. Рождественского «Спектральный анализ и строение атомов». С изумлением встретили за границей работы А. Н. Баха и исследования профессора-физиолога Н. И. Краванова.

Едва восстановились связи с заграницей, рассказывает Луначарский, делегации советских ученых «занимали там едва ли не одно из самых первых мест... А ведь наши ученые привозили с собой в Европу и Америку то, что они высидели за эти скорбные годы, когда условия работы были плохие, и то, что они привозили с собою, было сюрпризом для Западной Европы».

На многих письмах, приходивших к Ленину, сохранились его пометки. На письмах и записках Луначарского их нет.

Почему?

Исследовавший специально этот вопрос И. Смирнов замечает, что хранящиеся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма многочисленные документы (в том числе и письма), которые читал Ленин, в большинстве случаев сохранили следы его просмотра и размышлений. Здесь пометки на полях и в тексте, отчеркивания и подчеркивания, полемические и одобрительные замечания. «На публикуемых письмах Луначарского нет пометок В. И. Ленина. Простые, деловые отношения, установившиеся между Лениным и Луначарским, позволяли им выяснять многие вопросы в разговорах по телефону. Такие разговоры происходили регулярно, по несколько раз в неделю, а то и ежедневно. Ленин по-деловому высказывал Луначарскому свою точку зрения, оперативно решал текущие вопросы государственной важности, а в необходимых случаях незамедлительно ставил в известность Луначарского о том, что поднимаемые им вопросы нуждаются в коллективном обсуждении Совнаркома или ЦК партии».

Потому почти каждая записка Луначарского Ленину в те годы, как правило, — еще одно свидетельство многогранной деятельности Ленина по руководству молодой советской культурой...

Луначарский боролся за многообразие творческих манер в новой литературе молодого Советского государства, заботливо поддерживал все, что «работало на Октябрь»: «Не позволять одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом».

Но все это не означало, что Луначарский шел на уступки в вопросах

принципиальных, шел на компромисс с чуждыми ему взглядами. Как-то на одном из вечеров писательница Екатерина Леткова (Султанова) обратилась к Луначарскому с приветствием:

— Хотя вы и большевик, но вы наш!

Некоторые из присутствующих на вечере стали хвалить наркома за то, что в нем «нет ничего комиссарского». «Анатолий Васильевич нахмурился, встал и произнес без своей обычной улыбки:

Нет, я не с вами. Своим напрасно
И лицемерно меня зовете.

После чего очень отчетливо пояснил окружающим, какая бездна лежит между ним и теми, кто вчера еще верой и правдой служил прогнившему строю».

К людям же, честно отдающим свой талант народу, у него всегда было распахнуто сердце. «И собственно, если говорить о том, каким в моей памяти остался Луначарский, — пишет С. Т. Коненков, — я прежде всего скажу о страстной, утонченной, глубокой и честной натуре большевика, в которой отразилась эволюция лучшей части русской интеллигенции».

Так было не для одного Коненкова...

V. Судьба сокровищ России

«Не скажу, чтобы мне было весело. Не скажу, чтобы мне было легко. Я тогда знал одно слово — «Надо!» — это строки из письма Луначарского 1925 года, отнесенные к первым послеоктябрьским месяцам.

В середине ноября 1917 года Луначарский обратился к Союзу деятелей искусств: «После первой революции трудового народа 25-го октября в руки восставших и победивших масс перешел целый ряд художественных учреждений. Отныне они являются достоянием всего народа и вашим, художники России.

Свергнут не только самодержавный бюрократический решим, тяготевший над искусством, но и всякая классовая и кастовая узость. Предстоит создать новые свободные, чисто народные формы художественной жизни.

В этой важнейшей отрасли культурного строительства трудовой народ нуждается в вашей помощи, и вы окажете ее ему...

От лица народа, ставшего хозяином земли русской, предлагаем вам, художники, выразить организованное мнение всего художественного мира о возможно более рациональном использовании для всенародной культуры

хранилищ и рассадников искусства нашей Республики».

«Союз деятелей искусств», объединявший в то время людей самых разнообразных течений и направлений, поставил призыв наркома на повестку ближайшего заседания.

Предварительно вопрос подвергся острой дискуссии в многочисленных группах и группках, входивших в состав Союза. В частности, горячие прения разгорелись на совещании «левого блока».

«Левый блок» выступал против вмешательства государства в художественную жизнь и стоял за «отделение искусства от государства...».

Была предложена резкая резолюция: «Обращение народного комиссара Луначарского неясно в смысле отношения государственной власти к автономии искусства и принуждает левое современное течение на соглашательскую бездеятельность сдохлым академизмом и бюрократическими деятелями искусства. Своим обращением к СДИ (Союз деятелей искусств) комиссар Луначарский явно губит начала устройства будущей художественной жизни на современных единственно правильных началах, проповедуемых левыми течениями, и отдает власть устарелым, безответственным опекунам искусства. Ввиду этого мы, блок левых течений искусства, обращаемся сами к народу с манифестом блока левых о задачах и взглядах на устройство художественной будущей жизни».

Ждать «сочувствия»? Нет. Российская «интеллигенция» отстаивала «свои права». «Заслушав обращение т. Луначарского, Союз ДИ (деятелей искусств) доводит до его сведения, что им уже предпринят ряд мер к созыву учредительного собора всех деятелей искусства, который выразит перед лицом всего народа организованное мнение художественного мира на устройство художественной жизни страны».

Луначарского «обсуждали». Но как! Сколь многие ополчились против «захвата большевиками власти над искусством», выговаривая этому искусству «надполитические» права.

Нет, противники Луначарского были не только в «Союзе искусств». Они сидели и в созданных еще при Временном правительстве в июле — августе 1917 года контрреволюционном «Совете общественных деятелей», организационно оформившемся в мае 1918 года, в яро антисоветском «Союзе Возрождения».

«Оппозиция», одним словом, была солидная. Немало было и людей просто сомневающих, боящихся, что культурные ценности России погибнут. Настроения эти были так сильны, что коснулись и самого Луначарского.

Порой ему кажется, что в огне революции сгорят и бесконечно дорогие

ему сокровища культуры и искусства.

И это опасение диктует неверные слова. 3 ноября 1917 года он пишет: «...Товарищи! Стряслась в Москве страшная, непоправимая беда. Гражданская война привела к бомбардировке многих частей города. Возникли пожары. Имели место разрушения. Непередаваемо страшно быть комиссаром просвещения в дни свирепой, беспощадной, уничтожающей войны и стихийного разрушения. В эти тяжелые дни только надежда на победу социализма, источник новой, высшей культуры, которая за все вознаградит нас, даст утешение. Но на мне лежит ответственность за охрану художественного имущества народа...

Нельзя оставаться на посту, где ты бессилен. Поэтому я подал в отставку.

Но я умоляю вас, товарищи, поддержите меня, помогите мне. Храните для себя и потомства красы нашей земли. Будьте стражами народного достояния.

Скоро и самые темные, которых гнет так долго держал в невежестве, просветятся и поймут, каким источником радости, силы, мудрости являются художественные произведения.

Русский трудовой народ, будь хозяином рачительным, бережливым!

Граждане, все, все граждане, берегите наше общее богатство».

В «отставку» он не ушел. А потом с горечью вспоминал те минуты слабости, когда вышли из-под пера эти строки. Опасения оказались напрасными. Тот же Джон Рид свидетельствует:

«В Кремле я был лично непосредственно после его бомбардировки и сам осматривал все повреждения. Малый Николаевский дворец — здание, не имеющее особой ценности, которым лишь иногда-пользовались для приемов одной великой княгини, — служил казармой юнкерам. Он был обстрелян артиллерийским огнем и, действительно, очень сильно пострадал. Но, к счастью, в нем нет ничего такого, что представляло бы собою особую историческую ценность.

В Успенском соборе пробита брешь в одном из куполов, но снаряд повредил лишь несколько квадратных футов мозаики, покрывающей потолок. Значительно повреждены снарядами фрески на портале Благовещенского собора. Другим снарядом отбит угол колокольни Ивана Великого. В Чудов монастырь попало до 30 снарядов, но только один из них пролетел через окно внутрь помещения, все же прочие разорвались, ударившись о прочные кирпичные стены или карнизы крыши.

Испорчены часы на Спасской башне. Троицкие ворота повреждены обстрелом, но их легко отремонтировать. С одной из угловых башен

сорвана остроконечная крыша.

Церковь Василия Блаженного осталась нетронутой, точно так же, как и Большой Кремлевский дворец, в подвалах которого хранятся все сокровища Москвы и Петрограда, и Грановитая палата, где находятся коронные драгоценности. В эти места никто даже не входил...»

Враги клеветали на революцию, обвиняя ее в варварстве и вандализме. Много раз говорил в те дни с Луначарским об этом Ленин. Убеждал фактами. Убеждала и сама жизнь...

«Все мы принадлежим огромной, важной работе, чертовски сложной работе». За этими словами Анатолия Васильевича стояло многое.

По-разному «врастали в революцию» художники. С одними Луначарский быстро находил «общий язык», других приходилось убеждать, третьих — привлекать к работе, которая составляла сам смысл жизни, и тогда само время доказывало им, что новая народная власть по праву является наследницей лучших демократических традиций культуры прошлого.

Оглядываясь на пройденный путь, например, замечательного художника Игоря Грабаря, Луначарский к сорокалетию его деятельности писал, что «Игорь Эммануилович один из тех крупных квалифицированных интеллигентов, которые просто и без оговорок перешли на службу к Советскому правительству».

Как только в ноябре 1917 года Луначарский организует при Народном комиссариате просвещения Коллегию по делам музеев и охране памятников искусства и старины, Грабарь деятельно представляет ее в Москве. В отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи хранятся его взволнованные обращения и послания той поры. «Очнитесь, граждане!» — называется один из этих документов.

Грабарь возглавляет Третьяковскую галерею, в которую тогда широким потоком начали вливаться национализированные художественные ценности.

Нет, это не было спокойной работой. У многих друзей художника «сотрудничество с Луначарским» вызывало недоумение и раздражение. Многие товарищи Грабаря по «Миру искусства», и особенно напуганный революционными событиями А. Н. Бенуа, возмущались: как известный своей кристальной честностью мастер может участвовать в «незаконной» «национализации частных коллекций», поступающих в Третьяковскую галерею!

Бенуа атакует Грабаря письмами, посылает к нему петербургских друзей. Он полон решимости «спасти» художника от «красных»,

В неопубликованном письме от 12 июня 1918 года, хранящемся в рукописном отделе Русского музея в Ленинграде, Бенуа негодовал: «Я не могу поверить, что ты принял активное участие в отобрании у княжны Мещерской ее Боттичелли. Или тебя заразил общий психоз, выросший на развалинах войны и полной сумятицы?»

Колоссальная работа по реорганизации старых и созданию новых музеев отнимает много сил и времени, требует немало людей. И Луначарский находит с ними общий язык,

«В голосе Анатолия Васильевича никогда не слышалось повелительных нот. Они были ему не нужны, так как его авторитет коренился не столько в занимаемом им высоком посту, сколько в обаянии его образованности, в пылком увлечении искусством, в его искреннем, ненапускном уважении к людям ума и таланта, — рассказывает К. И. Чуковский. — Нельзя было не восхищаться его изощренной способностью разговаривать и с Бенуа, и с Добужинским, и с Блоком, даже тогда, когда он бурно полемизировал с ними, ополчаясь против самых первооснов их эстетики. И хотя он был идейным врагом символизма, для него это вовсе не значило, что он должен ненавидеть самих символистов, называть их «вырожденцами», «подонками», чуть не мошенниками и огулом отвергать те чуждые ему произведения, которые были созданы ими.

...Но сильно ошибся бы тот, кто из-за благодушных, деликатных и учтивых манер забыл бы, что основную черту его духовного склада составляет воинственность, воля к борьбе».

Дело подвигалось успешно ценой непрерывных напоминаний и усилий. Так, 13 октября 1921 года Луначарский пишет письмо Литкенсу — нужна срочная помощь Г. С. Ятманову, управляющему петроградскими музеями.

«Происходит вещь вопиющая. Вы помните, что тов. Ленин предложил постановление, согласно которому Наркомпросу вменялось в обязанность в 24 часа внести в Малый Совнарком затребование сумм, необходимых для экстренного ремонта Эрмитажа, с выражением своего рода порицания, что мы не приняли для этого шагов раньше. Тогда мы этого не сделали на основании Вашего мне заявления, что деньги фактически уже посланы и что никаких дополнительных ассигнований нам в данном случае не нужно. Между тем тов. Ятманов приехал сюда и опять заявляет, что ни копейки не получил. Если бы он пожелал довести это до сведения Владимира Ильича любым частным путем, то вышел бы настоящий скандал, и притом полностью заслуженный. Прошу Вас распорядиться немедленно выдать т. Ятманову наличным ту сумму денег, которая для этого ремонта окажется

необходимой».

Луначарский помогает Эрмитажу доставить обратно в музей эвакуированные когда-то в глубь страны сокровища. К наркому с просьбой ускорить это дело обратились тогда М. Горький, академики А. Шахматов, С. Ольденбург, Н. Марр, директор Эрмитажа Р. Тройницкий, директор Русского музея А. Миллер и другие. Ленин поддержал предложение Совета Эрмитажа. В «Кратком отчете» музея читаем, что с «исключительной организованностью» специальные воинские команды под наблюдением музейных работников в течение двух ночей 16 и 18 ноября 1920 года погрузили и разгрузили два эшелона (811 тяжеловесных ящиков) ценнейшего груза. В Эрмитаж возвращались шедевры мировой живописи: картины Рембрандта, Рафаэля, Рубенса, Ван-Дейка, Мурильо, уникальные коллекции монет и другие музейные редкости. Через десять дней, 28 ноября, был открыт для обозрения зал Рембрандта, а через тридцать дней были открыты все двадцать два зала картинной галереи Эрмитажа.

...Так шла работа. Изо дня в день. Из месяца в месяц...

«Сам» Бенуа начинает сотрудничать в Эрмитаже. Но свою нравственную задачу он понимал довольно своеобразно: сохранить сокровища искусства от людей «другой культуры — грубой и нелепой», «быть самим собой до конца, не уступать ни пяди какой-либо ереси, хотя бы самой новейшей», то есть, иными словами, поставил Себя в положение внутреннего эмигранта по отношению к новой власти.

Деятельность Луначарского и Грабаря не могла не рассеять предубеждения многих колеблющихся и сомневающих.

В строительство новой культуры включились Б. М. Кустодиев и Е. Е. Лансере. Те же Бенуа и Добужинский, в свое время решительно осудившие Грабаря, начали помогать в организации музеев. Но понять до конца новое не смогли. Врагами они не стали, но удалились в эмиграцию.

«Творческое единение», как называл Грабарь его и Луначарского сотрудничество, расширялось. Нарком с самой дружеской заинтересованностью следил за реставрационной, организаторской и собирательской деятельностью Грабаря, высоко отзывался о его экспедициях на Север и в Центральную Русь, которые «дали гигантский научно-художественный материал, заставляющий заново пересмотреть историю русского и многие страницы мирового искусства». Слова эти не были просто данью разносторонним усилиям Грабаря. Что означало хотя бы одно возвращение им народу и мировому искусству бессмертной «Троицы» Андрея Рублева!

Судьба, творческий и жизненный путь многих и многих художников

пересекается с путем Луначарского. Большое участие принимает, например, он в судьбе нашего талантливейшего мастера В. Н. Дени.

Луначарский узнает, что в Казани в агитационно-просветительном отделе Приволжского военного комиссариата в тяжелейших условиях, больной, работает карикатурист Дени. О его плакатах с подписями Демьяна Бедного Анатолий Васильевич говорил: «И Дени и Демьян — мастера. У Демьяна чистейший русский язык. У Дени чистейший классический штрих. Оба они реалисты-психологи».

17 марта 1920 года Луначарский пишет Ленину: «У нас с самого начала революции работает и до революции приобретший известность тов. Дени. Ему принадлежат лучшие плакаты, которыми мы пользовались в нашей агитации.

Тов. Дени человек больной. Он жаждет продолжать и развернуть свою работу, может быть, не только в русском масштабе, но и в масштабе (интер)национальном. Талант его позволяет ему быть в этом отношении своеобразным выразителем наших идей. Некоторые его плакаты частью с текстом Демьяна Бедного уже в настоящее время перепечатаны, как я это видел, в иностранных журналах.

Ввиду его болезни необходимо создать ему сколько-нибудь сносные условия существования, за которые он, безусловно, сможет вознаградить нас прекрасными, очень острыми и меткими вещами.

Лично я лишен почти всякой возможности устроить это, так как дело идет, конечно, не о заказах, оплачиваемых деньгами, это я устроить мог бы, а о квартире и продовольствии здесь, в Москве, если желательно (а я думаю, что это очень желательно) удержать его именно здесь...

Итак, я просил бы Вас посодействовать мне, попросту дав мне соответствующую бумажку и позвонив к соответственным людям в следующих отношениях: в предоставлении т. Дени удобной и достаточно теплой комнаты в одном из советских домов или в Кремле, вообще, где окажется возможным, во-вторых, предоставлении ему права либо обедать в столовой народных комиссаров, либо получать достаточное количество продовольствия домой каким-нибудь способом. Повторяю, что т. Дени человек больной и что было бы крайне нерасчетливо поставить его в условия скудные...

Очень прошу Вас, Владимир Ильич, сообщить мне по телефону, что Вы можете сделать в помощь мне для того, чтобы мы могли приютить и дать возможность спокойно работать одному из наиболее искренних и талантливых наших друзей».

Одновременно идет переписка с Дени. Получив от него письмо, через

десять дней — 27 марта Луначарский снова напоминает о судьбе художника Ленину: «Пересылаю Вам только что полученное письмо от художника Дени. Напоминаю Вам еще раз, что Дени выдающийся карикатурист и мастер плаката, создал лучшие советские плакаты, какие мы имеем».

Ленин соглашается с доводами Луначарского. В конце 1920 года Дени появляется в Москве.

Ответственным секретарем «Правды» работала тогда сестра Ленина Мария Ильинична Ульянова. К ней и позвонил Луначарский с просьбой «ободрить нашего друга».

1921 год стал переломным в творчестве талантливого мастера...

Бульварные газеты на Западе кричали о «конце русской культуры», «разложении искусства». И это было громом среди ясного неба, когда Грабарь, выехав за границу, рассказал на страницах газеты «Новый путь», что в Советской России открыто до 150 музеев, в том числе Саратовский, Казанский, Вятский, Нижегородский, Воронежский, Вологодский, Смоленский, Архангельский... что все коллекции Эрмитажа, Зимнего дворца, Румянцевского музея, Третьяковской галереи, Оружейной палаты не только сохранены, но и приумножены. Что в России создаются новые прекрасные полотна, пролагаются новаторские пути в искусстве.

Заграница воочию убеждалась, как был прав Ленин, когда он говорил: «...Марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры»,

VI. Обелиски, принявшие любовь и ненависть

Правительство было уже в Москве, а Луначарский с разрешения Ильича все еще оставался в Петрограде.

Он чувствовал, что скоро волей-неволей придется покинуть город, и с какой-то тоской, возвращаясь домой, смотрел на мерцающие огни Невского, на шугу, плывшую по осенней Неве, на таинственный, словно декорация старинного театра, силуэт Петропавловки...

Зимой 1918 года неожиданно пришел вызов Ленина...

Ильич говорил недолго, но проект его был нов и интересен:

— У вас имеется большое количество безработных художников, между тем их силы могли бы быть употреблены на хорошее дело, а именно на то, чтобы воздвигнуть целый ряд небольших памятников первоначально из гипса, а также гипсовых мемориальных досок и, наконец, монументальных надписей революционного содержания. Праздники открытия этих памятников служили бы превосходным моментом пропаганды. На пьедесталах, бюстах, мемориальных досках и в монументальных надписях

должны быть выражены в краткой, лапидарной форме революционные идеи или переданы главнейшие биографические факты, относящиеся к изображенному лицу...

Так он примерно говорил, судя по более поздней записи Луначарского.

Почти одновременно был вызван и управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич. По его свидетельству, Ильич заявил, что надо двинуть вперед искусство как агитационное средство, при этом изложил свой проект. Во-первых, по его мнению, надо было украсить здания, заборы и т. п. места, где обыкновенно бывают афиши, большими революционными надписями. Некоторые из них он сейчас же предложил...

Второй проект относился к постановке памятников великим революционерам в чрезвычайно широком масштабе, памятников временных, из гипса, как в Петрограде, так и в Москве. «Оба города живо откликнулись на мое предложение осуществить идею Ильича, — вспоминал Луначарский, — причем предполагалось, что каждый памятник будет торжественно открываться речью о данном революционере и что под ним будут сделаны разъясняющие надписи. Владимир Ильич называл это «монументальной пропагандой»,

Дело было новое, необычное.

Идея монументальной пропаганды так увлекла Ильича, что он многократно спрашивал Луначарского и Бонч-Бруевича, как продвигается это дело, сердился на них, что оно шло медленно, и упрекал, почему с этим так мешкают. «Но, как мы знаем, несмотря ни на что, это дело не очень-то подвигалось вперед, и только в некоторых местах мы увидели осуществление этой идеи Владимира Ильича», — с горечью вспоминал Владимир Дмитриевич.

Было мало средств, и Ленин понимал это: «О вечности или хотя бы о длительности я пока не думаю. Пусть все это будет временным». А. Каменский, рассказывая о работе Коненкова над мемориальной доской «Павшим в борьбе за мир и братство народов», установленной в свое время на кремлевской стене, приходит к справедливому выводу, что трудности реализации плана монументальной пропаганды были связаны не только с чрезвычайной скудостью средств у молодого Советского государства. Еще большим тормозом было то обстоятельство, что явное большинство художников на первых порах весьма смутно и сумбурно представляло себе задачи нового революционного искусства, его содержание и формы. «Диапазон колебаний был чрезвычайно велик — от формалистической зауми до плоского академического натурализма, от взвихренной устремленности в будущие столетия до агитки, прикованной к сегодняшней

злобе дня».

Естественно, что памятники, созданные тогда, за немногими исключениями, не сохранились до наших дней.

Трудно, очень трудно было сразу определить верную точку зрения на бесчисленные монументы, бюсты, скульптуры, которые предлагали художники. В Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР хранится стенограмма беседы-интервью, данной Луначарским работникам радио 13 марта 1922 года. Некоторые разделы ее застенографированы в спешке, неотчетливо. Среди ясно и четко расшифрованных слов наркома есть такие: «В области живописи приходится отметить большое тяготение левых направлений к революции. Однако коренной носитель революции — пролетариат — отнесся к искусству футуристического уклона с недоверием. Остается спорным, например, восхищающий некоторых и приводящий в недоумение большинство большой проект-модель памятника Интернационалу, сделанный известным художником-футуристом Татлиным. Нельзя не отметить работы Альтмана, в том числе превосходные барельефы с некоторых революционных деятелей прежних и нынешних времен. Некоторые памятники, поставленные деятелям революции в Петрограде, например, памятник Марксу Матвеева, памятник Лассалю Залкина, а также московский Памятник Свободе Андреева, могут быть отмечены как более чем удовлетворительные. Молодежь, выходящая из школ, устремляется главным образом по линии этого же футуризма. Из старых художников работали над новыми проектами Пархоменко, Кончаловский, Коненков».

Многие художники России, принявшие Советскую власть, отдавали делу монументальной пропаганды воистину титанические силы. Достаточно вспомнить хотя бы грандиозную по масштабам работу Коненкова — барельеф на Сенатской башне.

«Днем и ночью я работал в своей мастерской на Пресне, — рассказывает Коненков. — В обычных условиях осуществление такого замысла должно было занять по крайней мере несколько лет. Мы же тогда осуществили эту работу в срок меньше месяца». Но и такому талантливому мастеру, как С. Т. Коненков, не все удавалось. Слишком новым было дело, да и цель представлялась не слишком четко. По словам Луначарского, Ленин отнесся к этому барельефу на Сенатской башне «с некоторым сомнением», а сам Коненков назвал его «мнимореальной доской», хотя эта доска многим нравилась, несмотря на абстрактность решения. Так или иначе, она воспринималась как символ Октября, о чем так взволнованно сказал Маяковский в поэме «Хорошо»:

И лунным пламенем озарена мне
площадь в сияньи, в яви в денной...
Стена — и женщина со знаменем
склонилась над теми, кто лег под стеной.

Монументальная пропаганда была тем более действенна, что открытие новых памятников сопровождалось большой агитационной работой.

Сколько-нибудь обстоятельного исследования по этому вопросу еще не существует, и нам остается лишь присоединиться к мечте И. Саца, в прошлом секретаря Луначарского: «Когда-нибудь найдется у нас историк, который исполнит большой труд — просмотрит тысячи объявлений, извещений, обращений в столичных и провинциальных газетах и журналах, вплоть до уездных: он соберет все, что свидетельствует о планах (или о реализации планов) «монументальной пропаганды». При открытии памятников и мемориальных досок устраивались митинги... Даже сухой перечень фактов, мы уверены, произведет грандиозное впечатление и позволит почувствовать всякому, кто способен чувствовать, стихийную силу всенародного тяготения к культуре в только еще начинающей жить Советской стране».

Монументальная пропаганда применительно к первым годам существования Советской власти раскрывалась как бы в двуедином лице: пропаганда самой скульптурой, лозунгами и подъем людей к общественной активности в процессе открытия монументов, речи, сопрягающие сегодняшние революционные победы пролетариата с многовековой революционно-демократической борьбой русского народа.

Выступления Луначарского менее всего походили на спокойные литературоведческие экскурсии в прошлое. Пафосом побед Октября было проникнуто каждое его слово, вобравшее весь накал борьбы тех лет.

Вот он — 22 сентября 1918 года рядом с памятником Радищеву работы Шервуда. Памятником, поставленным в брешу, проломанной в ограде Зимнего дворца. Памятником «первого пророка и мученика революции». И как присяга на верность великому делу павших звенят его слова: «Пусть искра. великого огня, который горел в сердце Радищева и отсвет которого ярко освещает вдохновенное лицо его, упадет в сердце каждому из вас, присутствующих на этом открытии».

Ленин лично много раз проверял, как реализуется план монументальной пропаганды.

Однажды он вызвал Луначарского, и они поехали на выставку

проектов памятника, который должен был заменить фигуру Александра III, стоявшего до революции около храма Христа Спасителя. Ильич очень критически рассматривал проекты. Ни один из них ему не понравился. «С особым удивлением, — рассказывает Луначарский, — стоял он перед памятником футуристического пошиба... На мое заявление, что я не вижу ни одного достойного памятника, он очень обрадовался и сказал мне: «А я думал, что вы поставите какое-нибудь футуристическое чучело».

Слова Ленина нельзя не воспринять как неприязнь к общей теоретической путанице и практике футуризма. Он не мог принять и декадентщину, извращенность. «Я помню, — это свидетельство того же Бонч-Бруевича, — с каким величайшим негодованием он, вызвав меня, спросил;

— Кто разрешил, кто позволил сделать это издевательство над деревьями Александровского сада, которые окрашены в фиолетовый, красный и малиновый цвета?..

Оказывается, что какая-то декадентская группа, допущенная в то время Наркомпросом к украшению улиц, взяла на себя почин украшения Александровского сада и не нашла ничего лучшего, как эти великолепные вековые липы, красоту всего сада искалечить искусственной окраской их могучих стволов, которую нельзя было ничем отмыть в течение нескольких лет.

Я ответил Владимиру Ильичу, что управление делами Совнаркома здесь не участвует совершенно, что это все идет от Наркомпроса и его отдела по Московскому Совету. Но он потребовал, чтобы я немедленно пошел в Александровский сад, осмотрел все, что там сделано, и принял экстренные меры, «чтобы смыть эту паршивую краску».

Бонч-Вруевич вызвал кремлевскую воинскую часть и сразу же пошел в сад, где увидел каких-то людей, бегających с ведерками и окрашивающих стволы и сучья деревьев во всевозможные цвета. Красноармейцы быстро «очистили Александровский сад от квазихудожников».

Ленин предложил Московскому Совету разработать план украшения Москвы памятниками подлинно пролетарского искусства и потребовал от Луначарского, чтобы памятники декадентского, кубистского плана были сняты. Ильич советовал сначала смотреть и обсуждать проекты памятников, а потом уж их ставить и открывать. Но, конечно, и при том не все шло гладко. Когда было решено, например, выгравировать на обелиске имена деятелей революции, список было поручено составить В. М. Фриче. Список Ильичу не показали, и он сетовал, что там попались случайные имена, а многих недостает. Хромала и организация дела. Луначарский

пишет: «Платили мы мало, и памятники создавались первоначально из гипса. Первым памятником был как раз памятник Радищеву Шервуда...

...Памятники были в большинстве случаев неудачными, напр. знаменитые Маркс и Энгельс в чем-то вроде ванны, памятник, лично открытый Владимиром Ильичем, более приличный памятник Никитину, совсем странный памятник Бакунину, который пришлось сейчас же снять, и т. д. В Москве скульпторов было мало, искусство их ниже среднего, отзывчивость при грошовой оплате слабая. Зато в Москве удалось поставить хороший гранитный памятник Достоевскому, который был сделан скульптором Меркуровым еще до революции».

Весною буря на Неве сбросила памятник Радищеву, который разбился в куски. Стоявший неподалеку часовой, придя к коменданту Зимнего дворца, сделал такой колоритный доклад: «Товарищ Радищев, не выдержавши сильного ветра, упал и разбился...»

С. Коненков, отдавший в свое время весь свой талант осуществлению грандиозного ленинского плана, не без гордости говорит сегодня: «Первые советские памятники, сооруженные в восемнадцатом и девятнадцатом годах, были бойцами революционной эпохи. Они звали на подвиги во имя защиты молодой Советской власти. Они непосредственно приняли на себя ненависть многочисленных врагов Республики Советов. В ноябре 1918 года контрреволюционеры взорвали памятник Робеспьеру, который был открыт в Москве накануне Октябрьских торжеств».

Когда Юденич подступил к Петербургу, был взорван памятник Володарскому, поставленный недалеко от Зимнего дворца. Разорванный и полуискалеченный, стоял он в вестибюле Музея Революции. Луначарский писал тогда: «Я не могу сказать, чтобы художнику памятник очень удался. Его все равно позднее пришлось бы заменить и более прочным и более художественным. Но и такой, как он есть, этот серый исполин с орлиным лицом, разорванный и раздробленный внизу, гордо смотрит в будущее...»

Задуманное с широким размахом дело монументальной пропаганды не было преходящим, временным. И сейчас проблемы его каждодневно встают перед нашими градостроителями. Во многом учитывают они в наши дни опыт первых лет революции. Но иное и забыто — здесь много причин, в том числе и бытовавшая одно время ставка на унылое, шаблонное градостроительство.

«Вспоминая прошлое, — продолжает Коненков, — невольно думаешь о настоящем и будущем. Наше время требует своего современного плана монументальной пропаганды. Монументальное искусство должно занять принадлежащее ему по праву ведущее место в строительстве

коммунистической культуры».

VII., На той далекой, на гражданской..."

Все это виделось теперь собственными глазами — конные лавы, разворачивающиеся для атаки, слитые с конями трубачи, рвущие воздух над притихшей степью надрывными, тревожными звуками трубы, уходящие в заснеженные перелески и балки кровавые следы банд Зеленого и Григорьева, зарева над бедняцкими дворами, вспыхивающие в непроглядных тамбовских ночах, и люди, сраженные из кулацких обрезов. Выщербленные пулями ярославского мятежа стены домов. Забитые вокзалы, где медь «Интернационала» провожала уходящие на фронт голодные, полуодетые, яростные эшелоны.

Еще недавно казавшиеся теоретически спокойными книжные постулаты классовых битв обернулись огненными путями фронтов, заговоров, мятежей...

Все свои силы напрягала республика, чтобы добиться мирной передышки.

Луначарскому открывается тогда лицо некоторых его прежних друзей. Нелегко ему было это сделать, но он порывает с ними.

К. Свердлова в воспоминаниях «Яков Михайлович Свердлов» тонко передала сложное, тяжелое чувство Луначарского в те минуты, когда он делал последние шаги, расставаясь со своим прошлым.

1918 год. Обсуждается вопрос о Брестском мире. «В 3 часа ночи с 23 на 24 февраля открылось заседание ВЦИК.

В третий раз за эти сутки вошел на трибуну Владимир Ильич, выступивший с докладом о германских условиях мирного договора. Меньшевики и правые эсеры с пеной у рта отстаивали «революционную войну» и требовали отклонения германских условий. Им вторили левые эсеры; «левые коммунисты» подавленно молчали.

Вот и поименное голосование. Свердлов по списку вызывает членов ВЦИК на трибуну, и каждый, повернувшись лицом к переполненному залу, должен сказать: да или нет, мир или война. Один за другим поднимаются на трибуну большевики.

— Да, за мир, — звучат их твердые голоса.

— Нет, против, — заявляют эсеры и меньшевики.

А где «левые коммунисты»? Многие из них покинули зал и увильнули от голосования, не желая ни голосовать за линию партии, ни явно нарушить партийную дисциплину.

Впрочем, кое-кто из них здесь. Вот на трибуне Луначарский. Он все время шел с «левыми», что же скажет он теперь?

— Да, за мир, — тихо произносит Луначарский...

...116 голосами против 85, при 26 воздержавшихся, ВЦИК утвердил предложенную большевиками резолюцию о заключении мира».

В тяжелый для Родины час Луначарский был вместе с Лениным.

Об этом периоде жизни Анатолия Васильевича еще, по существу, ничего не написано, а раскрылся Луначарский в годы гражданской войны храбрым, мужественным солдатом революции.

Как политработник, уполномоченный ЦК, ВЦИК и Реввоенсовета, несмотря на воистину колоссальную работу в Наркомпросе, Луначарский побывал почти на всех фронтах.

В апреле 1919 года он организует борьбу с дезертирами в Костромской губернии. В письме к жене он в короткие минуты перерыва в работе набрасывает своего рода «отчет» о поездке. Была такая договоренность с Анной Александровной, и ее нужно было выполнять:

«После последнего нашего свидания я сейчас же отправился в Костромскую губернию, где провел целый месяц. Большую часть этого времени я провел в Костроме, но совершил несколько интересных поездок; во-первых, на Север, по реке Костромке, в два небольших уездных городка — Буй и Галич. Повсюду я встречал много симпатичных людей, преданных нашей идее и со рвением работающих во всех областях. В Костромской губернии вообще чрезвычайно поражает заботливое, умелое отношение к детям и большое распространение детских клубов не только в самом городе, но и в таких маленьких уездных городках, как только что названные.

Много раз пришлось выступать перед большими крестьянскими собраниями, настроение было угрюмое и задумчивое, но чрезвычайно внимательное. Подавалось множество прошений, однако больших злоупотреблений эти прошения не открывали, больше, недоразумений или мелких столкновений, а еще более разного рода кулацких — и полукулацких нареканий.

Другую поездку я совершил вниз по Волге, в громадное кустарное село Красное и маленький городок Плес.

Этот городок необычайно очарователен. Здесь Левитан писал свою картину «Над вечным покоем», здесь же работало и много других пейзажистов. От городка веет необыкновенным миром. Культурные люди этого городка мечтают о превращении его в детский курорт. В более спокойное время мы непременно должны подумать об этом. Сюда на целое лето можно посылать около тысячи человек детей в самые благоприятные условия и среди совершенно исключительных красот природы...

Третья поездка была в самую гущу костромского картофельного кулачества — в село Саметь, похожее на город, в котором насчитывается немало мужиков, скрывающих по полмиллиона керенок...

Руководителями Костромской губернии оказались почти все сплошь старые товарищи, с которыми было приятно работать... Люди большой совести, недюжинного ума и порядочного политического опыта...

Был я также на нескольких заводах вокруг Костромской губернии. Огорчился тем, что льняные фабрики стоят по отсутствию топлива в губернии, которая заросла лесом, и отсюда началась моя упорная борьба с разными центральными органами, в этом виноватыми.

С другой стороны, здесь уже... как позднее на других заводах, отметил я и замечательную хозяйственность рабочих.

В Костромскую губернию я ехал через Ярославль... Проезжая назад из Костромы в Москву... я окончательно убедился, что Ярославская губерния по крестьянскому составу своему еще более трудная, чем Костромская, — в большинстве кулацкая и вместе с тем голодная — администрируется, особенно в уездах, а равным образом в губернии молодыми, неопытными коммунистами. Приехавши в Москву, я дал подробный отчет, Центральный Комитет партии вынес единогласное постановление о необходимости для меня ехать в Ярославль и самым серьезным образом заняться выправлением тамошнего состояния.

Это было для меня тяжелым ударом, так как откладывало на неопределенное будущее мое свидание с тобой, однако, ты знаешь, как я страшно стесняюсь выставлять свои личные соображения в противовес общественным. Я сам признавал, что в Ярославской губернии положение опасное, что некоторых товарищей там сменить необходимо, притом сменить так, чтоб из этого не вышло путаницы. Ведь такой путаницей и междоусобием воспользовались когда-то белогвардейцы...

Мне кажется, что первое, чего я достиг в Ярославле, — это именно успех для коммунизма, так сказать, абстрактный, теоретический. Я выступал здесь с многими лекциями и рефератами наполовину для рабочих, наполовину для интеллигенции.

Вторым делом было помочь товарищам наметить новую политику в духе решений VIII съезда и несколько сгладить острые углы их крайне ожесточенной политики.

Третьим — выполнить здесь, как выполнял и в Костроме, главную задачу наблюдения над мобилизацией и борьбы с дезертирами...

Между тем созрели новые события, которые огорчительнейшим образом отдалили мою поездку на Украину.

Прежде всего успехи Деникина и походы его к Саратову заставили ЦК принять решение по командированию меня в г. Саратов».

Деникин рвется на Москву. Представитель Реввоенсовета Луначарский организует отпор белогвардейцам в штабе Тульского укрепленного района. «Когда он спал — неизвестно, — рассказывается в неопубликованном письме участника событий В. Торопова. — Похудел. Его фигура мелькала повсюду».

Да Луначарский и не мог работать иначе — без отдачи всех сил, возможных и невозможных.

Осенью 1920 года он отправляется в знаменитый боевой рейд поезда «Октябрьская революция».

Специальные поезда, в том числе и «Октябрьская революция», везли на периферию агитационную литературу, а главное — боевое большевистское слово.

Едущие с поездом «Октябрьская революция», как и с агитационно-инструкторским составом «Имени Владимира Ильича Ленина», осуществляли самые разнообразные формы агитации: инструктировали местные советские органы власти, принимали жалобы на различные неправильные действия властей на местах, читали лекции, выступали с докладами, показывали кинофильмы,

Ленин придавал огромное значение работе таких поездов.

Луначарский совершал поездку вместе с председателем ВЦИК М. И. Калининым, наркомом здравоохранения Н. А. Семашко, М. С. Ольминским и другими видными деятелями партии и государства.

Бывший политический комиссар «Октябрьской революции», член КПСС с 1899 года П. Воеводин рассказывает, что «в народе о поезде «Октябрьская революция» так и говорили, что это «Совнарком на колесах» во главе с самим «всероссийским старостой» Калинычем.

И это было действительно справедливо! Даже, можно сказать, это было больше, чем только один Совнарком, и именно потому, что на поезде «Октябрьская революция» все вопросы разрешались представителями наркоматов, а в случае необходимости М. И. Калинин тут же, на месте принимал решения». Рейс поезда, в котором вместе с Калининым и Семашко принимал участие Луначарский, был особенно опасным — они ехали по прифронтовым губерниям, организуя отпор наступлению генерала Врангеля.

Люди, слушавшие Анатолия Васильевича, говорили о «магическом действии» его слов.

Когда П. Воеводин докладывал Ленину о поездке, тот «весьма

одобрительно оценил наши поездки... (рассказ П. Воеводина. — А. Е.) особенно посещение самых ответственных участков фронтов...»

Не успел Луначарский передохнуть, как его уже посылают в декабре 1920 года создавать крепкий партийный аппарат в охваченную кулацко-эсеровским мятежом Антонова Тамбовскую губернию. И снова поездки — на Украину и в Поволжье, на Урал и Кубань.

Сохранился редкий снимок. Май 1920 года. Ленин и Луначарский обходят строй одной из регулярных частей Красной Армии, отправляющейся на фронт. Луначарский — в полувоенной форме. У красноармейцев — скатки, новенькие винтовки. Одеты они в форму, это уже не первые боевые отряды 1918 года — регулярная часть с воинской выправкой и дисциплиной.

Широко шагает Ленин. Улыбается Луначарский. В создании армии нового типа и его труд.

Маленьким островком в море мятежей, контрреволюций и десантов иностранных интервентов стояла молодая республика.

И в самые трудные времена, в окопах, на разбитых снарядами площадях прифронтовых городов и сел появлялся человек в пенсне. Он говорил простуженным голосом, зябко кутался в шинель после митинга, а его уже ждали, нужно было ехать в соседнюю часть.

Да и Москва мало отличалась от фронта. Темная, голодная, настороженная, она, казалось, утратила свое величие и блеск, заполненная толпами людей с ненавидящими, горящими глазами.

Он идет по Тверскому бульвару, усталый, злой, измотанный. Хотя бы день передохнуть. Просто выспаться. Собраться с мыслями. Но когда? 1919 год! Кто жил в те времена, тот знает, что стоит за этими цифрами.

Народу становится все больше и больше. Идут группами по 5-10 человек. В основном молодежь. Ясно — туда же, куда и он, — в сад «Эрмитаж». Там проходит Московская губернская конференция комсомола.

Его сразу узнали. Первые хлопки перешли в гул. Он шел мимо рядов на трибуну. Строгий, подтянутый, в полувоенной форме. И глаза, глубоко спрятанные за стеклами пенсне, уже не выдавали усталости.

Председательствующий поднял руку, и зал стих.

— Слово для доклада «О текущем моменте» предоставляется Анатолию Васильевичу Луначарскому!

И снова гул, нарастающий, звонкий, высокий.

Он говорил.

Говорил с юностью молодого государства. Бархатистый голос его поднялся до твердых тонов. Он не делал никаких выводов. Он ни к чему не

призывал аудиторию. В призывах не было нужды. Комсомольцы уже были призванными. В комсомоле проходила в те дни начиная с 16-летних поголовная мобилизация в ряды защитников революции.

Среди делегатов конференции слушал наркома будущий молодой поэт комсомола Саша Жаров:

«Картина событий, нарисованная Луначарским, по яркости и глубине мысли воспринималась все же как призыв. Во время заключительной части его выступления невозможно было усидеть на месте. Стоя выслушивали на конференции последние, особенно чеканно произнесенные слова о том, что «можно в тяжелой борьбе на какое-то время отдать врагу отдельные села и города, можно отдать отдельные районы и губернии, но нельзя отдать, и мы не отдадим будущего, потому что на страже его стоит молодежь!»

В ответ вспыхнула овация, прерванная возгласом:

— Не отдадим!

И весь зал, скандируя, грянул:

— Не от-да-дим! Мы по-бе-дим!

Группа самых юных, и я в их числе, устремилась на сцену, неся, впереди себя «Прощение наркому Луначарскому», написанное во время его речи, — прошение о посылке на фронт нас, 15-летних, которые не подлежали мобилизации.

Анатолий Васильевич посмотрел бумагу, поглядел внимательно на нас и, тоже скандируя, заявил:

— От-ка-зять!..»

Откуда брались у него на все силы?..

Мы не вправе выделять поступки Луначарского из общей нормы жизни ленинской гвардии. Так жили и Ленин, и Боровский, и Ольминский, и Бонч-Бруевич, и тысячи и тысячи других солдат и командиров революции.

Но вдумайтесь, каким новым обликом предстала перед народом истинная русская интеллигенция. И когда мы вспоминаем Павлова у «буржуйки», Тимирязева, заочеченными пальцами листающего страницы новой рукописи, Луначарского, простуженным голосом в кабинете, напоминающем ледяной склеп, диктующего стенографистке статью о Шекспире, мы проникаемся гордостью и уважением к людям, защитившим в те грозные годы доброе имя русского интеллигента и противостоявшим огромной массе «бывших», считавших себя олицетворением духа России и погрязших в шепотках, стенаниях, проклятиях и маниловских мечтах о возвращении «добрых старых времен».

Рождалась интеллигенция нового типа, неотделимая от понятия

«советский». И в процессе рождения и становления ее роль и личный пример всей ленинской гвардии и Луначарского не переоценишь.

Позднее, в 1927 году, размышляя о том новом, что дал Октябрь лучшим сынам русской науки, культуры, искусства, литературы, Луначарский, естественно, не мог не связывать это новое с именем Ильича. Говоря о революционном подходе к явлениям эстетического порядка, к самому пониманию интеллигентности, он писал в предисловии к сборнику очерков Е. Зозули «Встречи», издаваемому «Огоньком»:

«Верно и то, что внутри Ленина горел сильный огонь этического порядка, что для него понятия справедливости и народного счастья были очень важными понятиями. Но он терпеть не мог фраз. Этический подход к проблемам революции казался ему само собой разумеющимся, разрешенным, и он не любил к нему возвращаться. Он любил делать дело» а не разговаривать о принципиальной значимости этого дела. Но что Ленин был человеком справедливого дела, был рыцарем справедливости, это, конечно, верно. Для широких масс обывателей, которым чужда музыка теоретического и практического коммунизма, очень важна оценка великой фигуры Ленина и как носителя нравственных норм. Он был в высокой мере носителем таких норм во всей своей личной жизни и общественной и государственной деятельности, во всей, так сказать, внутренней музыке его мирозерцания».

В этических нормах Октября понятие интеллигентность не мыслилось без главного составного — революционность, самоотреченность во имя решающего дела победы.

Луначарский не мог не сжигать себя на огромном внутреннем огне творческой, окрыленной работы: характер человека проявляется в трудных обстоятельствах, и совсем не случайно для нас слова «ленинская гвардия» связаны с представлениями о мужестве, полной отдаче делу сил, ума, таланта...

В ту же отчаянно жестокую зиму 1918–1919 годов появился в Наркомпросе и молодой политработник Лев Никулин — в будущем известный советский писатель.

Он удивленно оглядывался вокруг — работать здесь представлялось немыслимым: стены покрывали мерцающие кружева инея, люди ходили в перчатках, валенках, закутанные в шали, завернутые в нечто напоминающее тулупы или фантастического покроя старые пальто.

Кабинет парткома не представил в этом смысле исключения. Разве что хозяин его выглядел подтянутым в своем темно-синем френче, над левым карманом которого поблескивал красной эмалью флажок депутата ВЦИК.

Чтобы согреться, он расхаживал по комнате, время от времени беря бумаги из огромной горы депеш, посланий и справок, заваливших письменный стол.

Многие добивавшиеся приема у наркома слышали от секретарши:

— Товарищ Луначарский на заседании коллегии Наркомпроса.

— Товарищ нарком читает лекцию на курсах пропагандистов.

— Нарком выехал на Южный фронт.

— Анатолий Васильевич дописывает статью, освободится через полчаса. Подождите.

Голос секретаря звучал устало и односложно. Но она не «прятала» своего шефа от назойливых посетителей. Все, что она говорила, было чистейшей правдой.

Никулину предстояло в этом убедиться. Когда он с товарищами по полку появился в кабинете, Луначарский отвечал кому-то по телефону:

— Но как быть, дорогой товарищ, если я уже обещал конференции металлистов? Именно в этот день... Подождите, а вы можете перенести собрание или начать его на полчаса позже?... Отлично. Я сам скажу секретарю...

«У нас, — вспоминает Никулин, — с трудом поворачивался язык произнести, что именно в этот день необходимо, чтобы

Анатолий Васильевич выступил еще в пассажирском зале Курского вокзала, где провожают полк, отправляющийся на фронт.

— Надеемся, вы не откажетесь?

— В этом случае об отказе не может быть и речи. В котором часу?

И вот морозное утро, зал Курского вокзала полон красноармейцами в шинелях второго срока, с винтовками через плечо, а на возвышении — трибуне, составленной из буфетных столов, — Анатолий Васильевич. Он немного простужен, но голос его звучит хорошо, каждая фраза отточена, и вместе с тем Луначарский не упрощает свою мысль, не подлаживается под слушателей, среди которых много полуграмотных и даже совсем неграмотных. Он убедительно доказывает, что белогвардейцы несут с собой власть помещиков и капиталистов, он не скрывает о лишениях, которые по вине белогвардейцев и интервентов терпят рабочие и крестьяне. Да, не хватает топлива, по карточкам выдают осьмушку хлеба — и все-таки победит народ, рабочие и крестьяне! Он говорит о социализме, о нашем будущем, говорит ярко и увлекательно. И мы думаем: какой удивительный дар агитатора, пропагандиста отпущен этому человеку...»

Республика сражалась, и все, что касалось ее молодой армии, было для Луначарского «вне всяких программ и дел». И на многих и многих фронтах

гражданской в часы затишья слышалось:

— Товарищ нарком, а как сейчас в деревне?

— Анатолий Васильевич, как *т-щ* Ильич?

Одиночные выстрелы щелкали за ближайшим лесом, и, примостившись где-нибудь на бруствере окопа или на сваленной снарядом березе, он рассказывал и слушал, убеждал и разъяснял, вытирая время от времени платком повлажневшие стекла старенького, знакомого всем пенсне...

Звезды стынут в раннем весеннем небе. На Выборгской или Пресне медленно идут с гитарой рабочие парни. И тихо плывет над засыпающими окнами и домами песня:

И если вдруг когда-нибудь
Мне уберечься не удастся,
Какие б новые сраженья
Ни покачнули шар земной,
Я все равно паду на той,
На той далекой, на гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной...

Я вспоминаю тогда о комиссаре Луначарском...

НА ПЕРВЫХ ПЕРЕВАЛАХ

Это было при нас.

Это с нами вошло в поговорку...

Борис Пастернак

И вот все кончилось. Сброшен в море Врангель. На Тихом океане закончили свой поход сибирские дивизии и приамурские партизаны. Еще плелись паутины заговоров, выходил из-за кордона погулять по Украине батяня Махно, с амвонов церковью еще проклинали «безбожников», и западные газеты гадали: сколько недель продержатся большевики? Но уже задымили заводы, пошла первая сталь, на Волхове готовились осуществить ленинское «электрическое чудо». Люди в буденовках садились за парты.

Новая Россия торопилась. Опоздать или не успеть — значило погибнуть. Фронты гражданской сменились фронтами мирными. Только число их не убавилось, а в сутках по-прежнему оставалось только двадцать четыре часа.

I. „Атеистический шрифт“. Заботы и страдания митрополита Введенского

...Милиция едва сдерживает толпу,

А народ все валит и валит. На афишах аршинными буквами:

Сегодня состоится диспут

РЕЛИГИЯ И СОЦИАЛИЗМ

Докладчик — нарком просвещения **А. Луначарский.**

Оппонент — митрополит **А. Введенский.**

В большом зале не протолкнуться. Люди стоят на ступенях амфитеатра, толкуются за кулисами. Смех, перебранка, шутки, оскорбления — нарастающим гулом человеческого приборя шумит фойе.

И докладчика и оппонента все хорошо знают. Опытнейшие полемисты. Талантливейшие ораторы. Если бы зал мог вместить половину города, в нем не было бы пустых мест. О диспутах между Луначарским и Введенским ходили легенды, анекдоты. Не выступая против Советской власти в области политики, митрополит тем не менее оставался непримиримым в вопросах веры.

Гул смолкает — на сцене появился Луначарский. Он смотрит в зал

близорукими, лукавыми глазами, поднимает руку — словно сметает шум, и в зал летят первые то насмешливо-иронические, то убежденно-взволнованные слова:

— Мы берем сегодня коммунизм как определенное общественное движение и христианство — как христианское устройство праведного жития. Когда противопоставляют духовные блага материальному благосостоянию, то это пахнет тем, что нечего надеяться добиться на земле чего-нибудь хорошего...

И чем меньшую дозу введет гражданин Введенский в социализм от христианства, тем будет лучше, а если и совсем никакой дозы не введет, будет совсем хорошо...

В зале раздаются первые хлопки...

Но вот слово берет Введенский. Он начинает уверенно, с пафосом:

— Христианство, правильно понятое, не есть учение отжившее, но есть то учение, которым дышит сейчас, вот в эту минуту, вся аудитория... Христианство близко всем, как воздух. Христос, обращаясь к человеку, хотел, чтобы у человека была человеческая жизнь... В корне всех наших социальных страданий, социальных коллизий и трагедий лежит забвение нашей человеческой равноценности. Если Рокфеллер, по образному выражению Джека Лондона, может на завтрак заказать себе сотню бифштексов и улечься на ста постелях, когда другой не имеет корочки хлеба и угла, это лишь потому возможно, что Рокфеллер и Морган думают, что они — люди в сотой степени. Вот почему они могут лежать на ста постелях. В преувеличении достоинства отдельных человек, а отсюда и классов за счет забвения равноценностей, равнозначности людей, принадлежащих к иным классам, в забвении нашей человечности лежит источник всех социально-человеческих трагедий... Я полагаю, что принципиальный подход Христа к разрешению социальных драм является единственно возможным. И теперешний так называемый «марксизм» — это есть евангелие, перепечатанное атеистическим шрифтом. В самом деле, если все — братья, тогда нет социальных драм...

В зале шум, смех, крики. Часть публики аплодирует,

Введенский уверенно продолжает:

— Я категорически утверждаю, что старушка, надеявшаяся, что там, в небесной сберкассе, она получит по истрепанной жизненной книжке проценты, — эта старушка принадлежит к низам религиозного сознания: это еще не религия. И, убивая своим ружьем критики эту старушку с ее действительным суеверием, вы сердце религии не затрагиваете, потому что основой религиозного постижения действительно является чувство, но не

чувство меркантильное, коммерческое, не чувство расчета.

Иоанн Златоуст говорил о Христе и о бессмертии так: в евангелии сказано, что вечная жизнь ожидает того, кто любит Христа, но если бы мы, говорит Златоуст, знали, что за веру в Христа нас ожидает геенна огненная, бесконечная, мы должны были бы любить его нисколько не меньше. В этой фразе при самом финансовом ультрамикроскопе не найдете момента сберегательной кассы...

Основой религии является не чувство страха перед богом, а чувство любви к богу. Подобно музыканту, который, завороженный красотой музыки, отдает ей всю жизнь, терпя подчас трагедию экономики.

Походя митрополит бросает шпильку в адрес атеистов:

— Атеизм есть лишь упадок религиозного сознания, подобный близорукости, граничащей со слепотой.

В зале смеются. Несколько озадаченный Введенский цепляется за последние «аргументы», ругает Толстого, путает Христа с Лениным и социализм с христианством:

— Христос был величайший активист. Годами Ленин писал в Швейцарии зажегшие потом весь мир страницы. Было ли это ничегонеделанием, если Ленин фактически в своем кабинете не был вооружен бомбами и револьверами? Граждане, если бы не было ленинской агитации, то не было бы и осуществления ленинской диктатуры. Поэтому называть ничегонеделанием и непротивление Христа потому только, что он в первую очередь брал бич осуждения, было бы по меньшей мере несправедливо.

В речи священнослужителя звучат торжествующие нотки.

— Но Христос не только выступал с пламенным горячим словом, он выступал и как величайший активист в буквальном смысле этого слова... Вспомните Христа, входящего в храм с материальным бичом, изгоняющего торговцев и рассылающего монеты, осквернившие дом божий. Это активист в буквальном смысле этого слова. Вспомните угрозу страшного суда!..

Довольный произведенным впечатлением, под хлопки части зала Введенский садится.

Говорит Луначарский, говорит прежде всего о главном, от чего уходил митрополит, о социальных устремлениях христианства и социализма.

Нервно оглядывается Введенский. Луначарский обращается уже прямо к нему:

— Значит, Христос, по Введенскому, призывал к братской жизни. Гражданин Введенский говорил, что люди братья, надо прийти к выводу,

что неравенства, эксплуатации, борьбы между людьми не должно быть. Но она есть!..

Если Христос признал принципиально, что люди братья, а братья в это время таскали друг друга за бороды и эксплуатировали друг друга, то от этого бедняку ни тепло ни холодно. В идеале люди должны жить как братья, а они живут как волки. Введенский говорит, что требование братства между людьми у марксизма и христианства совпадает настолько, что сам марксизм кажется ему евангелием, перепечатанным атеистическим шрифтом. Введенскому показалось, что здесь только немножко иные слова.

Нет, здесь совсем не «немножко иные слова»! Поскольку бедноте всегда рисовалась идея равенства и мира, постольку она встречается у множества учителей. Но в том-то и сила марксизма, что вместо общих фраз он дает способы осуществления идеала и доказывает, что этот идеал не только осуществим, но и не может не быть осуществлен. Только марксизм сделал реально возможным то, что неуловимая мечта стала реальностью. Если это называется перепечатать евангелие атеистическим шрифтом, то я желал бы, чтобы все идеалы человечества были перепечатаны этим шрифтом, и предлагаю Введенскому приступить к этому.

Нас не удивит, — заявляет Луначарский, — никакой Златоуст, который писал, что даже в геенне огненной горящие не оставляют веры в Христа. Зачем же далеко ходить? Стоит копнуть любую историю, любой день наших революционных битв за эти восемь лет, чтобы видеть, как материалисты, которые ни в какую душу не верят и никакого бессмертия не ждут, которые говорят, что они борются за реальное счастье на земле, идут в передних рядах на верную смерть. Такая преданность идее не есть отрицание материализма, а совершенно естественное проявление героического боевого взлета человечества в его борьбе именно за такой строй жизни, который создал бы достойное человека существование для всех...

Страстно, яростно доказывает Луначарский, что, проповедуя свою мораль, религия отвлекает трудящихся от действенной борьбы за свое счастье, что униженные мольбы — «Господи, помилуй рабов твоих!», «Подай, господи» — еще никому никогда не помогали и не помогут.

Нарком говорит уверенно, взвешивая каждое слово:

— Мы твердо стоим на том, что нам говорит опыт, мы не обещаем даром никакого рая, но мы заявляем: царство справедливости, царство счастья может быть основано людьми путем согласования их сил в труде и борьбе.

Анатолий Васильевич перебивает аплодисменты:

— Философ Мах рассказывал, что эскимос, которому миссионер обещал бессмертие на том свете, спрашивал, будут ли бессмертны также души его собак и саней, а когда, миссионер отвечал, что нет, что собаки и сани умрут, он сказал: без них я не хочу и бессмертия.

В зале хохот, гром аплодисментов.

— Прошу тишины! — Луначарский подымает руку. — Мы считаем критику оружием. Но вместе с тем словами, как иерихонскими трубами, нельзя заставить пасть никакой Иерихон, Слова готовят почву для того, чтобы организовать силы угнетенных для дальнейшего натиска. Вспомним слова Ленина: «Тот является праздным болтуном, кто не заменяет оружие критикой и критику оружием, когда для этого оружия пробил час».

Еще никто не доказал, что Христос призывал в словесной агитации к борьбе. Но разве Толстой не боролся словом? Как же забыть такие моменты, когда этот старик во времена грозного самодержавия не мог молчать? Когда его проповеди разносились по всем уголкам мира! Это был дух воинствующий и нетерпимый.

Зал замер.

— Второе, — продолжает» Луначарский, — на что указал гражданин Введенский: Христос предсказывал страшный суд и мобилизовал не только силы земные, но и сшш небесные, космические, так сказать. Мобилизовал ли он силы земные?

Нет, фактически не мобилизовал. А когда ему предложили мобилизовать, то он сказал: «Нет». Вы помните Помпея, который говорил: «Мне стоит топнуть, и появятся легионы!» Ему сказали: «Топните же!» — но он не топнул, потому что и топни он — легионы все равно не появились бы. На это очень похоже звучат и приведенные слова из евангелия... Производит очень комическое впечатление это утверждение: «Если бы я захотел, то более десяти миллионов ангелов спустилось бы меня защищать». На это можно было бы сказать: «Захоти, господи». Но он не захотел.

В зале громовой хохот. Введенский ежится, вытирается платком и быстро что-то записывает.

Луначарский продолжает уже серьезно:

— Теперь третье. Введенский говорит: вы призываете к борьбе, к кровавой борьбе, а Христос пал жертвой такой борьбы. Он был распят. Но позвольте, мы призываем не к такой борьбе, где бы нас побеждали, а к такой, где мы были бы победителями!

Зал отвечает Луначарскому бурей аплодисментов. Введенский, этот

опытнейший полемист и оратор, заметно скисает.

А голос наркома поднимается до радостно-твердых тонов:

— Наш призыв к борьбе не есть призыв жертвенный. Мы идем на борьбу не как ягнята на заклание, а мы идем на борьбу как вооруженные борцы, с целью победить. Таким образом, доказательства действительной боевой действенности учения Христа, конечно, у Введенского не вышло. В евангелии нет никакой надежды, кроме как на мистические сны.

Гражданин Введенский сказал, что все мы дышим христианством. Но в том-то и дело, что дышит христианством и неаполитанский вор, который перед грабежом молится Мадонне, дышит христианством и тот купчина, который ставит за удачно сделанное дело, дышит христианством и папа Лев XIII, и патриарх необновленской церкви, которую так недолгоблывает Введенский. Каждый борется с другим, один ненавидит другого, а воздух есть воздух.

Атмосфера в зале накаляется. Выскакивает сектант, некто Гуляев.

— Дайте нам покой!

Луначарский:

— Не дадим и не хотим давать вам покоя. Мы здесь для того, чтобы будить вашу мысль и энергию.

Гуляев:

— Христос дает покой, а вы нет! Луначарский парирует:

— Усыпительные средства тоже дают покой. Мы не сонные порошки.

Кстати, это Христос сказал: «Не мир принес я вам, а меч». Какой уж тут покой!

Луначарский на живых фактах истории доказывает, что религия стремится внушить людям идею о бренности бытия, бесполезности борьбы за счастье на земле, равнодушие и наивность. В награду она обещает «царство небесное».

Не трудно догадаться, кому служат такие идеи, отвлекающие и уводящие массы от революционной борьбы.

Эксплуататорам.

Реакции.

Денежному мешку.

— Гражданин Введенский, — говорил Анатолий Васильевич, — распространялся перед нами относительно того, что Христос всячески уклонялся от решения политических и экономических задач и даже обзывал своих учеников нехорошими словами. Христос говорил и пророчествовал. Разделили ли богатые свое имущество? Стали ли бедные богаче?

Нет, никакой перемены после того, как Христос согласно легенде жил, страдал и т. д., не произошло. Богатый остался богатым. Бедный остался бедным. Только сейчас начинается последний решительный бой под знаменем марксизма, а знамя христианства до сих пор не изменило ни хода экономики, ни хода политики!..

Зал побежден. Побежден логикой, точным научным знанием, талантом.

Введенский берет на вооружение шутку, казуистический экспромт:

— В евангелии нет противоречий, а есть субъективность восприятия писавших его апостолов. Евангелие божественно по своему духу, а не по букве. Субъективизм свидетельских показаний неизбежен.

— Если бог всемогущ, — возражает Луначарский, — то почему же он не мог создать к учению Христа таких комментариев, чтобы нам с Введенским не пришлось спорить?

Хохот в зале.

В другом случае Введенский «подпускает шпильку»:

— Вот вы, безбожники, говорите, что произошли от обезьяны, а мы, верующие, утверждаем, что происходим от бога. Ну что ж, каждому его родственники лучше известны.

В зале смех.

Луначарский спокойно парирует:

— Отлично. Мы произошли от обезьяны. Глядя на нас, вы не можете отрицать, что по сравнению с обезьяной мы достигли огромного прогресса. А вы, протоиерей Введенский, рядом с вашим богом, вас будто бы породившим, богом всемогущим, всесильным, всезнающим, — какое жалкое зрелище вы являете!..

Голос Луначарского тонет в грохоте аплодисментов.

Подчас Введенский пытается использовать ошибки Луначарского периода его увлечения богостроительством. Как вспоминает Корней Чуковский, Введенский на одном из публичных диспутов с Луначарским, прочитав вслух несколько «богоискательных» строк из одной старой книги Луначарского, обратился к аудитории с вопросом:

— Знаете ли вы, кто написал эти благочестивые строки? И, выдержав эффектную паузу, ответил:

— Нарком Луначарский.

Луначарский возразил ему не сразу. Он долго говорил о другом и, лишь сходя с трибуны, заметил:

— Ах да. Я совсем позабыл ответить моему оппоненту... вот о тех строках, которые он сейчас процитировал. Строки эти действительно были

написаны мною. Помню, прочтя их, Владимир Ильич сказал: «Как вам не совестно, Анатолий Васильевич, писать такую чушь! Ведь за нее всякий поганый попик схватится...»

Ничего не скажешь! Велики были страдания и заботы митрополита Введенского!

Шел страстный, непримиримый бой с чуждой марксизму идеологией. Бой, в котором Луначарский был на самой передовой, нанося и принимая удары, как испытанный солдат партии.

II. „Билеты в продолжение полутора лет не продавались...”

Премьера.

Расин — «Федра»... У завьюженного театрального подъезда останавливаются двое. Недоверчиво разглядывают афишу. — «Федра»! Или это мне снится?!

— Как же они ее будут играть? Зал промерз — там только белые медведи выдержат...

— Все равно здорово. Как вспомнишь Анну Павлову, Ермолову — как давно, кажется, все это было... Сверкающие люстры, вежливые капельдинеры, музыка...

Она действительно казалась сказкой, «Федра», в голодной, замерзающей Москве.

Но сказка была явью. Театры вновь раскрывали двери.

И Луначарский многое, очень многое сделал, чтобы такое случилось.

Сближение репертуара театра с современностью, борьба за утверждение реалистических принципов в искусстве, против формализма и декадентщины, отстаивание правильной партийной линии в искусстве — все это составляло будни народного комиссара по просвещению...

«Грянула Октябрьская революция, — писал К. Станиславский. — Спектакли были объявлены бесплатными, билеты в продолжение полутора лет не продавались, а рассылались по учреждениям и фабрикам, и мы встретились лицом к лицу... с совершенно новыми для нас зрителями».

На первых театральных афишах появились объявления о премьерах. Камерный театр давал «Федру» Расина, театр РСФСР I — «Зори» Верхарна, театр для детей — «Маугли». Вахтангов ставил в Третьей студии МХАТа «Принцессу Турандот».

При ближайшей поддержке Луначарского возникали новые коллективы — Театр Революции (ныне театр имени В. Маяковского), Третья студия МХАТа (театр имени Евгения Вахтангова), театр имени МГСПС (ныне театр имени Моссовета), Большой драматический театр в Ленинграде и другие.

«Анатолий Васильевич, — вспоминал Н. Семашко, — старался поддержать и организовать искусство в самых разнообразных формах — от академических театров до самодеятельных рабочих кружков. Юные музыканты и певцы находились под его непосредственным наблюдением, я часто получал записочки Анатолия Васильевича, в которых он просил меня, как наркома здравоохранения, помочь тем или другим различным «юным дарованиям».

По-новому вставляли проблемы развития театра.

Еще 26 августа 1919 года за подписями председателя Совнаркома В. И. Ульянова (Ленина) и наркома по просвещению А. В. Луначарского был обнародован декрет об объединении всех театральных организаций и театрального дела. Во главе вновь образованного Центрального театрального комитета (Центротheater) становится Луначарский. Он строит новое искусство под руководством В. И. Ленина.

Анатолий Васильевич рассказывает, как еще в 1918 году началась атака пролеткультовцев на Александрийский театр: «Лично я был близок к Пролеткульту, и в конце концов меня несколько смутили настойчивые требования покончить с «гнездом реакционного искусства».

Я решил спросить совета у самого Владимира Ильича...

Я сказал ему, что полагаю применить все усилия для того, чтобы сохранить все лучшие театры страны. К этому я прибавил: «Пока, конечно, репертуар их стар, но от всякой грязи мы его тотчас же почистим. Публика, и притом именно пролетарская, ходит туда охотно. Как эта публика, так и само время заставят даже самые консервативные театры постепенно измениться. Думаю, что это изменение произойдет относительно скоро. Вносить здесь прямую ломку я считаю опасным: у нас в этой области ничего взамен еще нет. И то новое, что будет расти, пожалуй, потеряет культурную нить. Ведь нельзя же, считаясь с тем, что музыка недалекого будущего после победы революции сделается пролетарской и социалистической, — ведь нельзя же полагать, что можно закрыть консерватории и музыкальные училища и сжечь старые, «феодално-буржуазные» инструменты и ноты».

Владимир Ильич внимательно выслушал меня и ответил, чтобы я держался именно этой линии, только не забывал бы поддерживать и то новое, что родится под влиянием революции.

«Значит, резюмируем так, — сказал я, — все более или менее добропорядочное в старом искусстве — охранять. Я думаю, что это довольно точная формула».

Луначарский резко выступил против левацких загибов людей,

требовавших разрушить всю культуру прошлого, отказывавшихся от традиций демократического искусства предшествовавших эпох. Анатолий Васильевич пишет статью «Для чего мы сохраняем Большой театр?», где подчеркивает огромные заслуги коллектива этого театра в формировании демократических передовых идей русской национальной культуры. Именно в связи с отстаиванием этих традиций, принятых на вооружение пролетариатом, реакцией на демагогию «левых» родился известный лозунг Луначарского «назад к Островскому». Именно в связи с этим нарком просвещения активно поддерживал Художественный и Малый театры, проводившие принцип реалистического изображения жизни.

Некоторые товарищи, вспоминал Луначарский, «и совсем не пролеткультовцы», тоже «весьма неодобрительно» относились к его политике в отношении МХАТа, полагая, что «с Художественным театром не следует идти ни на какое оппортунистическое примирение». Нарком же отстаивал иную точку зрения: «Пролетарский театр должен начинать скорей всего с техники Малого театра, как музыку он начнет скорей с подражания Бетховену, живопись — с подражания великим мастерам Возрождения, скульптуру — от эллинской традиции и т. п.». И в другом месте: «Нам придется завязать главный узел нашей культуры непосредственно там, где обрывается короткое и светлое утро буржуазии революционной. Там стоят великаны Гегели, великаны Гёте и ждут своих настоящих продолжателей...»

Отстаивая реализм в искусстве Луначарский исходил из эстетических потребностей и вкусов нового зрителя. Уже для тех лет было характерно, что посещаемость, например, Малого и Художественного театров была неизмеримо выше посещаемости театров, придерживавшихся декадентских традиций. В связи с этим А. В. Луначарский замечал: «Посмотрите, что больше всего имеет успех у пролетариев. Вкусы у них верные: правда, их часто развращают всякими фарсами или дребеденью, в которой бездарные писаки подлаживаются к митинговому жаргону, но стоит только пролетариату увидеть классическую трагедию, или комедию, или прекрасную оперу, чтобы он сразу чувствовал всю разницу».

Все это не могло не сказаться на развитии театральной культуры в стране. В 1920 году, например, по данным Луначарского, только в Москве и районах области функционировало 95 театров. Анализируя сезон 1925–1926 годов, нарком мог отметить: «Потребность в театральном реализме выявилась».

Нормальная театральная жизнь наладилась далеко не сразу. Трудную и сложную борьбу пришлось выдержать Анатолию Васильевичу.

Борьба эта началась буквально с первых дней установления новой власти. Порой случались истории, напоминающие детективный роман.

Так, 12 декабря 1917 года Ленин и Луначарский подписывают «Распоряжение по Ведомству государственных театров» об увольнении специального уполномоченного по заведованию государственными театрами Петрограда, убежденного кадета, профессора Ф. Д. Батюшкова. Он встал на путь организации активного саботажа.

В Мариинском театре (ныне театр имени С. М. Кирова) спектакли срывались. Дело дошло до забастовки хора и оркестра. «Рост группы, ставшей на сторону Советской власти и желавшей наладить как можно скорее работу театра, сопровождался всяческими стычками с консерваторами... Я вынужден был подписать постановление о немедленном увольнении всех забастовавших», — вспоминал Луначарский.

Батюшков отказался считаться с распоряжениями и советами наркома. Он послал в газету настоящее объявление войны. Писал о Советской власти как о власти насильственной диктатуры.

Луначарский ответил ему публично же, в газете. Переговоры ни к чему не привели, и Батюшкова пришлось сместить. Одновременно, как говорил Анатолий Васильевич, шла борьба «за овладение живыми симпатиями актеров».

Но саботаж не прекращался. Директор «Мариинки» Зилотти вел себя по отношению к новой власти развязно, нагло и провокационно, срывал постановки, саботировал решения Наркомпроса. Совнарком решает «арестовать Зилотти и не освобождать его без согласия А. В. Луначарского». Арест этот был скорее символическим: через несколько дней Зилотти освободили. Но эта резкая мера в чем-то и помогла. Стал осторожнее действовать и дирижер театра Альберт Коутс, который ранее категорически заявил: «Если народный комиссар Луначарский войдет в Мариинский театр, я немедленно кладу свою дирижерскую палочку и прекращаю работу...»

Вначале борьба шла, что называется, «с переменным успехом», но вскоре доводы Луначарского и его коллег по Наркомпросу изменили настроение основной актерской массы.

Удалось организовать комитет театра. «Вера в правильность линии Советской власти, — вспоминал Луначарский, — в полную возможность существовать и работать под ее руководством... общая эволюция политических событий — привели к тому, что правые оказались в незначительном меньшинстве и были наголову разбиты».

Сложно складывалось положение и в Александрийском театре.

Луначарский как будто заново перешивал те дни, когда писал позднее статью «На советские рельсы», предназначавшуюся для юбилейной книги «Столетие Александрийского театра». Анатолий Васильевич начал работу, но поездка в Турцию и Грецию отодвинула ее на второй план. Статья, оставшись ненапечатанной, долгое время хранилась в Центральном партийном архиве, пока ее не опубликовал недавно В. Зельдович. Луначарский в статье рассказывает: «В Александрийском театре... имела немалая группа, к которой принадлежали некоторые крупнейшие артисты и которую поддерживали, к тому же, все чиновники конторы, группа явно консервативная, проникнутая самыми грубыми религиозными убеждениями, преданностью низвергнутому еще в феврале режиму... Она была настолько многочисленной и влиятельной благодаря талантливости отдельных своих представителей, что просто отсечь ее было абсолютно невозможно. Это значило бы убить театр, и я подобный жест считал безрассудным».

Это было написано позднее, а пока Луначарский работает над радикальным переустройством театрального дела. Ежедневно назначает двухчасовой прием специально по театральным делам.

Луначарский и история советского театра — понятия неразделимые. «С детских пор и по сию пору я лично и непосредственно любил театр и поэтому, конечно, посвящал ему немало внимания, — писал он, — изучал непосредственно сцену, театральную литературу, историю драматургии и т. д.

Когда мне пришлось в течение нескольких лет руководить делом просвещения первой социалистической республики; меня даже упрекали, будто я слишком большое внимание уделял театру. В свое время я считал возможным соединить общее руководство Наркомпросом со специальным заведованием театральным делом. Позднее пришлось убедиться в больших неудобствах такого соединения. Но во всяком случае и после этого я оставался близок к проблемам театра».

Работы Луначарского о театре (более тысячи названий) еще плохо изучены. В малоизвестной стенограмме лекции Луначарского 17 июня 1930 года он объясняет, чем, по его мнению, был важен театр с первых дней Октября: «...Когда пришла пролетарская революция, нахлынула колоссальная волна чувств, появилось новое мирозерцание, стал рождаться в страшных классовых столкновениях новый человек, и поэтому сразу получился гигантский классовый заказ на театр, заказ подлинно новый, потому что только пролетариат был новым классом и был таким заказчиком, который говорил: проникнись моими мыслями и моими

чувствами, создай такие формы, которые подходили бы для того, чтобы ярко выражать мои чувства и мысли, и будь моим помощником, учителем жизни от моего имени для того, чтобы мне самому в моем классе добродетель укрепить, для того, чтобы осуждать смехом врага и привлекать тех, на кого я хочу иметь влияние...»

И далее:

«Все эти стороны театра, его синтетичность, его событийность, крайнее напряжение, действенность его и массовость зрителя — это все имеет чрезвычайно важное значение... Все эти стороны сделали из театра искусство глубоковыдающееся, имеющее свое первостепенное место в мире остальных искусств».

Вся переписка Луначарского той поры полна заботы о развитии театрального дела. 4 июня 1921 года он пишет Дзержинскому о В. В. Фомине — заместителе народного комиссара путей сообщения: «У меня был разговор с Лениным относительно того, как быть с актерами разных ценных театров, которые, сколько ни распространяют слухов об их процветании, на самом деле очень устали и наголодались за эту зиму. Вы знаете, что в связи с этим возник и вопрос об отпуске 1-й студии за границу, который главным образом благодаря Вашему воздействию провалился. Владимир Ильич тогда категорически заявил мне, что можно отправить группы в провинцию что будет полезно для нее и для них. Главным образом, сказал он, направляйте их в хлебные места и буквально прибавил: «Позаботьтесь, чтобы им не было отказано в передвижении». И, несмотря на это, на первую же просьбу, когда я обратился к т. Фомину, я получил отказ. Я просил дать вагон Московской студии Малого театра... Решительно все сделано, все формальности выполнены, дело только за вагоном.

Тов. Фомин на моей просьбе написал: «В вагоне отказать и предоставить проехать в пассажирском поезде». Очевидно, т. Фомин совершенно не понимает, что значит поездка актеров. они должны везти кучу костюмов, некоторое количество бутафории и всякие сценические аксессуары... И я очень прошу Вас объяснить тов. Фомину, что он ставит меня в крайне неловкое положение. Ласковые слова Владимира Ильича о том, чтобы артисты обогрелись и подкормились бы за лето, были мною артистам переданы и при первом же случае я стукаюсь лбом о категорический отказ. Надеюсь, что Вы мне окажете эту услугу и в деликатной форме настаите на том, чтобы т. Фомин пересмотрел это решение».

С пометкой «Спешно в собственные руки» 10 октября 1922 года на

стол Владимира Ильича лег документ:

«В Петрограде получены сведения о снятии с госсубсидии бывш. Мариинского театра.

Петроградский губернский комитет РКП(б), Петроградский губ исполком и Петроградский губпрофсовет находят, что за 5 лет бывш. Мариинский театр, отдававший 50 % своей работы рабочим фабрик и заводов и предоставивший им за последний сезон 1921 г.- 1922 г. 195480 посещений, что посылая также своих артистов на фронты гражданской войны для культпросветительной работы, заслуживает теперь сохранения и поддержки со стороны государства. Работники акад. театров сохранили строгую академическую школу, помогли Советской республике сохранить в неприкосновенности не только колоссальное имущество ак. театров, имеющее громадную материальную ценность, но и лучшие достижения мирового искусства...

На основании всего вышеизложенного настоящим ходатайствуем о сохранении гос. субсидии всем академическим театрам Петрограда и в том числе бывш. Мариинскому, тем более что дефицит, который дает Мариинский театр, в сравнении с заданиями, им выполняемыми, сравнительно невелик...».

С помощью Ленина известный всему миру театр — сама история нашего искусства-был сохранен...

Почти так же решалась и судьба Большого театра... Да и не его одного... Не раз приходил Луначарский своим друзьям в трудные минуты на помощь. Ярко высвечиваются кадры театральных битв тех лет:

Луначарский:

— Я знаю многих интеллигентов и рабочих — коммунистов, советских людей, которые говорили: надо поддержать Мейерхольда, Мейерхольд вступил на путь сотрудничества с революцией, он стал членом нашей партии. Но я знаю и других, которые категорически требовали закрыть театр, говорили, что это величайший скандал, что это гаерство, несомненная подделка и т. д., и таких немало. Я мог бы назвать тех и других по фамилиям.

Маяковский:

— Назовите. Луначарский:

— Этого я не сделаю, потому что тогда товарищ Маяковский страшной местью обрушится на них, я боюсь назвать их в присутствии такого рыкающего льва.

В зале хохочут.

Идут прения по докладу Луначарского «Театральная политика

Советской власти...».

Кто знаком с творческой и гражданской судьбой Мейерхольда, поймет, что означала для него такая поддержка...

Луначарский всячески способствовал продвижению театрального искусства в самые широкие массы трудящихся. развитию творческой самодеятельности. При его ближайшем участии еще в 1918 году в Красной Армии были созданы первые передвижные театральные труппы. Уже через два года в армии было около тысячи театров и столько же самодеятельных кружков.

«Академические» доселе коллективы выезжают на фронт, на заводы и фабрики. Часть труппы Александрийского театра дала спектакли на фронте и в Кронштадте. Режиссер государственной драмы едет в Киевскую губернию для организации крестьянских трупп на местах.

Вихрь революционных преобразований захватил лучшую часть актеров. «...Мне надо, — говорил тогда К. Мерджанов, — чтобы после того, как актеры двинутся к рампе, зрители двинулись бы на фронт». Искусство прочно входило в жизнь масс.

Мастерам отдавала новая власть все, что могла, в те грозные годы. И если эта власть не имела подчас даже самых необходимых материальных ресурсов, она щедро, невиданно щедро дарила душевное тепло и поддержку.

2 мая 1920 года общественность Москвы отметила пятидесятилетие сценической, деятельности великой русской актрисы М. Н. Ермоловой. А. В. Луначарский писал по этому поводу: «Я счастлив от имени всего Советского правительства преподнести вам в этот торжественный для вас и дорогой нам день звание Российской Народной артистки...»

Можно рассказать о многих судьбах актеров, на которых так или иначе сказалось огромное влияние Луначарского. Несколько штрихов.

Луначарский понимал, что, начиная новое театральное строительство, нужно прежде всего договориться с А. И. Южиным — славой русской сцены, непререкаемым авторитетом в театральном мире, с 1909 года управляющим труппой Малого театра. Еще Временным правительством Южин назначается комиссаром по управлению московскими государственными театрами.

Южин наивно верил тогда в созыв Учредительного собрания и в октябре попросту растерялся. Но принял правильное решение, поддержанное всей труппой Малого: что бы там ни было, а театр должен функционировать — это деятельность для народа,

21 января 1917 года спектаклем «Горе от ума» началась

послеоктябрьская история Малого театра. Южин провозгласил автономную независимость театра от всего происходящего вокруг.

Здесь-то Луначарский и нашел «первое звено» для начала разговора: он сам поддерживал автономию театров. С иной, конечно, чем Южин, позиции: «Я выбрал именно этот путь провозглашения известной автономии театров — они ведь всегда страдали от засилия чиновников, и перспектива артистического самоуправления им до крайности польстила».

Южин шел на переговоры с некоторым сомнением и опаской: «...он был невероятно осторожен, словно ступая по льду, заподозревая подвох чуть ли не в каждом параграфе, — рассказывает Луначарский о своей первой беседе с Южиным, — ему все казалось, что его свяжут какими-то условиями, которые он сам подпишет и которые потом должен будет свято блюсти, но которые уронят театр, позволят сделать из него какое-то низменное, в глазах Южина, то есть антихудожественное, употребление. Поэтому приходилось объяснять, возвращаться вновь к нашим принципам, нашим взглядам на вещи и нашему учению о культурной революции и ее путях, вслед за совершением революции политической. С другой стороны, я хотел резко отметить, что театры обязуются руководиться директивами правительства, что они становятся советскими театрами, и поэтому в формах, достаточно вежливых, приходилось настаивать на некоторых наших глоссах и примечаниях, не оставлявших сомнений в силе Советской власти над художественной жизнью страны, власти спокойной, культурной, осторожной...

Моя тактика заключалась в том, чтобы как можно скорее убедить лучших работников искусства в глубоком желании нашем сохранить лучшее достояние прошлого».

Союз был заключен.

Союз, переросший в большую дружбу.

В Центральном литературном архиве сохранились карандашные записи, сделанные Южиным в своем блокноте во время одного из выступлений Луначарского на диспуте (1920 г.). Здесь с двумя основными докладами выступили руководители двух противоположных лагерей: «сам» А. И. Южин — признанный вождь академизма и глава «Театрального Октября» В. Мейерхольд. Разгорелась ожесточенная дискуссия о будущем советского театра. Записи, сделанные Южиным во время выступления Луначарского, а также то, что он тщательно их берег, свидетельствуют о большом его интересе к мыслям наркома. «Мозг и сердце пролетарского театра — глубокое пролетарское, коммунистическое просвещение и воспитание всех занимающихся строительством. Его мастерство же и

форма — только платье пролетарского театра». "Пусть растет и зреет пролетарская литература, пусть она учит рабочий класс быть тем, к чему предназначила его история: бойцом и разрушителем только по внешней необходимости, творцом по всей своей природе". «Музыка будет пролетарской постольку, поскольку она будет отражать мир мыслей, чувств и стремлений коммунистического пролетариата».

Шли годы...

В январе 1926 года А. И. Южин после долгого перерыва выступил в Малом. Это был необыкновенный триумф великого артиста.

Луначарский болеет. Но он не может удержаться, чтобы не написать большое письмо:

«Дорогой Александр Иванович, или лучше, если Вы позволите, дорогой друг... Мы встретились с Вами при чрезвычайно многозначительных исторических обстоятельствах дела и разных пунктах политического горизонта, хотя, конечно, далеко не на противоположных позициях. Мы научились уважать и любить друг друга. Вашу роль в советском театре я считаю глубоко положительной и значительной. Я рад констатировать, что Вас любит вся Москва, а за нею и вся Россия. Я рад, что Вы, будучи самым популярным человеком среди актерства и среди широкой публики, пользуетесь неизменным уважением среди нашей партии и нашего правительства. Я от всей души желаю Вам долгих лет дальнейшей артистической культурной работы и льщу себя надеждой, что в этой работе мы неоднократно еще окажемся сотрудниками. Горячий привет Вам. Нарком по просвещению А. Луначарский».

И вот Южина не стало.

Листаю в Центральном литературном архиве стенограмму выступления Луначарского на траурном вечере, посвященном памяти Южина в Малом театре:

«...мы были... друзьями, нас жизнь свела и спаяла достаточно тесно...»

Так прошли по жизни два человека, понявшие и оценившие друг друга во имя самого большого счастья на земле — вдохновенного творчества.

III. „Шкрабы" и черемуха

«Мне просто хотелось отдохнуть. Подумать, помечтать с пером в руке над бумагой. В окно лезет черемуха, я должен думать — откуда достать парты... Нет, не парты — хоть что-нибудь...»

«Тогда сомнений было столько же, сколько вопросов...»

Иногда он шел с ними к Ильичу...

Однажды Луначарский прочел Ленину по телефону очень тревожную

телеграмму, в которой говорилось о тяжелом положении учительства где-то в северо-западных губерниях. Телеграмма кончалась так: «Шкрабы голодают».

— Кто, кто? — спросил Ленин.

— Шкрабы, — Луначарский смутился. — Так школьных работников иногда называют. Сокращенно...

— А я думал, это какие-нибудь крабы в каком-нибудь аквариуме. Что за безобразие назвать таким отвратительным словом учителя! У него есть почетное название — народный учитель. Оно и должно быть за ним сохранено, — с неудовольствием ответил Ильич.

— Надо сделать само учительство, самое просвещенскую массу проводниками не только общей культуры, но и наших коммунистических идей в самую глубину деревни, не говоря уже о городе, — говорил Ленин Луначарскому. — Дифференцируйте их, выбирайте тех, которые поактивнее, помогайте им выдвинуться, постоянно заботьтесь о нормальном выдвижении учителей на руководящие посты, делайте своей опорой активных, наиболее интеллигентных работников школы. Пусть они организуют потом и других. Привлекайте их, вводите их в наш аппарат вплоть до Коллегии Наркомпроса. Конечно, среди всякого рода специалистов и учительства имеются черносотенные, эсеровские и меньшевистские течения. С ними надо бороться, подчас беспощадно. Но многих тут можно переубедить. За нас — правильность наших идей и наша победа. Надо вырвать из-под враждебного влияния колеблющихся учителей. Это относится и к специалистам других областей.

Нарком всегда помнил и постоянно приводил в беседах и докладах замечательные слова из статьи «Странички из дневника», написанной Лениным в январе 1923 года между двумя болезнями. «Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе. Это — истина, не требующая доказательств. К этому положению дел мы должны идти систематической, неуклонной, настойчивой работой и над его духовным подъемом, и над его всесторонней подготовкой к его действительно высокому званию, и, главное, главное и главное, — над поднятием его материального положения».

Для Луначарского и не могло быть иных форм, отношений с народным учительством, работниками фронта просвещения.

Секретарь Анатолия Васильевича В. Д. Зельдович рассказывает, как однажды он пришел с Луначарским в детский сад. Работники наперебой старались все показать и объяснить своему народному комиссару. Было

шумно и весело. Проходя через общую комнату для игр, Зельдович поймал быстрый взгляд Луначарского. Он смотрел на маленькую девушку, молчаливо и безучастно стоявшую в стороне от воспитателей и ребят. Чувствовалось, что у нее какое-то горе.

— Вы работников этого сада знаете? — спросил Анатолий Васильевич присутствовавшего здесь же заведующего отделом народного образования.

— Хорошо знаю — это наш лучший детский сад, и коллектив замечательный.

— А эту девушку?

— Ах, эту? Почти что решен вопрос об ее отчислении.

— Почему? Она плохой работник? Педагог? Ее не любят ребята?

— Да, мы ее работой не удовлетворены. У нее были опоздания на работу. Она замкнутый человек. Держится в стороне от коллектива. Что касается ребят, то, как ни странно, они к ней так и льнут, но отношения, которые она с ними установила, непедagogичны. Она настолько говорит с ними как с равными, что эта фамильярность снижает роль педагога. Ее много раз об этом предупреждали, но то ли это до нее не доходит, то ли она из упрямства продолжает свое. Сколько раз мы ее — да еще как — критиковали.

Луначарского ответ не удовлетворил. В этот момент в самом центре детского карнавала один мальчик сшиб другого и, несмотря на уговоры и окрики педагогов, их никак нельзя было расцепить.

Девушка, которую собирались уволить, подошла к малышу и что-то сказала. Тот сейчас же оставил свою жертву и залился слезами. Она погладила его по головке и вновь что-то сказала. Глаза малыша заблестели, он рассмеялся; она подвела его к хороводу, и через минуту он мирно играл со своим недавним «врагом».

— Какой вы молодец, — громко сказал Луначарский, — как хорошо, что ребята вас так слушаются. Откройте нам ваш секрет.

— Их просто надо любить, — произнесла смущенно девушка. — Ребята непосредственны и настоящую любовь понимают.

— У вас есть семья?

— Отец мой погиб в гражданскую войну на фронте. Осталась нетрудоспособная мать и два маленьких брата. Мне нужно и за ними ухаживать, их содержать, и здесь работать...

— А здесь об этом знают?

— Меня об этом никто не спрашивал, — грустно сказала девушка.

— Как так? — изумился Луначарский. Окружающие смущенно молчали. Луначарский отошел в сторону с заведующим отделом народного

образования, что-то его спросил и, обращаясь к девушке, сказал:

— Разрешите мне пожать вашу руку, товарищ. Вы настоящий хороший работник и, надеюсь, будете еще лучше.

Девушка улыбнулась, протянула наркому руку и убежала в соседнюю комнату. Луначарский тоже был взволнован.

— Похвала растит человека и заставляет его делать иногда чудеса, выпрямляет его, делает его стойким, — говорил потом Луначарский. — Такой подход должен быть не только по отношению к учащимся, ко и по отношению к человеку вообще. Решать все, обобщая, нельзя. Человек — очень сложный механизм и требует индивидуального подхода.

Щедро делился Луначарский со своими коллегами прекрасными мыслями о новом человеке. «Педагогический процесс — это тоже трудовой процесс, и поэтому надо знать, к чему ты идешь и что ты хочешь сделать из своего материала, — повторял он. — Если золотых дел мастер испортит золото, золото можно перелить. Если портятся драгоценные камни, они идут на брак, но и самый большой бриллиант не может быть оценен в наших глазах дороже, чем родившийся человек. Порча человека есть или огромное преступление, или огромная без вины вина. Над этим материалом нужно работать четко, заранее определив, что ты хочешь сделать из него.

Какого мы человека хотим создать? Великие идеалисты в области педагогики, которые были в известной мере нашими предшественниками и с которыми, в конечном идеале, мы близко соприкасаемся, ставили задачу воспитания в такой форме: нужно создать гармонического человека, вырабатывать из ребенка борца, личность».

Луначарский посещает школы, беседует с учителями, выступает на открытии курсов инструкторов по внешкольному образованию, на Первом Всероссийском съезде по внешкольному образованию, в секции Наркомпроса при Свердловском университете, на бесчисленных конференциях, и все эти выступления — живая, плодотворная работа, намечающая пути строительства новой школы, страсть, поиск. Как говорил он сам, в своей педагогической деятельности он исходил из основной «формулы Владимира Ильича» — «учиться работая и работать учась, воспитывая себя».

Основываясь на положениях ленинской программы РКЩб), разрабатывали стройную систему нового воспитания. Необходимо было эстетическое образование тесно связать с техническим и физическим. Цель определялась Наркомпросом в инструкции- «эстетическое воспитание в единой трудовой школе»: «Эстетическое воспитание даст умение жить здоровой и сильной творческой жизнью. Такое назначение эстетического

воспитания делает его необходимой частью нашей новой, трудовой школы. Не художниками и не эстетамы должны сделать детей в общеобразовательной школе, но сильными, полно живущими и полно ощущающими жизнь людьми».

При участии и под руководством Луначарского разрабатываются первые советские программы.

Изучавшая их специально исследовательница Я. Роткевич установила, что созданию первых государственных программ 1921 года непосредственно предшествовало обсуждение этого вопроса в Наркомпросе. На экстренном заседании коллегии Народного комиссариата по просвещению 28 июня 1920 года Луначарский выступил с докладом «О задачах отдела Единой трудовой школы в предстоящем учебном году». Основной пафос его доклада — защита образовательных и воспитательных задач школы. Обосновывая принцип политехнического образования, считая необходимым, чтобы учащимся были разъяснены «черты общего индустриального уклада», чтобы им была предоставлена возможность «проработать некоторое время на фабрике», Луначарский вместе с тем решительно отвергал «левацкие» попытки ликвидировать систематическое обучение в школе. «Усвоение учебного предмета, — утверждал он, — должно идти соответственно учебным планам. И каждый раз надо искать, при помощи каких методов активного преподавания, каких активных иллюстраций, пробуждающих и развивающих эти методы, должно происходить это усвоение знаний и умение их рационально использовать».

Надо смелее привлекать к созданию новых программ кадры дореволюционных педагогов-общественников. «Им надо дать учебные планы... их надо привлечь к разработке деталей школьной реформы, устраивать с ними возможно частые совещания, широкие конференции». И к реформе преподавания литературы была привлечена большая группа старых ученых и учителей-словесников.

26 марта 1926 года по докладу П. И. Сакулина на совещании «Об историзме в применении к общественным дисциплинам во II ступени» Луначарским предлагается такая резолюция: «Целью изучения литературы в школе-семилетке является.

- 1) Путем изучения литературного материала содействовать живому пониманию социальной действительности и ее исторического происхождения, а также марксистскому подходу к литературным произведениям.

- 2) Использовать эмоционально-воспитательную силу литературы путем соответствующего подбора материала для углубленного чтения,

3) На разбора литературных произведений укрепляется выразительность языка учащихся. Для достижения этих целей необходимо признать за изучением литературных произведений самостоятельность без разрыва, однако, органической связи с обществоведением.

4) Использование как современной литературы, так и литературы прошлого как чисто иллюстративного материала при прохождении обществоведения выделяется в круг забот последнего и не должно считаться органической частью изучения литературы в школе, предполагающего лишь всестороннее изучение крупнейших литературно-художественных произведений и развития литературы в связи с историей и общественностью».

Педагогические принципы современной советской школы во многом исходят из такого понимания школьного курса истории литературы.

Созванная по инициативе наркома в январе 1928 года Всероссийская конференция преподавателей русского языка и литературы, где выступили и Луначарский и Н. К. Крупская, решала самые острые проблемы новой методики преподавания.

Луначарский работал в теснейшем контакте с Крупской: «Взятие власти пролетариатом поставило все органы рабочего правительства в значительное затруднение не только потому, что власть эту надо было еще отстаивать, но и потому, что вести дело необходимо было совершенно по-новому. А как? Этого не только в деталях, но даже и во многих важных разделах никто еще не знал... — писал Луначарский. — Драгоценнейшим обстоятельством в этих условиях было то, что одним из самых главных, а может быть, и самым главным действующим лицом Наркомпроса с самых первых дней оказалась Крупская... Мы с надеждой обращали взоры на Надежду Константиновну, потому что она действительно имела что сказать в этой области, в то время как другим приходилось еще гадать, искать путей, учиться у жизни».

Новая школа, ее успехи, принципы потрясали мир. Посетив Советскую страну, крупный английский педагог Догген писал:

«Насколько я могу узнать из достоверных источников, замечен безусловный успех в народном образовании, особенно по начальному обучению. Во многих деревнях есть школы, где, помимо обучения детей утром, по вечерам ведутся занятия по Чтению и письму с крестьянами. В некоторых местах школы снабжены газетами и журналами и выполняют роль библиотек. Школьники, организованные в отряды красных скаутов, проводят ряд экскурсий под руководством коммунистов из города в деревню, и наоборот.

Школа распространяет антирелигиозное влияние и прилагает все усилия, чтобы детей воспитывать в марксистском направлении. Насколько успешны будут результаты — покажет будущее».

Известный французский педагог Френэ говорил: «Даже в детских садах занятия детей носят характер общественной работы, имеют какую-то определенную общественную цель... Ручной труд, выполняемый совместно всеми детьми, музыка, театральные представления — все подготавливает ребенка с ранних лет к коллективной жизни. Малыш принимает участие в манифестациях, революционных праздниках — все это неотъемлемые элементы не абстрактного, но действенного гуманного воспитания...»

И далее: «У нас создают маленьких, но весьма претенциозных резонеров, тогда как русская школа создает работника и человека. Одним из наиболее положительных результатов воспитательной работы в школе является развитие у учащихся «аппетита к работе», радостное чувство труда. Наша школа, — говорит Френэ, — слишком часто приводит к совершенно противоположным результатам, вот почему мы с энтузиазмом приветствуем «русский комплекс» как основу новой педагогики...»

«Это Вам придется сломить неграмотность в России», — первые слова Ильича, сказанные Луначарскому при назначении его народным комиссаром просвещения, обязывали ко многому.

Без денег, без пищи, без карандашей, без бумаги создавалась эта школа. Но она охватывала все большие и большие массы учителей и учащихся.

Громада двинулась и рассекала волны... Шла она к далеким берегам... Впрочем, вот они, звучащие, как поэма, цифры статистики. Если в 1913 году в царской России насчитывалось только около 290 тысяч человек с высшим и средним специальным образованием, то теперь их число составило 134 миллиона человек. До революции в России было всего 1,4 миллиона людей с образованием выше начального. В 1959 году — 71,2 миллиона граждан СССР имели образование выше начального, причем 58,7 миллиона — высшее, среднее и неполное среднее образование.

Цифры — как мелодия наступления.

IV. Имя этой теме — любовь!

Март 1923 года. Ветер бросает в окна мокрый снег. И кажется, что в холодном ознобе дрожит за стеклом почерневшая, грустная Москва. Редкие прохожие прячут головы в воротники пальто. Изредка прогремывает трамвай — и опять не то снег, не то дождь нудно и тоскливо барабанит по крышам.

А здесь, в Водопьяном переулке забыли обо всем. О тревожном и гнетущем душу мареве над городом. О тяжелом и грустном. Накурено. Изыщная, с гладко причесанными темно-рыжими волосами Лиля Юрьевна Брик. Приветливый Осип Максимович Брик. Взволнованный Асеев. Отчаянно жестикулирующий Шкловский.

Маяковский ходит по комнате широким, уверенным шагом, лукаво поглядывает на собравшихся золотисто-кариыми глазами.

— «Про это». Поэма. — Он энергично взмахивает рукой и начинает:

Эта тема придет, вовек не износится,
Только скажет: — Отныне гляди на меня! —
И глядишь на нее, и идешь знаменосцем,
Красношелкий огонь над землей знаменя...

Лавина образов, тревожных и нежных, — и сам Маяковский, необычный, взволнованный и по-непонятному притихший.

Эта тема пришла, остальные оттерла
и одна безраздельно стала близка.
Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец! От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень
колотись — велела — строчками лбов.
Имя этой теме...
ЛЮБОВЬ!..

Несколько минут все молчат.

— До чего же здорово! — Луначарский пожал руку Маяковского.

«Помню состояние какого-то легкого поэтического опьянения, в котором мы возвращались домой, — вспоминает Н. А. Луначарская-Розенель. (В 1922 году Луначарский вступил во второй брак — с Натальей Александровной Розенель.) — Ехали долго: из Водопьяного переулка на Мясницкой (теперь улица Кирова) на Ноевскую дачу на Воробьевы, ныне Ленинские, горы».

— Я и раньше знал это, а сегодня уверился окончательно, — говорил Луначарский в машине жене. — Володя — лирик, он тончайший лирик, хотя он и сам не всегда это понимает. Трибун, агитатор и вместе с тем

лирик. А ты обратила внимание на глаза Маяковского? Такие глаза могут быть только у талантливого, глубоко талантливого человека...

Позднее был еще один вечер, настроение которого уходило в незабываемое открытие «Про это». Луначарский вернулся из Сибири. На столе у него лежала только что выпущенная отдельным изданием поэма «Про это». На следующий же вечер он собрал друзей у себя дома. Луначарский отнесся к встрече с трогательной заботой: сам купил цветы для стола. Сам читал собравшимся и поэму. Читал он великолепно, очень верно передавая манеру чтения Маяковского.

— Сегодня вы для меня открыли Маяковского, — взволнованно сказал Юрий Михайлович Юрьев. — Каюсь, я раньше не понимал его.

Луначарский прозорливо видел, какими путями будет развиваться советская поэзия, каким будет ее магистральное направление. Он писал: «Маяковский сделал все, что мог, для того, чтобы приготовить путь человеку будущего».

Поэзия Маяковского была для Луначарского знаменем боевого, партийного, подлинно народного искусства. Не случайно, что именно на материале творчества Маяковского Луначарский ставил проблемы развития пролетарской литературы вообще.

Прав В. Перцов, когда он пишет, что нельзя преуменьшать роль Луначарского-критика, указавшего место Маяковского в русской поэзии как поэта революции еще в те годы, когда самые великие его создания были впереди.

Луначарский высоко оценил лучшие творения Маяковского. После выхода из печати поэмы «Хорошо!» критик Ю. Юзовский в статье, опубликованной вначале в газете «Советский Юг» (Ростов-на-Дону), а затем перепечатанной врагами поэта в журнале «На литературном посту» (1927), объявил ее неглубокой и несерьезной. Ю. Юзовский не был одинок в своих нападках на Маяковского. Выход «Хорошо!» послужил поводом для новой отвратительной кампании против поэта. Луначарский с высокой трибуны юбилейной сессии ЦИК СССР в своем докладе о культурном строительстве в Советской республике за десять лет заявил о поэме «Хорошо!»: «Маяковский создал в честь октябрьского десятилетия поэму, которую мы должны принять как великолепную фанфару в честь нашего праздника, где нет ни одной фальшивой ноты, и которая в рабочей аудитории стяжает аплодисменты».

Творчество Маяковского подверглось ожесточенным нападкам сразу же после 1917 года. Буржуазный журналист А. Левинсон взял под обстрел «Мистерию-Буфф», поэта критиковали не только теоретики Пролеткульта,

но подчас и иные критики, не понявшие идейной направленности его творчества.

Когда в марте и апреле 1920 года Маяковский написал для опытно-показательной студии Театра сатиры три пьески: «А что если? Первомайские грезы в буржуазном кресле», «Пьеска про попов, кои не понимают, праздник что такое», «Как кто проводит время, праздники празднуя (на этот счет замечания разные)», люди, настроенные оппозиционно к Маяковскому, добились их запрещения через рабоче-крестьянскую инспекцию.

7 июля 1920 года Луначарский решительно протестует против этого: «Маяковский не первый встречный. Это один из крупнейших русских талантов, имеющих широкий круг поклонников как в среде интеллигенции, так и в среде пролетариев (целый ряд пролетарских поэтов — его ученики и самым очевидным образом ему подражают), это человек, большинство произведений которого переведено на все европейские языки, поэт, которого очень высоко ставят такие, отнюдь не футуристы, как Горький и Брюсов».

Нельзя забывать, как важна была в те годы поэту такая поддержка. В. И. Ленин, выступая в 1922 году с докладом на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов, как справедливо замечает Е. И. Наумов, своей высокой оценкой стихотворения «Прозаседавшиеся» «рассеял ту атмосферу недоверия, которую пытались создать вокруг Маяковского вульгаризаторы из Пролеткульта». Но атаки на поэзию Маяковского не прекратились. Критики из РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей) и журнала «На литературном посту» объявляли Маяковского всего лишь «попутчиком» революции, говорили, что его стихотворения «непонятны народным массам». В обстановке такой сложной борьбы трудно переоценить товарищеское слово Луначарского, поднятое в защиту великого поэта.

Когда поэт в 1924 году обратился в Госиздат с предложением издать собрание своих сочинений и ему люди, согласные с критиками Маяковского, отказали, Луначарский исправляет положение. Он пишет в Госиздат: «Выходят какие-то странные недоразумения с полным собранием сочинений Маяковского. Все соглашались, что это очень крупный поэт, в его полном согласии с Советской властью и Коммунистической партией ни у кого, конечно, нет сомнений. Между тем его книги Гизом почти не издаются. Я знаю, что на верхах партии к нему прекрасное отношение. Откуда такой затор? Переговорите с тов. Маяковским. Я уверен, что вы найдете правильный выход из этого положения».

Таких примеров можно привести множество. Но важен прежде всего смысл их: всем, чем мог, способствовал Луначарский развитию таланта Маяковского, видя в нем поэта, определившего целое направление русской поэзии.

...Осенью 1924 года Маяковский вместе с Бриками приехал домой к Луначарскому, чтобы прочесть свою новую поэму «Владимир Ильич Ленин».

И они слышали:

Потолок на нас пошел снижаться вороном.
Опустили головы — еще нагни!
Задрожали вдруг и стали черными
Люстр расплывшихся огни...

Как близки они были в эту минуту — великий пролетарский поэт и народный нарком!..

«Ленин... Он был для Анатолия Васильевича вождем, учителем, другом, — рассказывает Луначарская-Розенель. — Его раннюю, до боли раннюю смерть Луначарский пережил так недавно, всего восемь месяцев назад.

Я следила за лицом Анатолия Васильевича, и во время чтения строк о плачущих большевиках я увидела, как вдруг запотели стекла пенсне Анатолия Васильевича.

Невольно пронеслось в памяти, как 21 января Анатолий Васильевич уезжал в Горки в жгучий, какой-то беспощадный мороз; он был так подавлен горем, что, казалось, никого не видит и не слышит. На мою просьбу задержаться на десять минут, подождать, пока ему принесут обещанные валенки, он только махнул рукой и уехал в легкой городской обуви...

Когда он вернулся, его брови и усы совершенно обледенели, а глаза опухли.

Мне вспомнился вечер в Колонном зале. Заканчивали траурное оформление зала, затягивали крепом зеркала, люстры; гроб окружила молчаливая группа старых большевиков, друзей и членов семьи. Надежда Константиновна — воплощение скорби у гроба своего великого друга.

Я думала об этом, слушая поэму, и мне казалось, что и Анатолий Васильевич вновь переживает трагические минуты прощания».

Утром 14 апреля 1930 года в кабинете Луначарского неожиданно

раздался звонок.

Анатолий Васильевич диктовал стенографистке статью.

— Застрелился Маяковский!

— Что за чушь! Возмутительно! Какие-то пошляки позволяют себе хулиганские выходки! — Луначарский бросил трубку и недоуменно посмотрел на стенографистку.

— Черт. знает что! — пробормотал он в оцепенении, со смешанным чувством страха и недоумения посматривая на аппарат.

Звонок повторился.

«Я-увидела, как после первых же слов, услышанных по телефону, — рассказывает Луначарская-Розенель, — Анатолий Васильевич смертельно побледнел, у него было такое потрясенное, страдальческое выражение лица, что я, испугавшись приступа грудной жабы, которой он болел, бросилась за водой и лекарством. Он отстранил стакан с водой и, тяжело дыша, с усилием еле выговорил:

— Произошло несчастье. Маяковский покончил с собой...» А 17 апреля во дворе клуба писателей был траурный митинг. Толпы народа загрохотали площадь Восстания и улицу Воровского.

Луначарский — в почетном карауле. Бледный, но собранный и внешне спокойный.

Сколько сил было нужно ему для этого!

Но нельзя не говорить. Надо говорить, чтобы развеять ложь и мещанские сплетни. Чтобы отстоять для потомков живого поэта!

— Маяковский был прежде всего куском напряженной, горячей жизни!..

Таким он всегда оставался для него. Всегда. До конца пути.

14 апреля 1931 года, в годовщину смерти поэта, Луначарский тихо сказал в Коммунистической академии на вечере памяти Маяковского: «Не все мы похожи на Маркса, который говорил, что поэты нуждаются в большой ласке. Не все мы это понимаем, и не все мы понимали, что Маяковский нуждается в огромной ласке, что иногда ничего так не нужно, как душевное слово».

Трудно найти в истории советской литературы, пожалуй, кроме деятельности Горького, пример такой воистину дружеской и внимательной заботы о писателях, какая была свойственна Луначарскому. Это он поддержал многие стихи Есенина, Уткина, Жарова. Заявил о выдающемся для советской литературы значении «Жизни Клим Самгина», «Чапаева», «Дней Турбиных», «Любови Яровой», многих и многих книг, ставших классикой советского искусства.

Отвечая однажды на анкету «Огонька», он выдвинул в качестве произведений, заслуживающих наибольшего внимания. «Разгром» Фадеева, назвал «Тихий Дон» Шолохова («необыкновенно талантливое изображение быта и форм сознания донского казачества, — изображение, по художественности и сочности своей приближающееся к лучшим произведениям нашей литературы вообще»), «Лесозавод» Караваевой («роман написан превосходно, читается с захватывающим вниманием и совершенно правдиво рисует интереснейшее явление нашего времени»), роман Панферова «Бруски», роман Ивана Катаева «Сердце», роман Олеши «Зависть», «Братьев» Федина. Луначарский писал тогда в «Огонек»: «Наша литература, несомненно, переживает подъем, особенно заметный среди литераторов пролетарских, и назвать лучшие произведения, в особенности если говорить и о повестях, и о произведениях стихотворных, это значит написать целый, довольно внушительный каталог». А сколько предисловий и статей создал Луначарский о молодой поросли литературы!

...Не очень-то были тогда в моде писательские юбилеи, но когда Брюсову исполнилось 50 лет, Луначарский настоял на торжественном праздновании.

Красно-золотой, сверкающий огнями зал Большого театра.

В фойе правительственной ложи Луначарский что-то набрасывает карандашом в блокноте. Рождается стихотворный экспромт, который тотчас же и оглашается:

Как подойти к Вам, многогранный дух?
Уж многим посвящал я дерзновенно слово,
И толпам заполнял настороженный слух
Порой восторженно, порой, быть может, ново.
Но робок я пред целым миром снов.
Пред музыкой роскошных диссонансов,
Пред взмахом вольных крыл и звяканьем оков,
Алмазным мастерством и бурей жутких трансов.
Не обойму я Вас, не уловлю я нить
Судьбы логичной и узорно странной.
И с сердцем бьющимся я буду говорить
Пред входом в храм, с завесой златотканой.

Брюсов слушает. На глазах его слезы.

Однажды Луначарский и Наталья Александровна Розенель поспорили.

— Странно, почему у Валерия Яковлевича такой монгольский склад лица? — заметила Розенель. — Правда, говорят, он потомок знаменитого Якоба Брюса, шотландца, сподвижника Петра Первого?

Луначарский рассмеялся:

— Откуда у тебя такие сведения? Ни в коем случае! У Брюсова не такое романтическое происхождение. Он — внук крепостного крестьянина... Да, он русский мужик с сильной примесью татарской крови. У Валерия Яковлевича трудолюбие, терпение, упорство настоящего русского крестьянина. Он не порхает, как бабочка, от одного красивого образа к другому, не ждет вдохновения, он упорно, методично работает, он — молотобоец и ювелир, он — мастер, большой ученый, крупнейший литературовед, пушкинист. Он любит труд, он не чурается трудовых будней. В заведующие ЛИТО Наркомпроса группа писателей выдвигала А. Белого, но я настоял на кандидатуре Брюсова и не жалею об этом. Он — бесценный руководитель нашего художественного образования. Да, в работоспособности Брюсова, в его целеустремленности сказывается здоровое крестьянское нутро, оно же привело его в наши ряды. Только люди поверхностные или относящиеся предвзято могли ахать по поводу вступления Брюсова в партию. В годы молодости, когда он писал «Каменщика», он не кокетничал с революцией, он ее принимал...»

Любящими глазами следил Луначарский за судьбами многих и многих литераторов.

Он любил людей талантливых. Он знал, что талант действительно редкость.

КТО ЕСТЬ КТО?.

Те, которые делают мне высокую честь и думают, что есть какая-то политика Луначарского, просто не знают наших условий государственной деятельности. Я, конечно, вел ту линию, которая проверялась и находила себе опору в наших центральных государственных и партийных учреждениях. Это есть политика Советской власти.

А. В. Луначарский

Есть люди, вокруг деятельности которых и после смерти продолжаются ожесточенные споры.

Значит, мысль их, не став достоянием отошедшего прошлого, активно включилась в работу потомков, в их нравственный поиск, их раздумья.

Так случилось и с Луначарским.

I. "За" и "против"

С идущего под звездами теплых южных морей «Витязя» я получил письмо. От одного молодого ученого и поэта, трепетно влюбленного в Луначарского. В письме были стихи — «Ответ некоторым «друзьям» Луначарского:

Не раз скрывая немощь суетой —
Но скроешь пустоту сейчас едва ли, —
Его партийной, чистой широтой,
Как панцирем надежным, прикрывались.
Он сам не может — сроки и года —
Сказать, что этот ход неправомерен!..
Он был солдат — а в схватке не всегда
Любой прицел, как на ученье, точен.
Но он стрелял совсем не наугад!
Он видел цель отчетливо и резко.
Им видимые грани баррикад
Очерчены отчетливо и веско.
И над его бойницей, как всегда,

Алело знамя той, Октябрьской битвы —
Союзом муз с державою труда,
А не с эстрадным блефом и молитвой...

Хоть и написал эти строки молодой ученый как публицистическую реплику в споре, думается, и поэтически и по сути очень точно схвачено здесь существо затянувшегося спора...

Оценки и вкусы бывают субъективными.

Мнением Луначарского подкрепляли свои аргументы и те, кто был «за», и те, кто был «против».

Спор этот не прекращается и сегодня. Отголоски его все время звучат во всех книгах, посвященных литературной жизни первых лет Октября.

Различные варианты и оттенки дискуссии по данному поводу сводятся в общем к взаимоисключающим друг друга мнениям. Одни считают, как справедливо пишет А. Лебедев, что «принципом, которым руководствовался Луначарский как народный комиссар, ведавший просвещением и искусством, был принцип «величайшей нейтральности», по существу лишь несколько видоизменявший известную формулу Каутского относительно полного невмешательства партии пролетариата в условиях победившей социалистической революции в дела идеологии и «полной анархии» в области искусства». На основе подобной трактовки деятельности Луначарского его решительно осуждали, его взгляды на партийное руководство искусством объявляли порочными.

Другие высказывали противоположную точку зрения, согласно которой именно то, что раньше объявлялось «смертным грехом» Луначарского-наркома, теперь выдвигалось в качестве его величайшей доблести. Луначарский представал «добрым меценатом» советского искусства, с некоей «отеческой» незлобивостью взиравшим на острую борьбу, развертывавшуюся в искусстве и вокруг искусства в первые же десятилетия существования нового общества.

«Проигрывал при этом неизменно Луначарский», — пишет А. Лебедев.

Еще одна точка зрения: при всех ошибках, которые имели место в той сложнейшей обстановке литературно-политической борьбы, Луначарский последовательно проводил политику партии.

Но человеческая личность — одна...

Илья Эренбург в книге «Годы, люди, жизнь» говорит: «Анатолий Васильевич был для меня мостом — он связывал мое отрочество с новыми

мечтами. Можно увидеть в воспоминаниях о нем: «огромная эрудиция», «всесторонняя культура». Меня поражало другое: он не был поэтом, его увлекала политическая деятельность, но в нем жила необычайная любовь к искусству, он как будто был неизменно настроен для восприятия тех неуловимых волн, которые проходят мимо ушей многих. Впоследствии, изредка с ним встречаясь, я пытался спорить: его оценки мне были чужды. Но он был далек от желания навязать свои восприятия другим. Октябрьская революция поставила его на пост народного комиссара просвещения, и, слов нет, он был добрым пастырем. «Десятки раз я заявлял, что Комиссариат просвещения должен быть беспристрастен в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается вопросов формы — вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам. Не позволить одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом». Обидно, что различные люди, ведающие искусством или им интересующиеся, редко вспоминали эти разумные слова».

Но так ли уж «беспристрастен» был Луначарский? И в каком смысле это понятие — невмешательство в «вопросы формы» — выражает существо проводимой им в искусстве политики?

Об этом ясно говорят уже первые шаги руководимого им ЛИТО.

Тогда все его называли сокращенно — ЛИТО.

Шли в ЛИТО.

Заседали в ЛИТО.

Обижались на ЛИТО.

ЛИТО — Литературный отдел Наркомпроса.

Впервые вопрос о создании ЛИТО был поставлен еще в декабре 1918 года на созванном А. В. Луначарским «особом совещании Наркомпроса и литераторов». Луначарский тогда заявил:

«При новом строительстве жизни среди других реформ уже давно чувствовалась потребность упорядочить и дело литературы, поставить ее в наилучшие условия процветания и служения народу. За это дело нельзя было приняться сразу... нужно было урегулировать дело книгоиздательства, книготорговли и бумажного производства.

Теперь настало время подумать о создании Литературного отдела как руководящего органа из самих писателей, чтобы обеспечить за литературой максимум свободы; орган этот будет обладать и некоторой административной властью...»

На заведование литературным отделом был приглашен Горький. Он очень заинтересовался этим делом.

«Литературный отдел, — пояснял Луначарский, — будет преследовать 2 задачи:

1. давать работу всем литераторам;
2. ограждать литературу как свободное искусство и содействовать ее процветанию. Отдел будет бережно относиться к новой литературе, новым путям и индивидуальному творчеству».

ЛИТО создавалось по типу других художественных отделов Наркомпроса. В основу его работы ложились те же принципы общего социалистического плана строительства.

Какую позицию с первых своих шагов занял ЛИТО? Это ясно обозначилось уже на том совещании, о котором мы говорили. Г. Чулков, Н. Эфрос, К. Бальмонт выступили здесь с декларациями о независимости литературы от политики. Но Луначарский заметил, что Наркомпрос, создавая ЛИТО и привлекая к сотрудничеству в нем старую интеллигенцию, вовсе не намерен отказаться от руководства литературой со стороны партии. «Мой неизменный ответ на такие домогательства, исходят ли они из культурных кругов, близких к музейному делу, музыке, изобразительным искусствам, или от служащих Комиссариата вообще, — писал он, — звучит: мы рады вашему сотрудничеству, мы принимаем каждого человека доброй воли, но, извините, руководство еще более или менее длительный период должно остаться за коммунистами или лицами, пользующимися безусловным политическим доверием партии». Комиссариат просвещения «более чем достаточно стоит на страже, чтобы не допустить такого растворения крепкого вина коммунизма в теплой воде новоявленной интеллигентской симпатии».

Как и всякий живой человек, Луначарский подчас ошибался. Не всегда оценки его были безукоризненно точными. Но, говоря условно, «стержень» его литературной политики никогда не менялся. И магистральное направление пути виделось им отчетливо.

Луначарский сам ответил тем, кто противопоставлял его деятельность политике партии в искусстве. «Те, которые делают мне высокую честь и думают, что есть какая-то политика Луначарского, просто не знают наших условий государственной деятельности. Я, конечно, вел ту линию, которая проявлялась и находила себе опору в наших центральных государственных и партийных учреждениях. Это есть политика Советской власти. Иногда некоторые впадают в заблуждение и начинают плясать каннибальский танец вокруг этой политики, заявляя, что это сплошные ошибки и

заблуждения. Предоставим окончательный суд истории, но я хочу, чтобы все знали, что, занимая такую позицию, они находятся в оппозиции по отношению к партийной линии и к советской культурной политике».

Об этом он заявлял много раз обстоятельно и подробно.

II.,Одиссея" Пролеткульта

Это никак не означает, что Луначарский не ошибался. Ошибался, и серьезно. Об этом он сам говорит без всяких скидок на сложность и необычность тех лет: Ленин резко расходился с Луначарским «по отношению к Пролеткульту. Один раз даже сильно побранил меня. Скажу прежде всего, что Владимир Ильич отнюдь не отрицал значения кружков рабочих для выработки писателей и художников из пролетарской среды и полагал целесообразным их всероссийское объединение, но он очень боялся поползновения Пролеткульта заняться и выработкой пролетарской науки и, вообще, пролетарской культуры во всем объеме, Это, во-первых, казалось ему совершенно несвоевременной и непосильной задачей, во-вторых, он думал, что такими, естественно, пока скороспелыми выдумками пролетариат отгородится от учебы, от восприятия элементов уже готовой науки и культуры, и, в-третьих, побаивался Владимир Ильич, по-видимому, и того, чтобы в Пролеткульте не свила себе гнезда какая-нибудь политическая ересь. Довольно недружелюбно относился он, например, к большой роли, которую в Пролеткульте играл в то время А. А. Богданов... Словом, Владимир Ильич хотел, чтобы мы подтянули Пролеткульт к государству, в то же время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к партии...»

Резкая критика Ленина была вызвана самыми серьезными обстоятельствами.

Возникший в период между Февральской и Октябрьской революциями и ставивший своей целью культурное образование и воспитание рабочих, Пролеткульт был, как говорили его руководители, независим от Временного правительства, то есть правительства буржуазного, что, несомненно, было правильным и прогрессивным. Советское правительство, поддержав вначале Пролеткульт, вскоре увидело, что идеологи Пролеткульта становятся на враждебные партии позиции. В письме ЦК «О пролеткультах» говорилось: «Те самые антимарксистские взгляды, которые так пышно расцвели после поражения революции 1905 года и несколько лет (1907–1912 гг.) занимали умы «социал-демократической» интеллигенции, упивавшейся в годину реакции богостроительством и различными видами идеалистической философии, — эти же самые взгляды в замаскированном виде антимарксистские группы

интеллигенции пытались теперь привить пролеткультам».

Одна из важнейших ошибок деятелей Пролеткульта — их отношение к культурному наследию прошлого.

Они решительно отрицали связь пролетарской культуры с революционно-демократическими традициями литературы дооктябрьской эпохи. С целью «теоретического» обоснования этого была вытащена старая, идеалистическая «организационная теория» Богданова, согласно которой искусство не является отражением в художественных образах реально существующей объективной действительности, а есть «организация человеческого опыта, выступающего в живых образах». По мнению теоретиков Пролеткульта, «коллективный опыт», «классовый опыт» пролетариата не могут иметь ничего общего с культурой и искусством прошлых эпох». Богданов выдвинул теорию классовой замкнутости, согласно которой «каждый класс создает свою собственную культуру, отбрасывая все «прошрое».

В послеоктябрьское время пролеткультиовское движение обнаружило такие тенденции развития, не обращать серьезного внимания на которые уже было нельзя. Партия стремилась подчинить эту организацию государственному культурному строительству, чтобы через нее приобщить к творчеству миллионы народных масс.

Конечно, нельзя забывать, что практика многих поэтов-пролеткультиовцев и теоретические изыски теоретиков Пролеткульта — явления совсем разного порядка. Поэты Пролеткульта и связанной с ним «Кузницы» — М. Герасимов, П. Арский, В. Александровский, Н. Полетаев, И. Садофьев, А. Маширов-Самобытник, А. Поморский и другие — стремились раскрыть великое историческое значение Октября. Но их идеологи нередко толкали поэтов на абсурднобезличное изображение людей, этакое «космически» неконкретное восприятие мира. Характерно в этом смысле стихотворение И. Садофьева «Пролетарским поэтам»:

Мы — Поступь, мы — Дыханье юных Веков Прекрасных...

Мы — сердце, мозг трудящихся, их лучшие цветы.

Мы — слитность Мировая Труда стремлений властных.

Поэзия Пролеткульта и «Кузницы» вдохновлялась искренним стремлением раскрыть мировое значение Октября, но со временем, как писал В. Брюсов, «застыв в традициях школы, оторвалась от жизни. Избегая индивидуализма, она впала в другую крайность — в

отвлеченность. В громадном большинстве случаев она все берет в «мировом масштабе»... Вся реальная жизнь, все общественно-политические события, шумящие вокруг нас, проходят как-то мимо поэтов «Кузницы».

В. Перцов верно заметил, что зачастую «космизм» пролеткультовцев «был проявлением чуждых, анархистско-буржуазных влияний в среде рабочего класса». Отсюда и шло нигилистское левачество:

Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы...

Теоретическая путаница сопровождалась у пролеткультовцев политикой в искусстве, явно неприемлемой в новых условиях. Решив сохранять свою «независимость» — «автономию», они противопоставили Пролеткульт политике партии, организациям Советской власти, в частности Наркомпросу. Они утверждали, что, поскольку Наркомпрос — орган Советской власти, а последняя — союз пролетариата и крестьянства, то есть организация «не чисто пролетарская», Пролеткульт не может слиться с Наркомпросом. Богданов полагал, что вредно навязывать искусству боевую направленность, агитационную целеустремленность. Луначарский не сразу смог переосмыслить свое «дооктябрьское» отношение к Пролеткульту. «Когда я вместе с несколькими товарищами, — писал он в статье «Пролеткульт и советская культурная работа», — созвал в Петрограде за несколько дней до переворота конференцию по вопросам пролетарской культуры, я, конечно, рисовал себе значение и роль вышедшей из этой конференции организации, приобретшей позднее название Пролеткульта, в иных формах, чем в какие она отлилась. В то время государственная власть была чисто буржуазной, и пролетариату приходилось на началах внегосударственной и отчасти антигосударственной самостоятельности искать своих культурных путей. Как задача поднятия умственного, этического и эстетического уровня образованности пролетариата, так и задача самостоятельного творчества, выработка своих классовых, только пролетариату присущих норм во всех этих областях, ложилась на молодые плечи этой организации. Я с самого начала указывал здесь на полный параллелизм: партия в политической области, профсоюзы — в экономической, Пролеткульт — в культурной. Теперь все изменилось, нам приходится вновь и вновь задумываться о том... какова должна быть граница между Пролеткультом, с одной стороны, и Наркомпросом — с

другой».

Луначарский ошибался, предоставив Пролеткульту независимость от Наркомпроса. Когда Ленин порекомендовал ему исправить эту ошибку и выступить в октябре 1920 года на съезде пролеткультов с речью об их тесном подчинении Наркомпросу, Луначарский увлекся ничем не оправданными дифирамбами в адрес пролеткультовцев и, по существу, не выполнил ленинское задание.

Этим обстоятельством во многом объясняется резкость Ильича, когда он набрасывает проект резолюции о пролетарской культуре: «Из номера «Известий» от 8.X (в этом номере «Известий ВЦИК» был опубликован отчет со съезда, содержащий и изложение речи Луначарского. — А. Е.) видно, что т. Луначарский говорил на съезде Пролеткульта *прямо обратное* тому, о чем мы с ним вчера условились.

Необходимо с чрезвычайной спешностью приготовить проект резолюции (съезда Пролеткульта), провести через ЦК и успеть провести в *этой же* сессии Пролеткульта...»

В проекте резолюции Ленин писал: «...Всероссийский съезд Пролеткульта самым решительным образом отвергает, как теоретически неверные и практически вредные, всякие попытки выдумывать свою особую культуру, замыкаться в свои обособленные организации, разграничивать области работы Наркомпроса и Пролеткульта...»

«Тов. Луначарский говорит, что его исказили, — добавляет Ленин в конце записи. — Но *тем более* резолюция архинеобходима».

Саму же идею и само дело пролетарской культуры, ее одаренных энтузиастов, приходивших в Пролеткульт из бедняцких низов, из рабочих масс, Ленин поддерживал. Он понимал, что это не однородная организация. В Пролеткульте действительно шло расслоение.

Совершенно неверно целиком отождествлять взгляды Луначарского с теориями идеологов Пролеткульта П. Керженцева. А. Богданова, А. Гастева. Но, будучи тесно связан с Пролеткультом (Луначарский был председателем его Международного бюро), поддерживая самые различные издания пролеткультовцев, Луначарский, естественно, не мог не разделять и ответственность за выступления идеологов этого движения.

Тем не менее «водораздел» между ним и пролеткультовцами наметился довольно давно.

Мы уже рассказывали, как Луначарский защищал Малый театр от атак пролеткультовцев, решительно расходясь с ними в оценке завоеваний демократической культуры прошлого. Принципиальные расхождения шли по многим вопросам.

Луначарский не был согласен с мнением, что пролетарский писатель непременно должен иметь пролетарское происхождение: «Пролетарскую психику может приобрести и интеллигент, если он, так сказать, усыновлен пролетариатом, представляет собой, например, преданного борца коммунистического типа» («Критика и критики»).

Многие пролеткультовцы обожествляли машину, говоря, что она плодотворно воздействует на идейное формирование писателя. Но «зов к власти машины, — говорил Луначарский, — может лишь толкать пролетариат к обесчеловечению и обезличению его, а мы этого вовсе не хотим». Он категорически отвергал распространенное среди пролеткультовцев мнение, что пролетарский писатель обязан быть одновременно и художником и производственным рабочим.

Известно, как отрицательно встретил он появление в «Правде» (27 сентября 1922 года) статьи пролеткультовца В. Плетнева «На идеологическом фронте», — рецидива вульгарного социологизма. Ленин назвал ее фальсификацией исторического материализма, игрой в исторический материализм. «Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его среды», — писал Плетнев. Ленин, подчеркнув слова «только» и «его», написал на полях статьи Плетнева: «Архификция». Доклад Луначарского на Всесоюзном съезде Пролеткульта о профессионализме в искусстве подтверждает, что он полностью разделял здесь ленинскую точку зрения.

Много размышлял Луначарский над ленинской критикой пролеткультов.

В декабре 1920 года Луначарский твердо заявляет в «Вестнике театра»: «Полной автономии ни для кого не может быть, потому что все должно идти в ногу с революцией».

Когда в 1923 году возникло «Пролеткино», попытавшееся сепаратистски выделиться из Госкино, нарком в «Известиях» напомнил о пролеткультовских ошибках, приводивших к устройству «в общем весьма тщедушных, чахлах людьми и средствами, как бы частнорабочих учреждений рядом с рабочими же государственными».

«Чуткий Ленин это сразу понял, — говорил позднее Луначарский в лекции «Русская литература после Октября». — Он понял, что это социал-демократическая, меньшевистская тенденция, — это пролеткультство. Если ему удастся отгородиться от партии и государства, вылиться в политическую позицию, которая будет противопоставлять партию и государство узким цеховым интересам, — вместо миростроящей политики

будет цеховая организация. Ленин говорил об этом, когда это еще не пришло мне в голову, я не разобрал этого... я еще в то время не понимал глубоко вредной тенденции пролеткульта. Ленин это понял, политически разгромил пролеткультство».

В. И. Ленин развернул последовательную марксистскую систему взглядов на отношение пролетариата к культурному наследию прошлого. В «Критических заметках по национальному вопросу» была четко сформулирована ленинская теория о двух культурах в каждой национальной культуре. Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. «Мы *из каждой* национальной культуры берем *только* ее демократические и ее социалистические элементы, берем их *только* и *безусловно* в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму *каждой* нации».

В наброске резолюции о пролетарской культуре В. И. Ленин писал: «Не выдумка новой пролеткультуры, а *развитие* лучших образцов, традиций, результатов *существующей* культуры с *точки зрения* миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры». На Третьем съезде РКСМ 2 октября 1920 года он вновь возвращается к этой проблеме: «Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества». Эти слова — свидетельство не только последовательности и настойчивости, с которыми В. И. Ленин развивал свою концепцию понимания пролетарской культуры, но и того, сколь важным и актуальным был в те годы этот вопрос, какая самая серьезная борьба развернулась вокруг него.

12 октября 1920 года съезд принял резолюцию о вхождении Пролеткульта в Наркомпрос. 1 декабря 1920 года по инициативе Ленина было опубликовано письмо ЦК РКП(б) о пролеткультах, надолго определившее политику партии в области литературы. Ленинская программа партийного руководства искусством четко и ясно определяла главные принципы этого руководства: «Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу,

независимо ни от чего.

Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты».

III. Можно ли верить легендам?.. Маяковский и футуризм

Легенды о покровительстве Луначарского футуризму «аргументировались», как правило, ссылками на предисловие Луначарского к сборнику футуристов «Ржаное слово», на его отношение к раннему творчеству Маяковского.

Как же обстояло дело в действительности?

Дискуссии тех времен, впрочем, как и споры нашего времени, не обходились без резкостей. Во всяком случае, не назовешь спокойным «Открытое письмо» Маяковского «Народному комиссару по просвещению тов. Луначарскому» 12 ноября 1918 года. Перчатка была брошена резко, с гневом, вызовом, как на рыцарском турнире:

«Товарищ!

Вами была принята к постановке и опубликованию «Мистерия-Буфф». Я пригласил вас и ваших товарищей на первое чтение «Мистерии», чтобы получить подтверждение в необходимости ее появления от тех людей, чьей быть она претендовала. Вы назвали «Мистерию-Буфф» единственной пьесой революции. После этого у вас было достаточно и времени и материала для пересмотра вашего мнения. У вас был экземпляр «Мистерии», вы присутствовали на генеральной репетиции, но вы не только не изменили своим словам, но даже еще укрепили их — сначала статьей в «Правде», а затем приветственной речью в театре перед поднятием занавеса. Очевидно, товарищ, вы были не один, а точно выражали желания коммуны, ибо «Мистерия» была единогласно принята Центральным бюро к постановке в Октябрьские дни.

Отношение аудитории первых двух дней не пошло в раз рез с вашим: вспомните хотя бы шумную радость после пролога...

Иначе смотрит на это единственная в настоящее время театральная газета «Жизнь искусства», официальный орган отдела театров и зрелищ ком(иссариата) нар(одного) прос(вещения). В единственной этой театральной советской газете появление этой Советской властью принятой и проводимой «Мистерии» объяснено желанием подлизаться, «желанием угодить новым хозяевам людей, еще вчера мечтавших вернуться к допетровской России». Не удивляясь и не останавливаясь на пикантности таковой оценки моих едва вырвавшихся из всяких цензур стихов со стороны известного автора статьи А. Левинсона, перенесшего на наши

страницы гнусность покойной «Речи», я возмущен возможностью появления подобной инсинуации в газете Советской власти, принявшей «Мистерию». Дело не в эстетической оценке — она в статье не заметна и во всяком случае допустима в любой форме, — дело в моральном осуждении «Мистерии».

Если автор статьи прав и «Мистерия» вызывает только «подавляющее чувство ненужности, вымученности совершающегося на сцене», то преступление тратить деньги на ее постановку, обманывая доверие рабочего класса; если же верно сделали вы, ставя «Мистерию», — тогда достойно оборвите речистую клевету. Требуя к общественному суду за грязную клевету и оскорбление революционного чувства редакцию газеты и автора статьи, я обращаю на это и ваше внимание, тов. комиссар, ибо вижу в этом организованную черную травлю революционного искусства».

«Перчатка» была брошена не в лицо Луначарскому — это был вызов всем не принимавшим искусство революции...

Еще 5 ноября 1918 года в статье «Коммунистический спектакль», напечатанной «Петроградской правдой», Луначарский высоко оценил «Мистерию». Ее премьера состоялась в день первой годовщины Октябрьской революции — 7 ноября 1918 года, в Петрограде, в помещении Театра музыкальной драмы. Постановщики — В. Э. Мейерхольд и Маяковский.

Недругами поэта было, казалось, сделано все, чтобы постановка сорвалась, «Мистерию-Буфф», — рассказывает Маяковский, — я написал за месяц до первой Октябрьской годовщины.

В числе других на первом чтении были и Луначарский и Мейерхольд. Отзывались роскошно.

Окончательно утвердил хорошее мнение шофер Анатолия Васильевича, который слушал тоже и подтвердил, что ему понятно и до масс дойдет.

Чего же еще?

А еще вот чего:

«Мистерия» была прочитана в комиссии праздников и, конечно, немедленно подтверждена к постановке...

Но пьесе нужен театр.

Театра не находилось. Насквозь забиты Макбетами. Предоставили нам цирк, разбитый и разломанный митингами.

Затем и цирк завтео М. Ф. Андреева предписала отобрать.

Я никогда не видел Анатолия Васильевича кричащим, но тут рассвирепел и он.

Через минуту я уже волочил бумажку с печатью насчет палок и насчет колес.

Дали Музыкальную драму.

Актеров, конечно, взяли сборных.

Аппарат театра мешал во всем, в чем и можно и нельзя. Закрывал входы и забивал гвозди.

Даже отпечатанный экземпляр «Мистерии-Буфф» запретили выставить на своем, овеванном искусством и традициями прилавке.

Только в самый день спектакля принесли афиши — и то нераскрашенный контур — и тут же заявили, что клеить никому не велено.

Я раскрасил афишу от руки.

Наша прислуга Тоня шла с афишами и с обойными гвоздочками по Невскому и — где влезал гвоздь — приколачивала тотчас же срываемую ветром афишу».

Боевая целеустремленность «Мистерии» была близка Луначарскому. Считая ее «шагом вперед» в развитии поэта и всего пролетарского искусства, он говорил, что она является «единственной пьесой, — которая задумана под влиянием нашей революции и поэтому носит на себе ее печать, задорную, дерзкую, мажорную, вызывающую». «Я видел, — пишет он 10 октября, — какое впечатление производит эта вещь на рабочих...»

Б. Ростоцкий справедливо заметил, что «Мистерия-Буфф» «во многом предвосхищала те многочисленные инсценировки и массовые празднества, которые вошли в обиход агитационного театра в пору гражданской войны».

Луначарский всячески помогал поэту осуществить постановку «Мистерии», но, опасаясь, что постановщик ее Мейерхольд может увлечься формальной стороной дела, писал за два дня до премьеры: «Я очень боюсь, как бы художники-футуристы не наделали в этой постановке миллионов ошибок... Если «Мистерию-Буфф» Маяковского поставить, снабдив ее всякими экстравагантностями, то она, будучи ненавистна старому миру по своему содержанию, останется непонятной новому миру по своей форме. А между тем ее текст понятен всякому, идет прямо в сердце рабочего человека, красноармейца, представителя крестьянской бедноты...» Опасения Луначарского во многом оправдались, но «экстравагантности» все же не смогли заслонить от зрителя революционный пафос и содержание пьесы.

Мы уже говорили о письме Маяковского — : ответе на враждебный выпад Левинсона. В тот же день — 21 ноября — в «Жизни искусства» появилось «Заявление по поводу «Мистерии-Буфф» — резкий протест против рецензии Левинсона, — подписанное группой художников, в то

время возглавлявших Отдел изобразительных искусств Наркомпроса.

Луначарский в статье «О полемике» («Жизнь искусства») писал, что Левинсон «позволил себе совершенно недопустимое чтение в сердцах, которое, как я знаю точно, покорило не только непосредственно или косвенно задетых лиц, но и всех, кому эта статья попала на глаза. Если вспомнить, что выдающийся поэт, каким почти по всеобщему признанию является В. Маяковский, в первый раз имел возможность дать образчик своего творчества в удовлетворительной обстановке, — то еще неприятнее выделяется столь далеко в сторону спорной этики заходящий выпад критика против «Мистерии».

Да, Луначарский написал предисловие к изданному в 1918 году сборнику футуристов «Ржаное слово». Здесь говорилось: «Книга написана футуристами. Разно к ним относятся, и много можно о них сказать критического. Но они — молоды, а молодость революционна. Неудивительно поэтому, что от их задорного, яркого, хотя подчас и причудливого искусства веет родным нам воздухом мужества, удали и шири. В стихах Маяковского звучит много нот, которым не будет внимать равнодушно ни один молодой годами или душою революционер».

В группе футуристов, объединившейся вокруг издававшейся Наркомпросом газеты «Искусство коммуны» (1918–1919), были такие разные люди, как В. Маяковский и В. Хлебников, Н. Асеев и Д. Бурлюк, Н. Кушнер и В. Каменский.

Луначарский не случайно выделяет среди футуристов Маяковского. Сами по себе формалистские футуристические изыски были глубоко чужды Луначарскому. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что в то сложное время, когда он стремился поставить на службу революции все возможные творческие силы, его оценки того или иного литературного явления во многом исходили из задач дня. Луначарский не мог не считаться с тем, что футуристы после Октября безоговорочно стали на сторону революции. Он не мог не видеть, что творчество таких «футуристов», как Маяковский, никак не отражает теоретических устремлений этого самого по себе нигилистически-анархистского буржуазного течения, провозглашающего культ формы и отказ от реалистических традиций искусства.

Человек самых широких литературных взглядов, Луначарский был чужд сектантской нетерпимости. Подчас этим корыстно пользовались люди ярко формалистических воззрений. Так, например, кубисты навязали отделу искусств серию нелепых поделок, долженствующих, по их замыслу, изображать Добролюбова, Марата, Некрасова и других великих

художников и мыслителей.

«Петербургские обыватели вообразили, что при помощи подобной скульптуры Анатолий Васильевич насаждает в советском искусстве кубизм, — вспоминает К. Чуковский. — ...Между тем не прошло и месяца, как сам Луначарский сурово осудил эти памятники. ...Подъехав вместе с ним (А. Н. Тихоновым-Серебровым. — А. Е.) к одной из этих нелепых фигур, с неожиданным отвращением воскликнул:

— Какая мерзятина!

И тут же не без удовольствия отметил, что фигура уже начинает разваливаться».

Оценка эта весьма показательная для отношения Луначарского к формалистической зауми. Да и все его работы и высказывания того периода об отношении к литературному наследию прошлого прямо противостоят программе футуристов, хотя Луначарский порой и снисходительно, что, конечно, было ошибкой, относился к формалистическим изъясам.

Говоря о стилевых поисках советской литературы 20-х годов, Луначарский писал: «Вопрос о форме для нашего времени стал для писателя так: найти форму, наиболее точно умеющую охватить новый материал и наиболее ясно умеющую изложить его уму и в особенности чувству читателя.

Неудивительно, что постепенно искусство вообще и литература в особенности должны были близко подойти к той манере писания, которая присуща была классикам и народникам... Перед открывшимися новыми мирами, при огромном богатстве новыми мыслями и чувствами писатели, конечно, должны были вскоре перейти к этой удобной и простой манере, несколько не отрицавшей возможность найти в ее рамках свои индивидуальные приемы».

Луначарский уже скоро отмечает водораздел, отделяющий

Маяковского от футуристов: «...Маяковский — не типичный футурист. У него, правда, много крикливой, штукарской «формы», но если вчитаться в его «Человека», «Войну» или «Флейту-позвоночник», вы найдете, что под футуристическими фиоритурами таится антимилитаризм или протест молодого поэта, отодвинутого на задний план капиталом, который за несколько грошей купил его любовь. У него есть всегда содержание... — жизненное — под всеми узорами его. Поэтому Маяковскому легче, чем кому-либо другому, отрешиться от моды, в которую он впал, и, не бросая всю горластость, всю меднотрубность, прогорланить, на трубе сыграть монументально прекрасные вещи. От него этого можно ожидать». В молодом Маяковском Луначарский заметил то основное, что никак не

ложилось в прокрустово ложе футуристических схем и теорий, как и чисто футуристической практики.

Луначарский верил в то, что «формалистические увлечения» Маяковского — явление преходящее, временное. Он писал: «Несмотря на то, что я сильно поспорил с Влад. Маяковским, когда он, перегибая палку, начал доказывать мне, что самое великое призвание современного поэта — в хлестких стихах жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице, в душе я был им очень доволен. Я знаю, что Маяковского в луже на Мясницкой долго не удержишь, а этот почти юношеский (ведь Маяковский до гроба был юношей) пыл и парадокс гораздо приятнее, чем та форма «наплевиизма» на жизнь, которой является художественный формализм при какой угодно выпренности жреческой гордыне».

Частные ошибочные суждения нельзя смешивать с принципиальной эстетической программой человека. Лично я не очень убежден, что художник А. Магарам достаточно точно передает в своих воспоминаниях точку зрения Луначарского на футуризм, описывая посещение Лениным и Луначарским выставки футуристов в Лозанне (1916 г.).

«— Тут и понимать нечего, — сказал Ленин, — это попросту шарлатанство».

Не успел Ленин сказать это, как ему стали рьяно возражать защитники футуризма. На их стороне оказался и Луначарский. Он пытался убедить Ленина в том, что футуристы и кубисты — это «новаторы», ищущие «новые пути» в искусстве, и, мол, это и оправдывает их «творчество».

«Ленин слушал, слушал, — говорит далее Магарам, — и вдруг прервал его. Сделав энергичный жест в сторону «Портрета скрипача Фрица Крейсlera», Ленин напрямик спросил:

— Скажите, Анатолий Васильевич, откровенно — хотели бы вы, чтобы после вас остался вот такой портрет?

Луначарский засмеялся, но откровенно ответил:

— Нет.

— Вот то-то и оно! — сказал Ленин. — Вот это понятно и ясно всем».

Вероятно, Луначарский защищал какие-либо работы, не понравившиеся Ильичу. Но как мог Луначарский «убеждать» Ленина в том, что кубизм — «новаторство», если в статьях тех же лет (а их Ленин, несомненно, читал) громит символистов и иррационалистов за «превращение действительности в неразрешимый кроссворд, осуждает Бенуа за отход от актуальных проблем жизни, Бодлера — за «неясные грезы о возможном потустороннем мире» и т. д. и т. п. Эстетическая программа Луначарского, развернутая им в статьях 1914–1916 годов, хотя

там и были ошибки, в целом никак не совпадает с той «убежденностью», о которой пишет А. Магарам.

Уже в 1918 году Луначарский решительно выступил против попыток футуристов сбросить наследие прошлого с «парохода современности» и объявить себя «государственным искусством». В газете «Искусство коммуны», где нашли отражение подобные взгляды, 29 декабря 1918 года публикуется его статья «Ложка противоядия», направленная против того, чтобы «официальный орган нашего комиссариата изображал все художественное достояние от Адама до Маяковского кучей хлама, подлежащей разрушению». Поводом для выступления Луначарского послужило отмеченное футуристическими поисками стихотворение Маяковского «Радоваться рано», напечатанное 15 декабря в журнале «Искусство коммуны». Известно, что в полемическом пылу Маяковский ответил на выступление Луначарского стихотворением «Той стороне», опубликованным в том же номере газеты, что и статья Луначарского. В речи 29 декабря 1918 года, на диспуте «Пролетариат и искусство» во Дворце труда, Маяковский, по существу, отмежевывается от позиции футуристов. 5 января 1919 года в отчете об этом диспуте газеты «Искусство коммуны» говорилось: «Поэт Маяковский отбрасывает обвинение, что левые будто бы призывают к насилию над старым искусством. Он сам готов возложить хризантемы на могилу Пушкина...» Но убеждение Луначарского об отрицательной роли футуризма в искусстве укрепляется. В 1920 году он заявляет: «Футуризм отстал, он уже смердит».

Недавно опубликованы две записки Ленина о поэме Маяковского «150 000 000». 6 мая 1921 года Ленин пишет: «Как не стыдно голосовать за издание «150 000 000» Маяковского в 5000 экз.? Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм». И вторая записка: «Т. Покровский! Паки и паки прошу Вас помочь в борьбе с футуризмом и т. п.

1. Луначарский провел в коллегии (увы!) печатание «150 000 000» Маяковского. Нельзя ли это пресечь! Надо это пресечь. Условимся, чтобы не больше 2-х раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 экз.

2. Кекелиса к(ото)рый, говорят, художник-«реалист» Луначарский-де опять выжил, проводя-де футуриста и прямо и косвенно.

Нельзя ли найти надежных *анти*. футуристов.

Ленин».

Партия решительно осудила деятельность футуристов, назвав их в Письме ЦК РКП(б) о пролеткультах от 1 декабря 1920 года в одном ряду с

различными декадентами, сторонниками враждебного марксизму искусства.

В 1921 году, то есть до появления журнала «Леф», Луначарский решительно выступил против футуристического лозунга: «Искусство — это производство» и показал, что этим лозунгом прикрываются многие примаазывавшиеся к пролетариату мелкобуржуазные интеллигенты.

«Эти «примаазывшиеся» художники, — писал Луначарский, — как бы говорят: «Да, да, производство. Вы заказывайте, а мы будем производить, только оплачивайте нас как следует, весь вопрос в тарифах...

Можно подумать, — продолжал Луначарский, — что душа у этих художников совершенно умерла, что они не хотят больше выражать никаких идей или чувств, так как у них их нет. Ведь нельзя же в самом деле думать на заказ и чувствовать на заказ, ведь нельзя же забывать, что искусство требует глубочайшей искренности».

Отделяя Маяковского от футуристов, Луначарский поддерживал то сильное, что было в его поэзии. Показательна в этом смысле лекция Луначарского «Новое искусство и его пути», прочитанная 23 мая 1918 года в Большой аудитории Политехнического музея. По свидетельству газеты «Четвертый час» от 24 мая 1918 года, «лектор предвидит появление нового, могучего пролетарского искусства, созданного творцами из народа», искусства, утверждающего «любовь к миру и веру в счастливое будущее человечества... Особенно удачное выражение этого направления лектор видит во Владимире Маяковском». После лекции Луначарского Маяковский сам выступил с чтением последней части поэмы «Война и мир». Луначарский советует поэту сбросить «футуристическую оболочку» некоторых его произведений, в частности «Мистерии-Буфф». Он уверен, что «для Маяковского футуризм будет детской болезнью». Тогда его талант «дал бы ему возможность гораздо серьезнее прогрессировать без всех этих штук и фокусов...».

Легенды о «всепрощающей» «доброте» наркома при ближайшем рассмотрении рассыпаются как карточный домик.

IV. В литературных боях

В сложнейшей борьбе литературных группировок, групп и группок, то и дело возникающих, объединяющихся и распадающихся, Луначарский не был нейтралом.

Тогда не было единых союзов писателей, художников. В литературной среде было много групп со своими творческими платформами и декларациями. «Перевал», «Литературный центр конструктивистов», «Литфронт», остатки лефовцев, переверзевцев, ВОКП (организация

крестьянских писателей). Наибольшую силу тогда, за год-полтора до постановления ЦК партии о создании единого Союза писателей, имел РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей. «Некоторые из лозунгов РАППа теперь вспоминаются с улыбкой, — пишет Ф. Левин, — как детская болезнь, но попробовал бы кто-нибудь тогда взять под сомнение вульгаризаторские тезисы о Магнитострое литературы, о диалектико-материалистическом творческом методе — на дерзновенного инакоборца тут же обрушились бы все теоретические силы РАППа во главе с Авербахом.

А вот Луначарский ничем этим не смущался. В большом блестящем выступлении (речь идет о выступлении в Коммунистической Академии. — А. Е.) он... очень тонко прошелся насчет тех жестких социологических схем, которые то и дело накладывались на живое и многосложное творчество писателей.

В этой речи он и привел ставший знаменитым пример с сороконожкой...

— Она отлично бегала и ходила, — говорил Луначарский. — Но ей задали вопрос: что происходит с твоей семнадцатой ногой, когда третья нога опущена на землю, и в каком положении находится в этот момент твоя двадцать шестая нога и двенадцатая нога? Сороконожка стала думать, что совершается с ее ногами, и... перестала ходить.

Конечно, это было шуткой, а не теоретическим опровержением, и вслед за анекдотом о сороконожке последовала цепь превосходно обоснованных аргументов. Но в шутке было немало яду. Ведь в самом деле: наиболее ретивые рапповцы настаивали на том, что писатель не имеет права писать, пока он не изучит всесторонне курс философии, и они же в своих рецензиях пытались накладывать на художественные образцы категории перехода количества в качество, единства противоположностей, общего, особенного, единичного и т. д.».

В работах Луначарского «Новая книга о музыке» (1925), «О музыкальной драме» (1920), «Судьбы русской литературы» (1925), «Основы художественного образования» (1926), «О социологическом методе в теории и истории музыки» (1925), «Выставка картин П. П. Кончаловского» (1933), «Социальные истоки музыкального искусства» (1929), «Один из сдвигов в искусствоведении» (1926), в докладе, прочитанном на дискуссии в Коммунистической академии «Социологические и патологические факторы в истории искусства» (1929), сказались, как справедливо пишет А. Лебедев, «противоречивость» и «методологическая непоследовательность» «в решении целого ряда

вопросов теории искусства», отдана некоторая дань махистским представлениям.

Нам думается, что при внимательном изучении этих работ становится очевидным, что здесь в такой же мере, как увлечение теориями Маха и Авенариуса, сказалось и давнее увлечение Луначарского Спенсером.

Во всяком случае, ошибки такого рода делали позицию Луначарского уязвимой, чем не замедлили воспользоваться в редакции журнала «На литературном посту». В разносной статье «Тихая заводь» Луначарский изничтожался за «биологизм».

Нарочито обходилось и забывалось главное в идейной позиции Анатолия Васильевича, о чем и писал «Литературный критик», печатая тезисы доклада Луначарского на дискуссии в секции литературы, искусства и языка в Коммунистической академии 31 октября 1929 года: «...Основной смысл этой работы Луначарского заключается вовсе не в «построении биологической эстетики»... а в борьбе против схематического, мертвенного вульгарного социологизма, которому противопоставляется марксистский анализ жизненных явлений во всей их полноте, марксистское изучение творческой индивидуальности».

О принципиальном пересмотре своих прежних представлений о биологической эстетике Луначарский прямо говорит в статье «Ленин и литературоведение». «Среди наших литературоведов, — читаем мы в названной статье, — ...можно было встретить людей, которые считали, что литературоведение марксистско-ленинского характера должно опираться исключительно на социальные науки как таковые... Марксистская социология «снимает» биологию, но горе тому, кто не поймет этого гегелевского выражения, которое сам Ленин тщательно истолковал: «Снять — это значит кончить, но так, что конечное сохраняется в высшем синтезе». Это значит, что биологические факторы больше не являются доминирующими в общественной жизни человека, но это не значит, что можно вовсе игнорировать строение и функции его организма, в том числе мозга, болезни и т. п. Все это приобретает новый характер, все это глубоко видоизменяется новыми социальными силами, но не исчезает».

Журнал «На литературном посту» вел явно нечестную игру, сознательно огрубляя и возводя в мировоззренческий принцип те отдельные ошибки и высказывания Луначарского, которые никак с основами его изменившееся идейной концепции не сопрягались.

Нарочитая субъективность оценок, резкость нередко превращали у налитпостовцев творческий спор о работах Луначарского в «бой на уничтожение».

Характерен в этом смысле диспут о его драматургии, Он происходил 26 ноября 1920 года в Москве, в Доме печати. Поводом к его организации послужила библиографическая заметка П. М. Керженцева «Драматургия тов. Луначарского» в газете «Правда» от 20 ноября 1920 года. Керженцев, критикуя пьесы «Оливер Кромвель», «Маги» и «Иван в раю», обвинял Луначарского ни более ни менее как в том, что многое в его пьесах не отвечает коммунистической идеологии. Открылся диспут докладом Луначарского «Комментарии к моим драмам», с ответом выступил П. М. Керженцев, после чего состоялись прения, в которых участвовали В. Б. Шкловский, В. П. Полонский, С. М. Волконский, В. В. Маяковский, А. Я. Таиров, В. Я. Брюсов и др. Закончился диспут заключительным словом Луначарского и овацией, которой слушатели отметили блестящую речь наркома.

Зрителям действительно не пришелся по душе мистико-символический характер таких пьес, как «Маги». Хотя Луначарский подчеркивал, что «мистическая оболочка», вся символика — внешняя одежда, под которой скрывается определенно реалистическая мысль, творческий срыв драматурга был очевиден. Но «Магов» нельзя было отождествлять, как это сделал Керженцев, с «Кромвелем». Обсуждение превратилось в своего рода избиение. И хотя на дискуссии были и люди, никак не разделявшие взгляды налитпостовцев, многие из них «поддались» общему тону дискуссии.

На диспуте выступил и Маяковский, резко критиковавший Луначарского. Но это было выступление иного рода. К. И. Чуковский вспоминает по этому поводу: «Отношения поэта и наркома друг к другу были свободны, принципиальны и четки... Маяковский, например, никогда не скрывал от Анатолия Васильевича, что, любя его как блестящего критика, он очень невысокого мнения о написанных им драмах и стихах...»

Принципиальные схватки в области искусства отнюдь не рождали у этих людей чувства личной неприязни. Михаил Кольцов рассказывает о вечере, последовавшем за диспутом: «Мы вышли с ним на морозную улицу. А. В. (Луначарский. — А. Е.) закутался в шубу. Мне интересно было узнать, что же у него осталось от этого утомительного сражения. Но он сказал мне только: «Вы заметили, что Маяковский как-то грустен? Не знаете, что с ним такое?..» И озабоченно добавил: «Надо будет заехать к нему, подбодрить». В пылу же словесной драки именно Маяковский особенно не жалел никаких обидных терминов по адресу Луначарского».

«Я был свидетелем разговора Маяковского с одним литератором, — вспоминает Л. Никулин. — Литератор из желания подольститься к

Маяковскому грубо нападал на Луначарского, и поэт очень резко его оборвал.

Спор Маяковского с Луначарским был спором страстных, искренних, честных людей, идущих разными путями к одной цели, к победе социалистической культуры».

Иногда у Луначарского вызывало чувство досады окружение Маяковского, особенно так называемые «теоретики «Лефа». Как-то после вечера, проведенного у Маяковского, Анатолий Васильевич бросил реплику: «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост». Но в общем все это было, «как пятна на солнце, — любила повторять Луначарская-Розенель. — Пятна, которые не мешают ему ни светить, ни греть. А света и тепла в отношениях Луначарского и Маяковского было много».

Борьба шла напряженная.

Авербах и его единомышленники, руководившие РАППом, выдвинули антипартийный лозунг: «не попутчик, а союзник или враг». Луначарский решительно выступил против такого доктринерства. Он — за внимательную, творческую работу с «попутчиками». 9 мая 1932 года «Правда» в редакционной статье квалифицировала лозунг «союзник или враг» как грубую политическую ошибку.

Какую позицию занял Луначарский в борьбе литературных группировок тех лет и, в частности, как он относился к группе А. Воронского (журнал «Красная новь»? Академик И. М. Майский, в то время редактор «Звезды», очень точно сформулировал позицию этой группы: «Теоретическая позиция А. Воронского определялась двумя следующими моментами.

Во-первых, он считал, что «искусство есть познание жизни в форме образного, чувственного созерцания». Тем самым искусство обрекалось на пассивность: оно созерцало жизнь, но не задавалось целью на нее воздействовать. Если все-таки известное воздействие в конечном счете и получалось, то это, считал А. Воронский, происходило уже само собой, стихийно, без каких-либо сознательных стремлений писателя.

Во-вторых, по остро дискутировавшемуся тогда вопросу, возможно ли создание в переходную от капитализма к социализму эпоху, эпоху диктатуры пролетариата, пролетарского искусства, А. Воронский твердо отвечал: нет!»

Противостояла «Красной нови» группа «пролетарских писателей», объединившаяся вокруг журнала «На посту» (Авербах, Родов, Лелевич, Вардин). Ратуя за выдвижение писателей из народа, «напостовцы» нередко

претендовали на абсолютную гегемонию в литературе. Крайняя нетерпимость отличала многие и многие выступления журнала. Несколько особняком стояла «Звезда».

И. М. Майский определяет ее позицию в редакционной статье журнала следующим образом: «Литература интересующей нас эпохи будет, прежде всего, отражать духовное лицо пролетариата, и... творцы ее будут если не всегда плотью от плоти, то уж, во всяком случае, всегда «духом от духа» рабочего класса. Далее, мы можем сказать, что в противоположность буржуазной литературе, стержнем которой является индивидуализм, пролетарская литература будет вся настроена на камертон коллективизма. Пролетарской литературе чужды будут также мистика, пессимизм, упадочность, наоборот, в ней постоянно будут ощущаться родники подпочвенной жизнерадостности, ибо рабочий класс идет в гору, а не под гору. Пролетарская литература будет обеими ногами твердо стоять на земле, жить в массе и с массой, что, впрочем, не помешает ей живо интересоваться проблемами межпланетных сообщений. В литературе «переходного периода», полного великих социальных катаклизмов, конечно, сильны будут боевые настроения и моменты. И конечно, вся она, взятая в целом, будет в громадной степени способствовать повышению революционной энергии пролетариата и всех вообще трудящихся. Ибо, не в обиду будь сказано т. Вороненному, литература есть не только метод познания жизни, но также и весьма могущественное средство воздействия на жизнь».

Точка зрения «Звезды» довольно близко подходила к позиции, которую тогда занимал А. В. Луначарский. На Всесоюзной конференции пролетарских писателей, происходившей в январе 1925 года в Москве, он говорил:

«Художник должен быть колоссально правдив и брать свои образы из подлинной жизни. Всякий писатель, который подменяет жизненный образ надуманным, является лжецом и предателем по отношению к партии... Его психический механизм делится на две части: с одной стороны, это тончайший воспринимающий аппарат, ловящий и фиксирующий жизненные впечатления, и здесь объективность должна быть доведена до высочайшей точки. С другой стороны, это аппарат, воспроизводящий жизненные впечатления в определенных образах и формах, вызывающих определенный психологический эффект... Нисколько не уклоняясь от истины, он (художник. — И. М.) может и должен показать добро и зло, в художественной форме высказать свое суждение об изображаемых явлениях... Писатель — учитель, он зовет к тому, что должно быть. Он

проповедник. Так всегда до сих пор было в России, и так должно остаться. Но если писатель сделается скучным проповедником, если вместо живых образов он будет давать сухие схемы, тогда он фатально выпадет из своего искусства, ибо вся сила писателя в проповеди образами. Мы должны стремиться поэтому к тому, чтобы в чисто художественном образе билось коммунистическое сердце...»

В своем выступлении Луначарский коснулся и острого в то время вопроса об отношении к группе писателей, которых возглавлял А. Воронский. Он сказал:

«Само собой разумеется, мы не можем их отбрасывать... Что же делать? Запрещать? Душить? Ничего подобного! Подобные произведения надо печатать, но одновременно парализовать их вредные тенденции нашей критикой, выдержанной марксистской критикой».

«Невольно приходит в голову, что в этих суждениях было немало тех мыслей и чувств, которые в дальнейшем в гораздо более развитой и законченной форме легли в основу теории социалистического реализма», — замечает Майский.

И это доказано всем развитием нашей литературы.

V. „Это для нас вечная и непоколебимая истина...“

Сегодня споры такого рода могут вызвать разве что недоумение. А тогда...

«Сбросить с корабля современности» бессмертные сокровища прошлого требовали не только футуристы.

Тот же П. Керженцев в журнале «Вестник театра» пренебрежительно назвал позицию Луначарского «старинной». «От имени пролетариата», — так назвал свой ответ Керженцеву в том же номере журнала Анатолий Васильевич. В более поздние издания не вошло примечание, которым сопровождал Луначарский свою статью: «Я не знаю, присутствовал ли т. Керженцев на чисто пролетарском чествовании «буржуазного» Герцена. Слыхал ли он те энтузиастические аплодисменты, которыми пролетарская аудитория наградила исполнение «Эгмонта» «буржуазного» Гёте с музыкой «буржуазного» Бетховена в исполнении «буржуазного» Южина. Если он при этом взрыве восторга испытывал ощущение, что пролетариату нужно еще 20 лет, чтобы понять такие нормы художественности — то его закоренелых предрассудков уже ничто не в состоянии изменить».

Борьба за культурное наследие прошлого была острой и напряженной.

Добро бы противниками были одни футуристы или Керженцев. Даже Ольминский, начавший активное сотрудничество в журналах «На посту» и «На литературном посту», резко выступил против Луначарского. Встав на

крайние позиции вульгарного социологизма, он в 1928 году прямо заявил, что Лев Толстой — писатель «контрреволюционный» и издание его сочинений — политическое головотяпство.

С горечью писал тогда Луначарский: «Великие политические вожди — Маркс, Энгельс, Ленин... прекрасно понимали эту разницу натуры мыслителя и деятеля, с одной стороны, и натуры поэта — с другой... Еще недавно мы имели случай сравнить гениальную многосторонность Ленина в его оценке колоссальной фигуры Толстого с тем монотонным, однобоким и потому неверным подходом, который дал, например, в отношении Толстого т. Ольминский».

Позиция Ольминского ошарашивала: ведь он сам был автором многих превосходных статей о Щедрина, и, казалось бы, не ему было разъяснять непреходящую ценность творений классиков русской литературы.

И эти бессмертные книги нужно было защищать. В страстной, напряженной полемике литературных боев. В статьях Луначарского 1920–1930 годов разворачивается последовательная программа отношения к культурному наследию прошлого. Среди этих статей такие значительные работы, как «Пушкин», «Пушкин-критик», «А. И. Герцен и люди сороковых годов», «Литература шестидесятых годов», «Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности», «Н. Г. Чернышевский как писатель».

«Я утверждаю, — писал Луначарский, — что никакие русские писатели не близки так к нашим воззрениям, к действительным воззрениям пролетариата, как Белинский, Чернышевский и Добролюбов. Самым глубочайшим образом прав Ленин, который о них писал с великим уважением, и Плеханов, большая заслуга которого состоит в том, что он указал как на предшественников нашей науки об искусстве именно на революционеров 60-х годов и, через них, на Белинского». К этой мысли Луначарский возвращается неоднократно. «Это для нас вечная и непоколебимая истина, и мы ни в коем случае не должны поддаваться, когда упадочная интеллигенция при помощи всяческих выкрутас и софизмов старается доказать, будто идеалы демократической революционной интеллигенции 60-х годов — это идеалы мещанской интеллигенции, думая при этом, что мы откажемся от достижений революционной мысли в области эстетики. Этого мы ни в коем случае сделать с собою не позволим».

Вслед за Лениным Луначарский верно оценивает историческую роль и мировоззрения революционных демократов. Он говорил, что если разночинцы, их настроение, учение и тактика были «порождением

капитализма», то из этого отнюдь нельзя сделать вывод, будто они были прямыми или косвенными защитниками капитализма. Тогдашний капитал, вступивший в теснейший союз с дворянским самодержавием и церковью и «показавший главным образом свой лик беспощадного разорителя во имя первоначального накопления, не внушал разночинцам ровно никакой симпатии». Они вызывали его на бой вместе с самодержавным строем, суевериями и «прочими проклятиями русской жизни». Это обстоятельство не могло «не толкать мысль разночинцев на тот же путь, по которому уже пошли наиболее решительные и дальнзоркие представители дворянства, подобные Герцену, то есть на путь социалистических чаяний и стремлений, хотя их социализм не отличался еще выдержанной научностью».

Луначарский настойчиво проводит мысль о преемственности пролетарской культурой лучших завоеваний человеческой мысли предшествующих эпох, неутомимо пропагандирует и марксистски разъясняет массам (он был одним из первых пионеров в этой области) эти завоевания.

Уже в работах начала 20-х годов он выступал против эпигонства, слепого подражательства, некритического, нетворческого отношения к культурному наследию прошлого. В понимании Луначарского слова «учеба у классиков» необходимо включали понятие о творческом осмыслении их опыта, о критической мысли, сопровождающей процесс учебы, о стремлении не повторять пройденное, а идти вперед, в новые, неизведанные края искусства: «Идите туда, учитесь у них. Что это значит: назад? Нет, это не значит идти назад. Это значит: идти до того пласта, на котором можно строить. Это значит: мусор очистить долой, добраться до каменных пород нашей литературы и быстро превзойти всякие образцы».

Предположение Луначарского не могло не оправдаться — сам он был свидетелем расцвета творчества хотя бы таких блестящих мастеров, как Горький, Маяковский, Шолохов.

Эстетическая программа Луначарского получает детальную и точную разработку. Луначарский постоянно возвращается к своей заветной мысли о том, что возможно только критическое, творческое осмысление прошлого.

«Самый новый тип комбайнов и пушек Европы и Америки мы будем перенимать, но делать из этого вывод, будто мы должны также перенимать у современной буржуазии искусство, почти так же наивно и, я бы сказал, преступно, как делать вывод, что мы должны заимствовать у нее современную ее философию или этику.

Наоборот, искусство высочайших кражей европейской культуры:

античности, Ренессанса, конца XVIII — начала XIX века, а у нас в России наивысшего проявления дворянской и в особенности разночинской культуры — остается еще для нас полным жизни и поучительности».

Учеба понимается им как процесс, обязательно включающий в себя не только элементы новаторства, но и ясное представление о национальной и исторической почве, на которой стоит учащийся, о своеобразии условий, в которых этот процесс происходит. На такой концепции строятся все рассуждения Луначарского о природе традиций и новаторства как в творчестве художника, так и во всяком живом процессе, так называемых

«заимствований», где имеет место, разумеется, не ремесленничество, не эпигонство, а создание подлинных человеческих ценностей.

Луначарский не отрицал того, что в процессе учебы современных писателей у классиков могут иметь место и элементы более частного порядка — так сказать, «техническая» учеба, творческое заимствование тех или иных профессиональных приемов и т. д. Но не в этом основное и главное. Говорить о подлинной, а не ремесленной, творческой учебе — это значит говорить о более широких и важных проблемах, включающих понятия о близости мировоззрений, отношения к жизни, методов типизации фактов жизни, осмысления их, направленности творчества — одним словом, главным образом не формы, а содержания творчества. Ведь Шолохов учился у Толстого, но он не схож ни с Толстым, ни с каким другим писателем. Каждый большой художник индивидуален, своеобразен. Слепо копировать его манеру — значит быть не творцом, а ремесленником, значит подражать, а не идти самостоятельным путем. У нас еще часто об этом забывают, когда, найдя у двух писателей несколько формальных, подчас даже стилистических, совпадений, пишут об их творческой близости. Стало традицией зачислять Горького в непосредственные учителя каждого прозаика, Маяковского — каждого поэта. В общем конечном плане это справедливо, справедливо в том смысле, что эти гиганты стоят у истоков всего лучшего, что создало советское искусство за сорок лет своего существования. Это справедливо и в том смысле, что прежде всего у них учатся наши писатели страстно партийному отношению к действительности, действительному вмешательству в нее. Но ведь за этими важными принципами творчества стоят еще и эстетические категории, где разговор можно вести только конкретно, только не забывая о специфике искусства.

Нужно отличать общее от конкретного, нужно помнить о художнической специфике искусства — эта мысль развивается Луначарским почти в каждой статье. План мировоззренческий, план

больших и общих категорий никогда не сужается у него до рамок конкретно-художественного понимания вопросов учебы.

Когда заходит разговор, например, о Некрасове, Луначарским прежде всего подчеркивается тот боевой, наступательный дух, который свойствен Некрасову, но которого нет у Тургенева (хотя, заметим здесь, в конечном итоге оба они включаются критиком в русло магистрального демократического направления в русской литературе).

Наследие Некрасова, говорит Луначарский, по праву входит в золотой фонд нашей культуры. «В борьбе со всякими формами разложения, разочарования, индивидуального чванства некрасовская... муза в высшей степени поучительна и полезна. Нет никакого сомнения, что поэзия нашего времени должна быть некрасовской и не может не быть некрасовской. Конечно, не в том смысле, чтобы мы подражали внешним формам некрасовского творчества или воспроизводили вновь его идеи и чувства, его темы и образы, или переживали вновь те радостные ли, мучительные ли чувства, которые вызывали в нем окружающая жизнь и собственные переживания».

И далее: «В богатой сокровищнице, оставленной нам Некрасовым, все является социально полезным. Как это бывает с истинно крупными людьми, даже недостатки его, даже раны его и раздвоение его делаются в конце концов, пройдя через огонь творчества, чистым золотом, которое может быть с гордостью и пользой внесено в нашу сокровищницу».

И здесь на примере Некрасова Луначарский снова развивает свои мысли о живом, творческом отношении к литературному наследию, о том, что не догматическое усвоение прошлого опыта, а движение на основе его вперед, к новым идейным и художественным завоеваниям, составляет саму основу творческой учебы. «Быть некрасовцем — это значит идти дальше Некрасова, преодолеть его на всех путях, как давно оставлена позади современная ему революция нынешним размахом. Быть некрасовцем — это значит идти в направлении той — полной глубочайшего пафоса революции — гражданской поэзии, которую он развернул перед нашей литературой, идти в направлении той огромной искренности самоанализа, которая имела в нем».

Нельзя забывать о том, что статья Луначарского о Некрасове, написанная к столетию со дня рождения поэта (1921), появилась в период, когда только рождалось советское некрасововедение. Один из основателей его, В. Е. Евгеньев-Максимов, вспоминает:

«Нужно отметить, что статьи А. В. Луначарского и Н. К. Крупской выделяются на фоне всей некрасововедческой литературы 20-х и начала 30-

х годов. Они давали в основном правильную марксистскую оценку творчества Некрасова». Расширяя характеристику, данную В. Е. Евгеньевым-Максимовым статье Луначарского о Некрасове, нужно сказать, что многие работы Луначарского имели такое же большое значение. Не нужно забывать и того, что своим острием они были направлены против пролеткультовских теорий, против пролеткультовской практики...

Высоко оценивая общую направленность и основные выводы работ Луначарского, нельзя пройти мимо его ошибок, вульгарно-социологических схем, столь широко распространенных в те времена.

Поэтому современный читатель легко заметит в работах Луначарского такие, например, ошибки, как вывод критика о «дворянской обывательщине» Евгения Онегина, отнесение Белинского к западникам, объявление революционно-демократического движения «западническим», наносным, или упорный акцент на «дворянском происхождении» Тургенева. Но не эти частные огрехи определяли дух и смысл его работ.

В оценке наследия прошлого Луначарский исходит из понимания специфики искусства, специфичности передачи идеалов художника. Действительно, с точки зрения вульгарных утилитаристов, искавших в каждом произведении искусства лежащие на поверхности идеи и принципы, Венера Милосская, например, не могла быть включена в «актив» пролетариата. Эти люди забывали, что гимн красоте человека, его могучему духовному миру, его чудесным возможностям, каким является это совершенное создание античности, будит в человеке его лучшие качества — гордость самим собой, чувство человеческого достоинства, желание жить осмысленно и прекрасно. Разве все это не в «активе» советского человека? Нет, это принадлежит нам по большему праву, чем кому-либо другому. «Когда я с т. Вилоновым, — вспоминает Луначарский, — и некоторыми другими рабочими, собравшимися в Каприйскую школу со всех сторон России, посетил Лувр и показал им там Венеру Милосскую, по их искреннему восхищению я убедился, что они оценивают ее не только так же, как оценивали ее Генрих Гейне или Глеб Успенский. Тип женской красоты, полной здоровья, независимости, ума и спокойствия, оказывается значащим для нашего времени и... будет особенно приемлемым как раз в социалистическую эпоху...»

В понимании Луначарского хранить наследство — это не значит коллекционировать творения мастеров прошлого, а творчески развивать все лучшее, что было в этом наследстве, бороться за осуществление тех идеалов, которые созданы лучшими мыслителями прошлого. И в этом плане нет никого, кто имел бы большее право называться наследником

демократических и революционных деятелей прошлых эпох, чем победивший пролетариат.

«Например, у классиков молодой буржуазии имелось огромное количество весьма правильных и широких концепций относительно свободного общества и свободной личности. Но все это было смято временем. Их класс пошел по дороге эксплуатации, и юношеская буржуазная классика была растоптана. Буржуазия либо отказалась от таких своих классиков, либо оставила их в своем гербарии для того, чтобы иногда почваниться такими хорошими связями и украсить этими засохшими цветами голый череп ненавистной всему человечеству тирании.

Но эти самые цветы, будучи освежены нашей внешней водой, вновь расцветают. Эти произведения начинают говорить громким голосом, они начинают вновь петь свою песню, и она довольно хорошо входит в общий хор наших голосов: в худшем случае, — если даже в ней кое-что звучит на наше ухо фальшиво, — она напоминает о необходимости создать такую же, но еще лучшую и более современную песню».

„ФИЛОСОФСКИЕ ПОЭМЫ В КРАСКАХ И МРАМОРЕ"

Сила... таланта основана на живом, неразрывном единстве человека с поэтом. Тут замечательность таланта происходит от замечательности человека, как личности, как натуры... Самобытность поэтических произведений есть отражение самобытности создавшей их личности... Гений есть высочайшее развитие личности.

В. Г. Белинский

Когда-то, еще в годы творческой юности, объявляя войну декадентству и мистицизму, Луначарский писал: «Если бы молодой художник спрашивал бы меня, что нужно для того, чтобы из него вышел хороший мастер, я бы в отличие от академистов сказал ему: «Окупись в жизнь, будь революционером, поработай пару лет на агитационной работе, в казарме или в деревне, поброди по великой, новой, взбаламученной России, возмись за какую-нибудь трудную работу, дай тому общественному пламени, которое сейчас гуляет по жилам всей Родины, обжечь твое сердце, и потом берись за карандаш, кисть, перо».

Эти слова были эстетической программой Луначарского. Через странствия по Руси, этапы и ссылки, через скитания по темным дорогам Европы пронес он свои убеждения.

Десятки лет отделяют «Диалог об искусстве» от борьбы с РАППом. Окрепший в школе Ленина, его многогранный талант очищается от ржавчины махизма, веяний спенсеровских увлечений, обогащается опытом грандиознейшей культурной революции, какой еще не знала история.

Продолжая лучшие традиции революционно-демократической критики, традиции Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, обобщая огромный опыт трех революций, опираясь на твердый фундамент марксистско-ленинской философии, Луначарский, Боровский, Ольминский, Шаумян, Спандарян выводят русскую критику на новый, высший рубеж эстетического познания мира и человека.

І. „Критик — это боец и строитель"

Окидывая единым взглядом воистину огромное критическое наследие Луначарского, нельзя не увидеть цементирующих его общих закономерностей и принципов. Этот ясно видимый идейно-эстетический стержень сопрягает, казалось бы, самые отдаленные по тематике работы Анатолия Васильевича — о Вагнере и Демьяне Бедном, Гоголе и Уткине, Верхарне и Горьком, Дебюсси и Роллане, Маяковском и Качалове, Комиссаржевской и Киршоне.

Раздумья о характере марксистской критики в новом обществе разбросаны по многим и многим статьям и книгам Луначарского. Но, пожалуй, наиболее концентрированно-обобщенно они высказаны в «Тезисах о задачах марксистской критики» («Новый мир», 1928 г.), остающихся и сегодня боевой программой нашего искусства.

Он имел, конечно, полное моральное право опираться только на свой опыт. Но ясно, что такая фундаментально-программная вещь могла родиться лишь на основе обобщения критической деятельности не только таких гигантов, как Маркс, Энгельс и Ленин, но и работы всего боевого отряда критиков-марксистов, творчески развивавших марксизм в новых условиях — Плеханова, Лафарга, Кирова, Воровского, Ольминского, Шаумяна, Спандаряна и других.

Критика, утверждает Луначарский в «Тезисах», «призвана теперь рядом с литературой быть интенсивным, энергичным участником процесса становления нового человека и нового быта».

Много раз упрекали Луначарского за подчеркивание им приоритета социологического анализа над чисто художественным. Упреки эти не учитывают время работы критика — годы ожесточеннейшей политической борьбы, в самых острых формах. Потому в противовес эстетствующей субъективистской критике и выдвигается столь настойчиво тезис о связи литературы «с психологией тех или иных классов», чтобы «дать целостную картину всего общественного развития».

Луначарский и не думал низводить роль и значение эстетического анализа: «Нельзя, — говорится в «Тезисах», — отрицать... обособленной задачи исследования литературных форм, к которым марксист не может быть глухим». Но и «они в свою очередь должны находить общественное истолкование».

Задача критики — «применять методы марксистского анализа к особой области — литературе», выяснять «закономерные причины появления того или другого произведения».

Основное положение Луначарского-критика не может не быть действенным оружием в руках партии: «Марксизм не есть только

социологическая доктрина. Марксизм есть также активная программа строительства». От критики нельзя не требовать «определенного воздействия на... среду».

И опыт бойца и убежденность звучат в этих строках: «Критик-марксист — не литературный астроном, поясняющий неизбежные законы движения литературных светил от крупных до самых мельчайших. Он еще и боец, он еще и строитель. В этом смысле момент оценки должен быть поставлен в современной марксистской критике чрезвычайно высоко». «Критик-марксист является в значительной мере учителем» (подчеркнуто нами. — А. Е.). И писателя и читателя.

Так понимал он свою цель, так и работал.

Глубинная оценка в искусстве, размышлял он, должна «судить о том, правдив ли художник, судить о том, правильно ли сочетал он правду с основными стремлениями коммунизма».

Доброжелательность, партийная широта взгляда всегда были свойственны Луначарскому-критику, и здесь, в «Тезисах», он снова дает бой узости, сектантству, вкусовщине и групповщине: «Самый лучший критик тот, который способен с энтузиазмом, с восхищением относиться к писателю и который, во всяком случае, заранее братски к нему дружелюбен». Так было и так будет — «из сотрудничества крупных писателей и литературных критиков с крупными талантами всегда вырастала и впредь будет вырастать истинно великая литература».

Сколь часто еще в наших литературных спорах мы отходим от единственно плодотворного и верного принципа, которым всегда руководствовался Луначарский: «великой радостью» критика «должно быть найти положительное и показать его читателю во всей ценности. Другую для него целью должна быть его помощь — направить, предостеречь, и только в редких случаях может явиться надобность постараться убить негодное разящей стрелой смеха или презрения...»

А ведь это основное для создания истинно творческой атмосферы в искусстве.

Всей своей работой в критике Луначарский, собственно, «переводил» тезисы на конкретный язык творческого разговора, где в диалектическом единстве выявлялись и принцип отражения действительности писателем и его классовый идейно-эстетический идеал — претворение ленинской теории отражения в художническо-критическую практику.

В таких принципах анализа и лежит, собственно, причина неотразимой убедительности и влияния на умы работ Луначарского. Мы часто пишем о точности и богатстве его аргументации, блеске таланта, но силу и мощь

этому таланту давала прежде всего мировоззренческая концепция.

Строки Луначарского выходили из жизни, чтобы снова уйти в нее, не только вызвав ответную волну чувств, но и укрепляя позиции действенного отношения к жизни, убивая созерцательность, равнодушие, пассивность. Статьи Луначарского — менее всего холодные академические ажурные храмы. Они — клинок в руке солдата, знамя атакующих.

Это защита тех же идей революции, только на фронте искусства.

Критика обретает истинную объективность и действенную силу, если она опирается на ленинские принципы партийности искусства. Вновь и вновь возвращается в своих работах Луначарский к статье Ленина «Партийная организация и партийная литература», чтобы подчеркнуть ее актуальнейшее значение для современного литературного процесса: «Несмотря на то, что со времени написания этой статьи прошло более четверти века, она до сего времени ни на йоту не потеряла своего глубочайшего значения. Более того, основной принцип партийности литературы, служащей делу социалистического переустройства мира, в настоящее время так же актуален, как и развернутая в статье жесточайшая критика буржуазной литературы», как и пламенная характеристика будущей социалистической литературы, служащей миллионам-и десяткам миллионов трудящихся. Статья «Партийная организация и партийная литература», «содержащая руководящие указания по вопросам литературной политики партии, лишний раз свидетельствует о том, как огромно было бы участие Ленина в тех жгучих литературных спорах, которые особенно широко развернулись после его кончины».

Задача критики, говорил Луначарский, установить художественное достоинство того или другого произведения не голословно, не путем простой ссылки на свой вкус, на «нравится» или «не нравится», а путем размышления над правилами самого искусства, путем сравнения с другими произведениями и т. Д. («Пушкин-критик»). В само понятие красоты в искусстве Луначарский включает важные категории. Здесь и широта охвата изображаемого, и сила организации материала, сила правдивости, «сила пафоса чувства», соразмерность частей произведения, спаянность их единым замыслом. Вне этих категорий, говорит Луначарский, невозможно вынести эстетическое суждение. И разговор о просчетах плодотворен только тогда, когда к ним относят не мелочные оплошности, не субъективно «не понравившиеся» детали, а поверхностность темы, ложные принципы организации материала, манерность изложения, «отсутствие» какой бы то ни было целесообразности, отсутствие какой бы то ни было напряженной и высокой человечности в тех ощущениях, которые

производятся данным произведением. Что же такое красота в художественном творении? — спрашивает Луначарский.

«Когда мы говорим о красоте произведения, мы всегда имеем в виду силу его воздействия...

С узкой точки зрения красота всегда сводится к приятным для наших органов чувств элементам произведения или предмета... или к приятным представлениям физического совершенства, жизненной силы, здоровья, умственного блеска, нравственной привлекательности и т. д.

Но мы очень хорошо знаем, что искусство не сводится только к такого рода красоте. Искусство может включать в себя вещи с этой условной точки зрения некрасивые и даже прямо-таки безобразные. Искусство имеет дело, как отметил еще Аристотель, и с прахом, и с страданием, и с необыкновенно точно воспроизведенными отталкивающими условиями жизни (Флобер). И все это, однако, искусство может преодолеть. Изображая ободранную тушу быка или звериную схватку волков, Рембрандт или Леонардо да Винчи поднимаются до вершины красоты и заставляют нас произнести сакраментальное слово «это прекрасно». Огромная сила впечатления, покоряющая зрителя или читателя, заставляющая его по-новому представить себе мир, по-новому думать о нем, организующая таким образом его мироощущение, — вот, собственно говоря, что такое красота. Чем она сложнее, чем она новее, чем она дальше уходит от «элементарной» красоты, тем более мы восхищаемся, потому что в тем более трудных областях производит она свое организующее дело.

А недостаток? Недостаток — это то, что отталкивает нас, то, что свидетельствует о слабости художника, о том, что он не смог справиться со своей задачей, что он, по отсутствию сил или по лукавству (?) лжет нам, что он говорит нам вещи, вовсе не нужные для нас, а потому скучные, и т. д.».

Мы видим, что выводы Луначарского проистекают из его понимания искусства как своеобразной, специфической формы отображения действительности.

В статье «Русская критика от Ломоносова до предшественников Белинского» (1929) он замечает: «Критика не может надолго останавливаться исключительно на чисто формальной стороне, она не может не поставить перед собой прежде всего общего вопроса — о роли литературы в общественной жизни, о значении писателя».

II. Я хочу знать нового человека..."

На книге «В такие дни» Брюсов надписал: «Поэту Анатолию Васильевичу Луначарскому преданный ему автор». В книге —

стихотворение «А. В. Луначарскому»:

В дни победы, где в вихре жестоком
Все бывшее могло потонуть,
Усмотрел ты провидящим оком
Над развалом зиждательный путь.
Пусть пьянил победителей смелых
Разрушений божественный хмель,
Ты провидел, в далеких пределах,
За смятеньем конечную цель...
В ослеплении поднятый молот
Ты любовной рукой удержал,
И кумир Бельведерский, расколот,
Не повергнут на свой пьедестал.
Ты широко вскрываешь ворота
Всем, в ком трепет надежд не погиб, —
Чтоб они для великой работы
С сонмом радостным слиться могли б.
Чтоб над черными громами, в самой
Буре мира — века охранить
И вселенского нового храма
Адамантовый цоколь сложить!

Эти строки Брюсова символичны. Для многих и многих советских писателей Луначарский был воистину большим другом.

Зорко следят он и его боевые соратники по большевистской критике за рождением нового пролетарского искусства.

«Маркс сказал когда-то о Вейтлинге, что детские башмаки гиганта пролетария сразу показали калибр его будущего и оказались ценнее стоптанных туфель буржуазии. Мы можем сказать то же самое и о нашей зарождающейся литературе, бесконечно много обещающей», — писал А. Луначарский.

«Чтобы услышать слабый еще голос зарождавшейся новой жизни, надо было в те годы внутреннего обновления быть самому молодым душою», — говорил В. Боровский.

Луначарский был молод душою.

Находясь в самой гуще революционного движения, внимательно следя за литературным процессом в России, он все чаще задумывается над

судьбами реалистического искусства, над проблемами его дальнейшего развития. Критику было ясно, что пролетарское движение выдвигает перед художниками революционно-демократического лагеря такие задачи, которые не могут плодотворно решаться методом «старого», критического "реализма, что нужны более действенные формы и способы писательского вмешательства в жизнь. Луначарский не мог не заметить, что в самом литературном процессе в связи с ростом рабочего движения идут качественные изменения, наиболее ярко сказывающиеся в творчестве Горького.

Все это заставило Луначарского внимательно изучить новые литературу и искусство, глубоко продумать происходящие в них процессы. В итоге этого изучения родился целый ряд теоретических заключений Луначарского о природе и характере нового реализма, о специфике и особенностях нарождавшегося пролетарского искусства.

После Октября перед Луначарским не мог не встать вопрос о принципах осмысления в искусстве новой жизни, о передаче характеров ее творцов, о качественно новых процессах, протекавших в литературе.

Вопрос этот вставал перед всеми писателями.

«А те новые типы, кому еще в литературе нет имени, кто пылал на кострах революции, кто еще рукою призрака стучится в бессонное окно к художнику, — все они ждут воплощения. Я хочу знать этого нового человека. Я хочу знать сегодня самого себя... — говорит Алексей Толстой. — Я противопоставляю эстетизму литературу монументального реализма. Ее задача — человекотворчество. Ее метод — создание типа, ее пафос — всечеловеческое счастье — совершенствование. Ее вера — величие человека. Ее путь — прямо к высшей цели: в страсти, в грандиозном напряжении создавать тип большого человека».

И такой тип появлялся в литературе. Его художническое рождение было подготовлено всеми идейными, творческими достижениями дооктябрьской литературы.

Однажды, еще в юности, Луначарский встретился с писателем Гариным-Михайловским, который заверял молодого революционера: «Ну, если пролетарская литература когда-нибудь и придет, то, во всяком случае, ее создаст сам пролетариат, и только после победы. Сейчас положение пролетариата, экономическое и культурное, слишком загнанное. Он из своей среды выдвинуть своих собственных художников не может. Если интеллигенция может за пролетариат думать, то чувствовать за него она, во всяком случае, не может». Эти слова Гарина-Михайловского Луначарский вспомнил, приветствуя как-то А. С. Серафимовича.

Мнение Гарина-Михайловского Луначарским не разделялось. Он полагал, что, несомненно, наиболее развитые формы новое, пролетарское искусство получит после победы революции, но самое возможность возникновения такого искусства никак не ставил в связь с этой победой. Луначарский ссылался не только на пример творчества Горького и Серафимовича, но и на практику современных ему пролетарских литератур Германии, Франции и Соединенных Штатов Америки.

В «Письмах о пролетарской литературе» Луначарский, по существу, исследовал ту почву, на которой выросло искусство социалистического реализма. Оно не родилось на голом месте, если даже говорить только в плане литературных традиций, оно имеет корни в богатой и разнообразной революционной, пролетарской литературе конца XIX века. Уже тогда Луначарский спрашивал:

«Существуют ли уже прекрасные произведения этой наиновой литературы?

Да. Они существуют. Быть может, нет еще решающего шедевра; нет еще пролетарского Гёте; нет еще художественного Маркса; но огромная жизнь уже разворачивается перед нами, когда мы приступаем к знакомству с социалистической литературой, ведущей к ней и подготавливающей ее».

Когда у нас пишут о возникновении искусства социалистического реализма, упоминают обыкновенно лишь Горького и Маяковского. Но ведь направление в литературе, метод искусства не может «держаться» творчеством двух писателей. Направление — это широкий поток, состоящий из сложных и самых разнообразных явлений, единых в своей общей сущности, но весьма различных в единичных проявлениях. Метод не возникает на голой почве, как Афродита из пены морской. Он рождается как качественный скачок, качественное превращение предшествовавшего литературного опыта, он имеет истоки в прежних общественно-литературных традициях, наиболее близких новому методу по своему характеру. И не случайно, говоря о тем рубеже, где новое качество революционной, пролетарской литературы становилось заметным и ощутимым, Луначарский вспоминает вместе с Горьким и Серафимовича, и плеяду поэтов-«правдистов», и лучшие достижения зарубежной социалистической литературы.

Но основоположником искусства социалистического реализма, художником, на практике показавшим новые принципы литературы, Луначарский по праву считает Горького, которому он посвятил проникновенные статьи.

Опираясь на анализ романа «Мать» и пьесы «Враги», Луначарский

приходит к выводу, что Горький «хочет потрясти своих слушателей и читателей вестью о жизни, как она есть, какой она могла бы быть и какой она должна быть — потрясти их воспроизведением жизни в ее стонах, воплях, жалобах, кошмарах, в ее падении, поражении, в ее стремлении к лучшему и в победах. Горький хочет дать не просто образ жизни — он хочет истолковать ее как глубочайшую обиду по отношению к большинству людей, дать величайший призыв к обиженным... Горький пишет не для того, чтобы понравиться, а для того, чтобы подействовать на сознание людей, заставить их бороться за более высокий общественный строй...» (Подчеркнуто нами. — А. Е.) Луначарский очень точно подметил в творчестве Горького то, что позднее мы определили как неизменную и характернейшую черту искусства социалистического реализма — изображение жизни в ее революционном развитии. Он указал и на «интенсивность» такого «стремления» изображать жизнь у Горького.

Не были ли приведенные выше слова случайной оговоркой? Нет! Луначарский наблюдал рождение нового метода, уже не вмещающегося в рамки искусства критического реализма, метода, рождение которого связано с развитием пролетарского движения в России, укреплением позиций социалистической идеологии. Сам термин «социалистический реализм» подчас не употребляется, но основные черты его прояснены довольно точно.

Перефразируя статью Горького «О литературе и о прочем», Луначарский пишет, что, когда мы видим картину невероятного напряжения творческих сил масс, картину изумительного взлета человеческой энергии и героизма, «мы спрашиваем себя: а может быть, реалистический метод здесь уже недостаточен, может быть, нам нужно, кроме реалистического метода, обратиться к романтике» (подчеркнуто нами.-А. Е.). Важно здесь отметить то, что Луначарский отнюдь не рассматривает новый метод как механическое соединение реализма и романтики, чем грешили многие и более поздние исследователи. Нет, новое качество литературы социалистического реализма он выводит из самого процесса осмысления жизни, раскрытия ее в живом развитии. Отсюда и появляется в рассуждениях Луначарского термин "диалектико-материалистический", отнесенный им к новой пролетарской литературе вообще и, в частности, к Горькому.

Для того чтобы быть новатором в литературе, по Луначарскому, нужно «в тех процессах и образах, которые вы черпаете из жизни, прежде все. го выявить раздвоение каждого единого... показать, как под влиянием воздействия окружающего и... под влиянием внутреннего развития...

получается переход к следующей стадии развития...» Здесь уже заключен вывод о необходимости не только понимать и видеть противоречия развития, но и намечать перспективы, горизонты его. Писателю, говорит Луначарский, нужно «брать большие размахи в истории, указывать не только то, чего мы достигли, но чего мы достигнем. Это можно сделать путем... полета вперед, путем изображения того, что будет через десять, двадцать пять лет, изобразить не только то, что дано историей, но шагнуть дальше, в будущее, чтобы нынешние достижения и их тенденцию выявить с гораздо большей эффективностью, с гораздо большей мощностью» (подчеркнуто мною. — А. Е.).

Так понимал Луначарский роль и значение революционной мечты в творчестве писателя, значение взгляда в будущее для воспитания новых поколений строителей коммунизма.

Луначарский, считая ведущей тенденцией советской литературы утверждение высоких идеалов коммунизма, призывал писателей вести «такую работу над образами окружающего, в которой героическое начало доведено до высшей ступени, где типы нового человека были бы не только рождающимися, но и родившимися, в которой были бы показаны подвиги и достижения не только через очень хорошее и точное наблюдение, но и через процесс продолжения тенденции. Тогда писатель показывает уже не только то, что есть, но и то, что становится, и притом то, что должно, по нашему мнению, становить с я, что лежит в нашем закономерном развитии, к чему мысами имеем тенденцию, что мы хотим и в существовании чего мы глубоко убеждены» (подчеркнуто мною. — А. Е.).

Именно это новое качество реализма Горького и имеет в виду Луначарский, когда он пишет, что ему «недостаточно реалистического метода», что его метод — это программа «романтического извода реализма — его включения в романтику».

Луначарский призывает советских писателей показывать наших людей так, чтобы они видели себя преображенными, лучшими, такими, какими они могут быть, какими они хотят быть. Это выпрямит человека и даст ему мужество.

Уже тогда Луначарскому пришлось столкнуться не только с отечественными, но и с зарубежными критиками метода социалистического реализма, с людьми, утверждавшими, что следование этому методу, изображение «того, чего еще нет», есть фальсификация действительности и искажение правды жизни. Нет, отвечал таким «теоретикам» Луначарский, Романтика социалистического реализма — «это не романтика лжи, возвышающего обмана, это романтика будущего...

Мы хотим искусства, которое наши высокие чувства дает в высочайше оформленном виде. Такого рода искусство законно, и о нем нам напоминает Горький» (подчеркнуто мною. — А. Е.).

Концепция развития нового, революционного искусства, разрабатываемая Луначарским, была необыкновенно близка положениям, выдвинутым в работах Воровского и Ольминского, Шаумяна и Спандаряна. Именно этой когорте первых марксистских критиков принадлежит честь теоретической разработки проблем творческого метода советского искусства.

Боровский, как и Луначарский, не отрывает творчество Горького от предшествовавшей ему русской литературы. Именно в важнейших достижениях ее видит критик почву, на которой вырос великий пролетарский писатель, истоки его художественных поисков. Говоря о преемственности демократических традиций революционной литературой, критик, вместе с тем не отождествляет демократизм и революционность. На примере Чехова и Горького он показывает, что горьковские «искания правды» качественно отличаются от чеховских поисков «счастливой жизни».

В. Боровский решительно отвергает довольно распространенный в то время взгляд на раннего Горького как на певца и идеализатора «босяцкого» пролетариата. Говоря о нечеткости социальных воззрений молодого Горького, Боровский указывает, что Горький никогда не видел в «босяках» силу, способную преобразовать мир, он только подчеркнул, что в среде униженных и оскорбленных обществом существуют не только порок, преступления, разврат, но и высокие чувства, героические поступки, то светлое и прекрасное, чего напрасно было бы искать в «высшем» обществе.

Боровский правильно отметил, что для того, чтобы «заглянуть в завтра» революционного пролетарского движения, должен родиться новый метод искусства. Одну из черт этого возникающего нового в литературном процессе критик связывал с появлением в произведениях Горького революционной романтики:

«На заре движения, когда только начинают формироваться первые кадры будущего боевого класса и умы охватывает еще неясная, расплывчатая, хаотическая идея борьбы, эстетическая идеология проникнута лишь неоформленными, радостными предчувствиями и чаяниями, преисполнена сознания избытка накапливающихся сил и жажды дать исход этим силам.

Не чувствуя еще под собой прочной, реальной общественной почвы, эта эстетическая идеология сама чужда реализма. Исходя из предчувствия

назревающего будущего, она окрашена элементами фантастики, она романтична. Как тонко замечает в одном месте К. Маркс, «в период, когда пролетариат еще очень неразвит, а, следовательно, и сам еще представляет свое положение фантастически, — фантастическое изображение будущего общества возникает из первого, полного предчувствий, стремления пролетариата к совершенному преобразованию общества». Эта склонность к фантастике — в сфере ли политического или художественного строительства — проявляется в искусстве как склонность к романтике».

Зорким взглядом художника Боровский, как и Луначарский, подметил в творчестве Горького новые качества, проявившиеся в литературном процессе, качества, связанные с социалистическим революционным движением масс.

Выводы Воровского очень близки к более позднему высказыванию Горького: «Для того, чтобы ядовитая, каторжная мерзость прошлого была хорошо освещена и понята, необходимо развить в себе умение смотреть на него с высоты достижений настоящего, с высоты великих целей будущего. Эта высокая точка зрения должна и будет возбуждать тот гордый и радостный пафос, который придает нашей литературе новый тон, поможет ей создать новые формы, создаст необходимое нам новое направление — социалистический реализм, который — само собою разумеется — может быть создан только на фактах социалистического опыта». Видя в произведениях Горького отражение именно фактов социалистического опыта, фактов революционной борьбы, социалистического движения масс, Боровский и заговорил о новом качестве реализма Горького — реализма социалистического.

Концепции Луначарского, Воровского и Горького смыкаются в определении существа нового романтизма и общественных причин, способствовавших его появлению. Но за этой общностью в главном стоит и существенное различие. Если Горький и Луначарский рассматривали романтизм как новое качество нового развивающегося искусства, искусства, которому принадлежит будущее; если они видели в революционном романтизме силу не только сегодняшнего дня литературы, но и ее дальнейшего развития, то Боровский тогда полагал, что это новое качество — революционный романтизм — прогрессивно только на первых этапах развития рабочего движения и пролетарской литературы. Боровский считал, что романтизм — следствие неформальности, неясности, «расплывчатой хаотичности», «романтического увлечения» первых шагов рабочего движения, что по мере возмужания и роста его он перестанет

быть прогрессивным, заменится четким и «ясным», «реалистическим» взглядом художника на мир.

Здесь сказалась двойственность концепции Воровского, противопоставившего реализм романтике. Отсюда и упреки Горькому в «идеализированной односторонности» героев романа «Мать».

Но романтизм произведений раннего Горького не только не «изживал себя» в последующем творчестве писателя, а, наоборот, приобретал новые качества в связи с тем, что изменялся положительный герой литератора, что Горький все органичнее впитывал всем своим существом художника животворные идеи марксизма, давшие ему возможность с таким мастерством вылепить образы рабочих и революционеров.

Иная концепция у Луначарского.

В статье «Максим Горький» он связывает появление нового метода искусства с проблемой положительного героя, с тем, что Горький нашел «в пролетарии свой положительный тип». Интересны здесь и наблюдения критика над особенностями романтики социалистического реализма. Она не привнесена извне, она органически пронизывает все повествование («Мать»), освещает глубоким внутренним огнем каждый образ революционера.

«Социалистический реалист, — писал Луначарский, — понимает действительность как развитие, как движение, идущее в непримиримой борьбе противоположностей. Но он не только не статик, но он и не фаталист: он находит себя в этом развитии, в этой борьбе, он отделяет свое классовое положение, свою принадлежность к известному классу, он определяет себя как активную силу, которая стремится к тому, чтобы процесс шел так, а не иначе. Он определяет себя как выражение исторического процесса, с одной стороны, а с другой стороны, как активную силу, которая определяет собой ход этого процесса».

И вполне естественно, что, решая вопросы развития нового искусства, подмечающего в жизни ростки завтрашнего дня, Луначарский не может обойти проблему типического в литературе социалистического реализма.

«Что значит художественный тип?» — спрашивает Луначарский. И отвечает:

«Создать художественный тип — значит подметить в обществе какие-либо широко распространенные положительные или отрицательные черты или их комбинации и сплести их в одну личность, которая была бы возможно более тонко и глубоко похожа на себе подобных живых людей, но ярче выявляла бы ту характерную комбинацию, которую хотел художественно осветить автор.

Однако этим дело создания подлинно художественного типа не заканчивается. Если художник чутьем и сознанием своим аналитически выявил в обществе данные черты и потом искусно синтетически сложил их в образ, образ этот непременно будет носить на себе печать механичности: это будет, может быть, необыкновенно хорошо сработанная кукла, весьма похожая на живых людей, очень сложная, очень поучительная, но не больше того. Такие типы годятся в дидактической литературе...

Но искусство может дать больше. Оно дает больше, если талант художника позволяет ему вообразить и воплотить подлинную индивидуальность, то есть личность неповторимую, как любая живая личность, но сделать это так, что черты широчайше-типические от этого не только не страдают, но находят свое естественное дополнение, свое острое завершение в чертах чисто индивидуальных.

Почти все великие типы и огромное большинство действительно крупных типов сделаны так. Художник рождает на свет новую личность, совершенно пластическую, совершенно живую, и тогда жизнеспособность такой личности-типа оказывается большей, чем у подавляющего большинства живых людей; люди рождаются и умирают, а Эдип или Гамлет живут сотни лет и не показывают никаких черт одряхления». (Подчеркнуто мной. — А. Е.).

Что особенно характерно для этого замечательного положения Луначарского? Это прежде всего и постоянный акцент на мысли о том, что типическое, обобщенное невозможно вне индивидуального, что тип — это не мертвая социологическая категория. Луначарский идет вслед за Марксом, высказавшим в письме к Лассалю мысль о том, что нужно «шекспиризировать» действующих лиц, делать их не только носителями известных тенденций, а многогранными характерами. Только из идеи живые образы не создаются.

Луначарский, Боровский и Ольминский подчеркивали, что сама жизнь выдвигала тогда перед литературой создание типического образа рабочего, революционера, борца, человека, может быть, и «мало распространенного», но типического, определяющего характер нового, нарождающегося в жизни.

Теория искусства социалистического реализма рождалась в муках, спорах, смелых теоретических экспериментах, подчас и не во всем плодотворных. Но общее направление поиска было верным.

III. Богатство искусства и плакатный интеллектуализм

Некоторым ранним статьям Луначарского было свойственно качество легкого, остроумного, немного на французский лад экспромта. Нет, зрелые

статьи критика не стали тяжеловесней. Они так же изящны, непосредственны, написаны легко, с блеском, как бы на одном дыхании. Но они разворачиваются в большую глубину, и стилистический блеск в них сопрягается с блеском сложнейшей и разносторонней аргументации, взвешенной тщательно и придирчиво.

Уже в первые годы существования молодой советской литературы Луначарский объявил беспощадную борьбу схематизму, упрощенчеству, плакатности, умозрительности в искусстве. Он за «агитки» в смысле политической целенаправленности произведений, но он против книг, где образы лишь иллюстрации к политическим выводам, где идея не облечена в живую ткань образов, где она «лежит на поверхности повествования».

«...Так называемое «безыскусственное» искусство, может быть, самое искусное. И дело художника заключается в том, чтобы вовсе не фотографировать, не протоколировать факты, а создавать их путем воображения и фантазии...» (Подчеркнуто мною. — А. Е.)

Идея Должна лежать не на поверхности произведения, а вытекать из «внутренней правдоподобности» образов, из логики развития их характеров, говорит Луначарский.

Выявлению идеи служит все в произведении, но она «спрятана» в ткань живых, развивающихся образов, она нигде не проступает на поверхность повествования, она формируется в сознании читателя сложным, опосредствованным образом. Именно потому так высоко отзывается Луначарский о композиции рассказов Горького, что в них нет ничего лишнего, они неуклонно ведут к концу, «конец обыкновенно является настоящим концом, то есть он вас окончательно ставит на ту точку зрения, к которой вас подводили в рассказе».

Путь выявления идеи в художественном произведении всегда сложен и опосредствован в том смысле, что здесь действует художественная логика, логика развития характеров, а не умозрительная логика сухих доводов или прямых публицистических заключений. По мысли Луначарского, идея произведения вытекает из «самодвижения» вещи, самодвижения, возникающего как результат конфликтов и столкновений, подмеченных художником.

Выступая за создание нового, пролетарского искусства, Луначарский никак не думал снижать к нему, поскольку оно молодое, художественно-эстетической требовательности. Он целиком разделял мнение Станиславского о том, что высокие идеи революции нельзя опошлять ремесленничеством, серостью или халтурой: «...Если нам, театру, дадут несовременный, косноязычный, сухой, искусственный материал, то как бы

ни был он публицистически согласован с высокими идеями революции, этим идеям мы не сможем дать должного звучания; мы не сможем, как театр, как художники, послужить революции». Эти слова, приведенные Луначарским в статье «Станиславский, театр и революция», он заключает так: «Фальшью прозвучит для всех несовершенный материал...» Художественность — неперенное условие всякого подлинного искусства.

Луначарский выступает и против натуралистического копирования действительности. Он говорит: «...Жизненность... вовсе не сводится к непосредственной правдоподобности».

Придавая огромное значение воспитанию молодой поросли литературы, Луначарский постоянно указывает, что высокое мастерство не только дар таланта, «но и результат большой обогатительной работы сознания».

Все это теоретические положения. Но Луначарский отстаивал высокие принципы художественности не только в области теории: он существенно влиял на литературный процесс своего времени, бичуя серость и ремесленничество и неизменно поддерживая все подлинно талантливое. Приходится поражаться верности и прозорливости критических суждений Луначарского, его эстетическому вкусу. Ведь не кто иной, как Луначарский, был одним из тех критиков, которые поддержали в годы творческой юности тех мастеров, которыми мы по праву гордимся сегодня.

Именно за блестящее мастерство, соединенное с высокой идейностью, так ценил Луначарский талант Д. Фурманова. В предисловии к «Чапаеву» он писал: «Книжка очень читается, она представляет собою один из самых ярких успехов в нашей послереволюционной беллетристике... Из нее выходишь обогащенным и многими точными и важными знаниями относительно внешних и внутренних черт нашей гражданской войны, и новыми чувствами растущего в груди читателя революционного энтузиазма». «Чапаев», говорит Луначарский, стоит в одном ряду с «Железным потоком» А. Серафимовича. И «будем радоваться тому, что у нас есть такие книги, как «Чапаев», и пожелаем ей самого широкого распространения».

Одним из первых Луначарский высоко оценил творчество Серафимовича. «Железный поток», — говорил он в статье «Путь писателя», — это значительное произведение... которое соединяет в себе художественную высоту, социальную значимость и обработку нового, послереволюционного материала. После «Железного потока» можно уже было, опираясь на факты, сказать, что пролетарская литература не только предсказывает, не только оценивает грядущие явления пролетарской

революции, но и отражает ее самое. В этом отношении «Железный поток» должен был быть поставлен рядом с «Матерью» Горького».

Луначарский считает, что произведение художника, стоящего на позициях искусства социалистического реализма, должно быть проникнуто любовью к простым людям, что оно, несмотря на любую трагическую ситуацию сюжета, должно заключать тот «оптимистический аккорд», который утвердит неизбежность победы «правого идеала». Серафимович «полон любви. Он полон надежды. Без этих двух чувств нет социалистического реализма».

В 1928 году в журнале «Октябрь» публикуется вызвавшая широкое обсуждение первая книга романа М. Шолохова «Тихий Дон». В январе 1929 года в статье «Литературный год» Луначарский дает такую оценку «Тихому Дону»: «Еще не законченный роман Шолохова «Тихий Дон» — произведение исключительной силы по широте картин, знанию жизни и людей, по горечи своей фабулы. Это произведение напоминает лучшие явления русской литературы всех времен».

Так же высоко оценил он и «Поднятую целину». В 1932 году «Октябрь» публикует этот роман, а 11 июня 1933 года в «Литературной газете» появляется статья Луначарского «Мысли о мастере». Луначарский писал: «...Произведение Шолохова является мастерским. Очень большое, сложное, полное противоречий и рвущееся вперед содержание одето здесь в прекрасную словесную образную форму, которая нигде не отстает от этого содержания, нигде не урезывает, не обедняет его и которой вовсе не приходится заслонять собою какие-нибудь дыры или пробелы в этом содержании». Нужно было быть действительно выдающимся критиком, чтобы так безошибочно определять все действительно талантливое, что появлялось в советской литературе. Публикуется ли «Цемент» Ф. Гладкова, произведения ли Леонова — одно из первых действительно авторитетных суждений о них неизменно принадлежит Луначарскому.

Так и в области теории и в конкретной критической практике боролся он за высокое мастерство советской литературы. Эта борьба включала в себя и призыв к боевой, действенной позиции литератора.

Воспитывая у молодых писателей активное отношение к жизни, Луначарский выступал против идеи отставания искусства от жизни, против теории «дистанции». Луначарский полемизирует с Воровским, который утверждал, что «рост творческой психики отстает от умственного прогресса», поскольку в ходе общественного развития раньше всего складывалась «политическая идеология», «а уж позади, с большим опозданием, шло художественное отражение жизни и борьбы» данного

класса. Луначарский полагал, что придерживаться теории «дистанции» — «означало бы обезоружить пролетариат на довольно долгий срок».

Идейность и мастерство, активный, боевой дух и высокая писательская культура — только органический сплав всего этого возвышает художественный талант и дает ему силы для того, чтобы сказать в литературе не схожее ни с каким другим, горячее и могучее слово.

Творчество Горького, Маяковского, Ставского, Шолохова, Фурманова позволяло Луначарскому сделать важные выводы о существовании метода социалистического реализма и о путях развития искусства, руководствующегося этим методом. В последнем своем выступлении, на Втором пленуме Оргкомитета Союза советских писателей в марте 1933 года, он указал на значение формулы «социалистический реализм», как вмещающей понятие о качественно новом методе в истории мировой литературы. Луначарский рассматривал искусство социалистического реализма как искусство больших горизонтов, смело заглядывающее в будущее.

Луначарский резко критикует тех догматиков, сухих рационалистов и начетчиков, которые полагают, «будто писатели должны являться главным образом иллюстраторами лозунгов партии. Нет, — пишет критик, — писателю не отводится одна только роль иллюстраторов, и он не сова Минервы, которая, как говорит Гегель, вылетает после окончания дня. Нет, писатель выходит на сцену не тогда, когда все споры социальные уже разрешены, и не для того, чтобы сказать: теперь я вам спою песнь, которая покажет вам окончательно, что это дело решено правильно.

Писатель — пионер-экспериментатор, он должен идти впереди нашей армии, углубляться во все стороны пролетарской жизни и опыта, суммировать их своим особым методом образного мышления, доставлять нам полнокровные, яркие обобщения относительно того, какие сейчас процессы совершаются вокруг нас, какая диалектическая борьба кипит в окружающей нас жизни, что побеждает, куда она имеет тенденцию развиваться.

...Таким образом, писатель оказывается не только иллюстратором, а неким разведчиком».

К таким писателям, которые смело идут по нехоженой целине, Луначарский, кроме Горького, относил Серафимовича, Шолохова, Фурманова, Gladкова, Леонова. В их творчестве видел критик развитие тех основных возможностей, которые заложены в новом методе, отражение характерных примет времени, принесенных революцией и строительством социализма.

Быть разведчиком — это значило, по Луначарскому, быть в самой гуще жизни масс, находиться на передовой линии нашего идеологического фронта, указывать дорогу идущим вперед, значило быть не холодным наблюдателем действительности, а преобразователем ее.

Говоря об искусстве социалистического реализма, Луначарский утверждает, что оно не только может, но и должно «заглядывать в будущее».

Луначарский, ссылаясь на роман Чернышевского «Что делать?», писал: «...Мы можем требовать от художников попыток нарисовать нам яркие картины этого будущего и таким образом вложить экстаз в строителей и борцов за это будущее. Обескураживать наших романистов, давать им право отгораживаться от одной из их обязанностей — именно освещать нам будущее — не следует».

И далее: «При правильном понимании, марксистском понимании сущности нашего общества, при знакомстве с тенденциями его развития подлинный художник может написать такой «утопический роман». В нашем социальном заказе мы склонны потребовать от пролетарской и близкой к ней литературы разрешения подобных задач. Для того чтобы разрешить такие задачи, нужны плодотворные и воспитывающие самих художников усилия, и, если роман такой будет мало-мальски удачным, он окажется важным фактором в нашем строительстве».

Нет, Луначарский всегда был за смелую революционную мечту, за творческую фантазию, основанную на знании закономерностей развития общества, за взгляд искусства и литературы в будущее, за поход художников в новые, неизведанные края жизни. Известно, как высоко ценил такую мечту В. И. Ленин, Луначарский писал: «Ленин прямо говорил о том, что коммунист, не способный к полетам реальной мечты, то есть к широким перспективам, к широким картинам будущего, — плохой коммунист. Но революционный романтизм органически сочетался в Ленине с крепчайшей практической хваткой».

Так должно быть и в искусстве, говорил Луначарский, развивая свою эстетическую концепцию.

Само рождение нового метода искусства, нашедшего такое блестящее воплощение в творчестве Горького, Луначарский связывал с вступлением на историческую арену нового класса — пролетариата, с тем, что Горький первым из художников понял, что несет с собой этот восходящий класс, и сумел показать нового героя. Горький любит человека крепкой влюбленностью и верит в него твердой верой, верой знания. Принцип сознательности в художественном творчестве, научное понимание

писателем законов раз вития общества — вот что понимает Луначарский под «верой знания», которая, по его мнению, неотъемлема от нового искусства эпохи — искусства социалистического реализма.

Искусство, твердо стоящее на земле, прозорливо видящее будущее и приближающее его, — таким было в представлении Луначарского искусство нового мира, искусство солнечных горизонтов.

IV. Потерянная и утвержденная личность

В своих лекциях Луначарский любил ссылаться на диалог автора с издателем из романа Стендаля «Красное и черное».

«Автор. — Политика — это камень, привязанный к шее литературы, не пройдет и полгода, он потопит литературное произведение.

Издатель. — Если ваши действующие лица не говорят о политике, — значит, это не французы 1830 года, а книга ваша отнюдь не является зеркалом жизни».

Проблема связи мировоззрения и творчества, как хорошо показал Луначарский, не была только умозрительной, теоретической проблемой. Она связана самым теснейшим образом с вопросами об отношении к культурному наследию прошлого, о конкретно-исторической оценке литературных явлений, о подлинно научном понимании самого процесса творчества. Для доказательства этой мысли Луначарский часто обращался к наследию Гёте, и, пожалуй, одной из лучших его работ в этой области является посвященная столетию со дня смерти Гёте статья «Гёте и его время».

Гёте, великий в своих творениях и мелкий в политических выводах, бунтарь и придворный, гений духа и филистер. Как соединить эти кричащие противоречия? Может быть, ни в какой другой статье, как в этой, так заметны ленинские методологические принципы анализа сложных и противоречивых общественных явлений.

Луначарский напоминает известные слова Энгельса о положении Германии той эпохи, гниющей и разлагающейся массы, страны, где производительные силы были доведены до ничтожных размеров, где царствовал политический гнет, где единственная надежда общества возлагалась на литературу. Около

1750 г. родились все великие умы Германии: поэты Гёте и Шиллер, философы Кант и Фихте, а лет двадцать спустя — последний немецкий великий метафизик Гегель. Каждое замечательное произведение этой эпохи проникнуто духом протеста, возмущения против всего тогдашнего общества. Гёте написал «Геца фон Берлихингена», драматическое восхваление памяти революционера. Шиллер написал «Разбойников»,

прославляя великодушного молодого человека, объявившего открытую войну всему обществу. Но это были их юношеские произведения... Даже самые лучшие и самые сильные умы немецкого народа потеряли всякую веру в будущее своей страны.

В такой политической атмосфере рос талант Гёте. Ограниченность его мировоззрения, говорит Луначарский, и породила эти условия, условия, когда буржуазия, не найдя сил выйти на открытую дорогу социального творчества, приспосабливалась к духовенству и дворянству, поддерживала их. Гёте сильнее, чем какой-либо другой поэт или мыслитель своего времени, «переживал молодое, творческое буржуазное начало, весну нового класса». Луначарский, анализируя противоречия творчества Гёте, следует концепции, выдвинутой Ф. Энгельсом в статье «Немецкий социализм в стихах и прозе». Луначарский отмечает, что, с одной стороны, Гёте враждебен немецкому обществу своего времени, он бежит от него в «Ифигении», восстает против него, создавая образы Геца, Прометея и Фауста, смеется над ним злобным смехом Мефистофеля. Но одновременно он и дружит, примиряется с ним («Кроткие Ксении»), прославляет его («Маскарад»), защищает от влияния французской революции. Дело не только в том, — ссылается Луначарский на Энгельса, — что Гёте признает будто бы лишь отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим сторонам, которые ему враждебны... В нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и осмотрительным сыном франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так, Гёте то колоссально велик, то мелок, то это непокорный, насмешливый, презирующий мир гениев, то осторожный, всем довольный, узкий филистер.

У Гёте, развивает мысль Луначарский, как у Толстого, как у Достоевского, как у многих великих художников, сила таланта побеждает силу ума. Гёте-художник видит «гораздо дальше и глубже, видит гораздо острее и последовательнее, чем Гёте-мыслитель, Гёте — государственный муж. Более то го, эти две заключенные в одном человеке личности находятся в состоянии борьбы, чаще всего даже не понятой ими самими. В этой борьбе к концу жизни Гёте веймарский министр часто побеждал могучего поэта. Но потомки Гёте забыли веймарского министра и навсегда сохранили в памяти гениального творца... Твоя маска олимпийского спокойствия должна растаять, обращается Луначарский через столетия к Гёте, потому что мы знаем, что под ней кроется великий человек и великий страдалец. Оставь то, что тебе навязано убожеством твоего времени: ты сам

знаешь, что от этого ты станешь только лучше, гораздо выше и гораздо светлее. Войди в вечность с теми, кто способствовал действительному подъему человеческого общества».

Мысль о том, что связь мировоззрения и творчества сложна, часто не пряма, не адекватна, развивается Луначарским в анализе творчества величайшего голландского художника Рембрандта. В тончайшей по проникновению в эстетическую сущность искусства главке из этюда «Барух Спиноза и буржуазия» Луначарский говорит об опосредствованном характере выражения мировоззрения Рембрандта в его полотнах.

Решение вопроса о связи мировоззрения и творчества в живописи особенно сложно. И действительно, в созданиях, например, Делакруа, Гойи или Репина политические, мировоззренческие симпатии художников выражены весьма недвусмысленно и определенно. Достаточно вспомнить «Свободу на баррикадах», где, кажется, слышен торжествующий гром «Марсельезы», где с вдохновенной романтикой написан восставший трудовой Париж, чтобы понять, какие чувства двигали сердцем Делакруа. А «Бурлаки» Репина! Разве это не приговор царизму, миру наживы?

Но как быть с «Автопортретами» Рембрандта, с его полотнами «Рембрандт с Саскией на коленях», «Даная», «Ночной дозор», «Портрет старухи» или произведениями, написанными на мифологические или религиозные сюжеты? Правы ли те, кто понимает их плоско-утилитарно, не видит страстной мысли художника?

Луначарский видит величие Рембрандта не только в его мастерстве. Он справедливо замечает, что, если Рембрандт брал даже какой-нибудь библейский сюжет, он старался придать ему вполне современный, злободневный смысл. Его полотна — это яростная полемика против феодальной католической живописи, против «церковной строгости», пуританизма, формальной красоты, полемика, направленная на утверждение правды жизни, простоты и непосредственности человеческих чувств: «...Для Рембрандта, жутко всматривавшегося в лохмотья нищего, в морщины старухи, в гримасы горя и боли, мир никогда не казался спокойным, устоявшимся. Глубоко поразившая его, очаровавшая и как бы ужаснувшая борьба света и тени, единственная свидетельница о бытии для глаза художника, продолжалась для него как борьба светлых и счастливых сил, светлых моментов с темными, порочными, угрожающими.

Рембрандт не был мыслителем. Мы не знаем, насколько он сам себе отдавал отчет в своем творчестве. Но его творчество было трагическим, оно было проблематичным: мир отражался в его сознании и произведениях как загадка, как задача, как возможность чего-то прекрасного и как угроза

чем-то нестерпимым.

Но тем самым Рембрандт становился истинным и великим выразителем буржуазного мира, художественно отразившим его в его противоречиях, в его диалектике, в его беге по жертвам, в его беге к катастрофам.

Художественно постичь буржуазию в ту эпоху значило постичь ее рембрандтовски». Не случайно эта же буржуазия отвернулась от художника и назвала его пессимистом.

Экскурс в творчество Рембрандта не случайно появился у Луначарского именно в статье о Спинозе. Луначарский видел общность их настроений, общность помыслов в отстаивании свободы индивидуальности, независимости и полноценности ее, в борьбе против «пресной, морали кальвинизма и иудаизма». Во многих принципах своего мировосприятия Рембрандт сознательно или бессознательно, вследствие силы своего гения, смыкался со Спинозой. Если говорить о существенных сторонах отношения Рембрандта к действительности, то это отношение можно очень хорошо определить словами Спинозы из его письма к Гуго Бокселю: «...Многое из того, что издали кажется нам красивым, оказывается безобразным... на близком расстоянии». Рембрандт и Спиноза не могли воспевать окружающую их действительность. Отсюда и «оппозиционность» полотен Рембрандта. Так проясняется еще одна из удивительно многообразных форм связи мировоззрения и творчества. То, что называли «дисгармонией» в творчестве Рембрандта, было отражением дисгармонии самого буржуазного мира. То, что буржуазные искусствоведы выдавали за «приземленность», было выражением эстетического идеала художника.

Да, не случайна параллель Луначарского между Рембрандтом. и великим философом, материалистом и атеистом Барухом Спинозой (1632–1677), идеологом демократических слоев буржуазии. Курбе как-то хорошо сказал: «Реализм есть по существу демократическое искусство». И то, что Рембрандт, воспевая идеал красоты, изображал не оторванных от земной плоти богинь, а живых, полнокровных, часто не так уж внешне и красивых людей (вспомним «Даная»), говорит о демократическом устремлении его творчества, его народных истоках и гуманизме.

С негодованием отмечает Луначарский жалобы кликушествующих эстетов на то, что у них якобы нет «свободы творчества». «Искусство для искусства...» — пишет Луначарский. — Сама по себе фраза эта, довольно нелепая, означает: искусство, не удовлетворяющее никаким человеческим потребностям. А то, что не удовлетворяет никаким человеческим

потребностям, вообще лишено всякого значения... Чистое искусство является товаром для сбыта пустым людям и паразитарным классам».

В социалистическом обществе, указывает критик, нет почвы для роста модернизма, для расцвета «искусства для искусства», нет потому, что простой человек требует от художника ответа на волнующие его вопросы, а не праздного словоблудия. Социалистический мир — это «большой мир, яркий, в высшей степени могучий. Где тут могло бы быть место для чистого художника? Нет почти совершенно. Мало того, разве к своей практике такой человек (имеется в виду человек социалистического общества. — А. Е.) может относиться с предубеждением и презрением? Разве, когда он пойдет в театр, он будет говорить: «Теперь ты меня развлекай, я устал от этой революции»? Нет, он будет говорить то, что сказал один рабкор: «Рабочие ходят в театр не для того, чтобы развлекаться, а чтобы выйти из него лучшими, более сильными людьми». Вот самая хорошая формула».

И далее:

«Вот почему мы можем сказать: классическая и народническая литература, которая благодаря самодержавию развивалась как идейно протестующая, оказывается чрезвычайно близкой к нашей боевой литературе, а то, что лежит посредине, — некоторое количество свободных литераторов... Как раз от нас дальше всего».

В лекции «Судьбы русской литературы» Луначарский особо подчеркивал идейность, «учительство» русской литературы, «публицистичность» ее, как то необходимое свойство, которое выдвигает писателей русских в первые ряды борцов за счастье человечества и ставит их на голову выше тьмы идеологов и практиков «чистого искусства». Этим своим боевым духом русская литература была обязана тому голосу народа, который требовал «от писателей указаний, как жить, как избыть тот мрак, который царил вокруг...».

С проникновенной глубиной раскрыл Луначарский проблему связи искусства с действительностью на примере творчества западноевропейских мастеров, в частности, творчества гениального композитора Рихарда Вагнера, творчества сложного и противоречивого. «...Музыка является для него словно каким-то сонмом духов, которых он собирает и отправляет в поход для того, чтобы они завоевали ему миллионы человеческих личностей», — пишет Луначарский. Во имя чего ведет это наступление Вагнер? Как и при анализе литературных явлений, Луначарский, рассматривая музыку, стремится выявить замысел художника. «Музыкальный замысел», по его мнению, «воплощается в виде

человеческих фигур, чувств, мыслей, поступков, слов, взаимоотношений, судеб, побед и поражений», то есть во всех элементах как содержания, так и формы, того сплава, который образует произведение.

И в реакционном буржуазном музыковедении (особенно фашистском) было признано, что музыка Вагнера выражает огромные пласты содержания. Фашисты извращали смысл творчества гениального немецкого композитора. Они принимали в нем то, что Ницше отмечал у Вагнера как едва ли не важнейшую особенность его музыкальной поэтики, говоря словами Луначарского, «стремление поработить публику, внушить ей свои идеи, быть ее учителем, ее руководителем, пророком». Фашистские идеологи из министерства Геббельса полагали, что этот боевой, наступательный дух вагнеровской музыки — выражение исконного тевтонского, истинно немецкого духа, оправдание насилия, завоеваний. Они проводили аналогии между Вагнером и Ницше. Но разве такие «моральные ценности» утверждала музыка Вагнера?

Нет, — уже в 30-е годы отвечал таким музыковедам Луначарский. — «Сквозь образы лиц и их взаимоотношения он (Вагнер. — А. Е.) хочет показать внутреннюю сущность жизни. Желая быть пророком, он не может ограничиться тем, чтобы волновать публику изображением событий. Он хочет, захватив этими событиями сознание человека, вырвать его из обыденности и взметнуть на высоту, с которой перед ним откроется смысл бытия». В чем же видит Вагнер этот смысл?

Луначарский рассматривает взлет таланта Вагнера как результат и выражение глубокого социального сдвига — возникновения и роста демократии в Германии до и во время свершения революции 1848 года, а затем срыва демократического движения. Молодой Вагнер, написавший книгу «Искусство и революция», мечтавший о «законченной демократии», с ужасом наблюдавший, как предприимчивые коммерсанты изгоняют из театра искусство и насаждают там пошлость и мракобесие, — только такой Вагнер, говорит Луначарский, смог осмыслить свободу Зигфрида, героя древнегерманского мифа о Нибелунгах, как победу над золотом, над жадностью. «Вот. почему, — пишет Луначарский, — он (Зигфрид. — А. Е.) приобретает не только черты анархической свободной личности, но и черты героя, освобождающегося от ига капитала». Конечно, если понимать эти слова Луначарского буквально, то возникнет мысль о модернизации им идейного содержания образа. Но пафос утверждения Луначарского в другом — в том, как наш современник воспринимает Зигфрида, как он осмысляет его подвиг. А это плодотворная мысль, выявляющая магистральное направление идейно-эстетических поисков Вагнера,

устанавливающая его связь не с реакционным, а демократическим движением его эпохи.

Луначарский видел и ограниченность творчества Вагнера. Он связывал ее с общественными условиями эпохи, не позволившими композитору «развернуть свое дарование по той линии, на которую он вступил». «Революция лежала на земле со сломанными крыльями», реакция победила, тринадцать лет изгнания сломили Вагнера. «Он пишет меднозвучные марши в честь победителей, и сама тяжеловесная форма его музыкальных произведений идет от той же самой пышности победоносного капитала, которая наложила свое тяжелое клеймо на многие улицы и площади Берлина». Вагнер был сломлен. Он перешел на сторону реакции. Но, как гениальный художник, он не мог не чувствовать противоречий, раздиравших принятый им мир.

«Чем же стал для него мир?

Мир несомненно осужден на гибель. Это несомненно траурное шествие к какому-то черному концу. Это шествие, полное взаимной борьбы, коварства, жадности, преступлений. Появляются и светлые личности, но они тоже осуждены на гибель. Они ничего не могут поделать с фатальным ходом событий». Конечно, не прав Луначарский, создавая такую под-текстовую параллель, где Вагнер сближается с Артуром Шопенгауэром, у которого пессимизм, отрицание всякого исторического прогресса связаны не только с признанием господства над миром слепой, бессмысленной воли, но и с ненавистью к народу, не только к революции, но и всякой демократии. Так «далеко» Вагнер никогда не шел. И если, как справедливо замечает Луначарский, злые силы торжествуют в «Тристане и Изольде», опера отнюдь не является апофеозом этих сил, прославлением их. Трагизм Вагнера — в бессилии изменить существующее, победить зло, но опера — это и гимн любви, гимн жизни, жизни, а не смерти. Связь творчества Вагнера с действительностью очень тонко вскрыта Луначарским. Он еще раз показал, какими неразрывными корнями связано искусство с жизнью, и ничто эту связь не может оборвать.

Нельзя забывать, как важна и плодотворна была пропаганда таких взглядов в первые три десятилетия существования молодого социалистического искусства, когда нередко поднимали голову его «ниспровергатели», когда оно делало первые, а поэтому особенно трудные шаги.

Любящими глазами оглядывал Луначарский стремительную, уходящую в века даль, оживляя дорогие образы, вызывая из небытия к новой жизни и раздумья Лермонтова и чеканную медь строчек Вергилия.

Статьи его не вымученная схоластика, не спокойная регистрация фактов. Это ливень образов, настроения, вдохновенных раздумий большого художника. Цепь стремительно и блистательно возникающих и развивающих мысль ассоциаций. Кипение страсти. Неподдельность переживания. И всегда бой. «За» или «против» определяет глубинный подтекст статей и выступлений Луначарского. И необыкновенно тонкое чувство прекрасного, соединенное со страстной гуманистической убежденностью ленинца.

Весь этот сплав — живой организм, неповторимый, отточенный ярчайшей человеческой. и художнической индивидуальностью Анатолия Васильевича.

«Критик-художник, художник критики — это великолепное явление. Таким, конечно, был Белинский. Такими в лучших своих произведениях были... Чернышевский и Добролюбов. Таким в огромной мере был Герцен, когда брался за дело литературной критики. Такими всегда остаются великие писатели, когда они сами берут критику в свои руки. Таким в величайшей мере был Пушкин, и здесь он дает свой незабываемый урок», — писал Луначарский.

И сам был таким критиком.

„И ВАМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ГОРЕТЬ... ПРИНОСИТЬ ЖЕРТВЫ..."

Счастлив человек, который может считать себя стоящим на уровне революции, достоин тот, кто умеет проверить себя перед великими событиями своего времени и изо всех сил поднимается до их уровня с большим или меньшим успехом.

А. В. Луначарский

Говорят, что газетные статьи, речи живут день-два. Десятилетие зачеркивает в памяти тысячи и тысячи страниц. Редкая книга переживает полстолетия.

Иная судьба у книг и статей Луначарского. «Железки» его строк совсем не «случайно обнаруживают» в курганах книг. Их помнят. К ним обращаются. Они верные духовные товарищи и друзья сегодня.

Почти пятьдесят лет назад в 1918 году Луначарский произнес речь на открытии курсов инструкторов по внешкольному образованию. Речь была застенографирована и сохранилась.

А в январе 1964 года в редакцию «Комсомольской правды» пришло письмо. Читатель спрашивал: кого можно считать образованным, интеллигентным человеком?

Долго думали в редакции — как обстоятельнее и лучше ответить своему юному корреспонденту. И сразу вспомнилось:

— Лучше Луначарского не ответишь!..

Опубликованный отрывок из речи Анатолия Васильевича звучал так, словно публицист только вчера размышлял над письмом нашего современника и набрасывал тезисы ответа...

И тогда, в 30-е, он страстно и честно говорил с юностью. О подвижничестве и творческом горении, об отцах и детях революции.

Говорил больной, но такой же вдохновенный. Говорил, не зная, что судьба уже отмерила ему последние годы и километры.

I. „Солнце в двойной короне"

На обложке маленькой книжечки, изданной «Красной газетой» в 1929 году, проложен маршрут: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск — Омск — Новосибирск — Красноярск — Алтай.

По поручению правительства Луначарский совершает дальние поездки по стране.

Определить круг его обязанностей и занятий здесь просто невозможно: лекции, беседы, доклады, инспекция, помощь советом и делом на местах...

Зная о напряженности работы, заполнившей эти дни, подчас недоумеваешь, когда он вообще спал или отдыхал. Об отдыхе-то, во всяком случае, говорить абсолютно не приходится...

Зимним утром увидел он древний Красноярск. Долго стоит у городского музея, который, кажется, «немножко зябнет у сварливых льдов седого Енисея».

«...Солнце устроило фейерверк над Енисеем. Оно окружило себя в слегка туманном воздухе великолепным кругом, опаловым, с чуть заметными нюансами радуги, а вокруг первой окружности описана была еще и другая дуга, значительно более бледная. Солнце сияло в этой двойной короне, устроенной ему мельчайшими частицами льда, и в благодарность весело выделяло все рельефы раскинувшегося по холмам и оврагам Красноярска».

Так встретила его Сибирь. Он выступает с докладами, едет за семь верст в военный городок, посещает предприятия, советуется с работниками народного образования.

Тогда и записал он строки:

«Сибирь еще нужно завоевать. Завоеванная, эта строгая красавица окажется великой подругой человеческому труду».

Многое видел он в будущем ее. Но реальность превзошла все и всякие, даже самые смелые предположения.

Я еду его маршрутом по Сибири и Алтаю.

Мог бы он увидеть все это сегодня: огни Братска, гигантскую Красноярскую ГЭС, Академгородок под Новосибирском!..

Неузнаваемо изменилась земля.

Изменились люди...

Стою у моста через Енисей, у Красноярского музея, где увидел он когда-то «солнце в двойной короне», и думаю: во всем, что изменилось, что произошло здесь, вложена частица его сердца, его дней и ночей.

В Красноярском музее — фото. Луначарский задумчиво смотрит на город. Позади — кряжистые, приземистые деревянные дома. Пытаюсь через старожиллов определить это место.

Мощный комбинат, как океанский лайнер, сверкает огнями. Из проходной выходят сотни юношей и девушек. Конец смены.

Знакомлюсь с Василием Коплевым — мастером. Учится в вечернем на филологическом. С восторгом говорит о Луначарском.

— Кстати, не был на Змеином городище? Анатолий Васильевич когда-то бывал там.

В одном из дней по глухому распадку поднимаемся на сопку. Весь Красноярск — как на ладони. В дымках заводов, в таежной красоте своей.

И солнце — в зените — так же вершит свой путь над скованным плотиной Енисеем...

А маршрут его продолжался. Омск, Новосибирск, названный им «сибирским Чикаго». Он уже бывал здесь пять лет назад и с волнением пишет в «Красную газету»: «Пять лет тому назад Новосибирск представлял собою еще ту полудеревню, которая была пышно переименована в Новониколаевск после некоторых коммерческих успехов, вызванных перекрестком Сибирской ж. д. и большого речного пути...»

Он «рассмотрел этот оригинальный город, выросший в двухсоттысячную столицу и неудержимо мчащийся вперед». Восторгается мыловаренным заводом, говорит с людьми. Встречается с Эйхе. А потом снова версты — едет на Алтай, в Барнаульский и Рубцовский округа, в Кузбасс к горнякам, Иркутск, тайгу. Здесь многое знакомо по первой сибирской поездке, о которой Луначарская-Розенель рассказывает:

«В середине мая 1923 года Анатолий Васильевич выехал вместе со мною в Сибирь.

После ликвидации колчаковщины в Сибири из членов Советского правительства до тех пор побывал только всероссийский староста Михаил Иванович Калинин.

Анатолия Васильевича встречало буквально все население городов и деревень по всему пути следования поезда; выходили с плакатами, оркестрами, цветами, речами... На некоторых плакатах было: «Горячий привет командиру 3-го фронта (так именовался тогда культурный фронт) товарищу Луначарских!» Таким образом, Анатолия Васильевича, уроженца Полтавы, превратили в коренного сибиряка.

В Новосибирске (тогда еще Новониколаевске) интеллигенция — просвещенцы, писатели, представители ревкома — устроили для Анатолия Васильевича большой прием. (Между прочим, там Анатолий Васильевич познакомился с писательницей Лидией Николаевной Сейфуллиной и писателем Первухиным.)

Во время банкета Луначарского окружили писатели-сибиряки, группировавшиеся вокруг журнала «Сибирские огни», и просили его рассказать о последних литературных событиях в Москве. Анатолий

Васильевич сообщил как о крупнейшем явлении о новой поэме Маяковского «Про это». Меня поразило, что Анатолий Васильевич процитировал несколько мест из поэмы, хотя у него не было рукописи и он слышал поэму только однажды. Говорил он также о только что вышедшем сборнике стихов Николая Тихонова «Врага». Неожиданно для меня самой мне пришлось «по требованию публики» прочитать «Сами» Тихонова и «Левый марш» Маяковского...»

Так проходила, как он шутливо называл, «жизнь на колесах»: «в сплошном круговороте лиц, событий, потрясений увиденным».

22-24 мая 1923 года Луначарский был в Томске. Этому событию посвящен ставший уже уникальным альбом, выпущенный тогда в Томске. В предисловии к нему рассказывается- «Томичи не забудут грандиозности этих трех дней: битком набитые лучшие аудитории Томска, огневой митинг на площади в два десятка тысяч слушателей, речи комиссара, свертывающие часы в минуты, слушаемые в напряженной атмосфере переполненных зал с одним настроением: «слушать еще и еще...»

Здесь же, в альбоме, снимки — улыбающийся Анатолий Васильевич на массовом митинге на площади Революции. Стремительный жест — нарком произносит речь.

Он говорит о политике Керзона и Ллойд-Джорджа, о миролюбивом внешнеполитическом курсе Советского государства. Отвечает на многочисленные записки о здоровье Ленина.

И так все время: с митинга на митинг, с собрания на собрание, с завода — на встречи со студентами.

Выступает с речью на сходке-митинге студентов томских вузов (23 мая), речью, ставшей своеобразной энциклопедией истории студенчества всех времен, его революционных традиций...

Многое дала Сибирь Луначарскому. Главное — ощущение «стремительности полета времени в завтра».

Ему приходится много путешествовать в те годы. В одном из писем он рассказывает сыну:

«Дорогой мой мальчик. Все еще грущу по поводу того, что тебя нет со мною. Во-первых, поездка моя интересная и была бы поучительна для тебя, а во-вторых, мне самому было бы очень приятно провести с тобой несколько дней.

Я уже пробыл в Оренбурге два дня и видел много крайне любопытного...

Я видел Меновой двор, сооруженный еще в конце XVII столетия и служивший своего рода ярмаркой и как бы воротами из Азии в Европу.

Видел также очень интересный по самой своей архитектуре башкирский караван-сарай. Там расположился теперь большой и веселый башкирско-татарский педтехникум, а вместе с тем муэдзин кричит с высокого л красивого минарета, а в маленькую мечеть собирается, говорят, по пятницам целая толпа фанатических мусульманок. Выезжал я в станицу Сакмарскую, верст 25 под Оренбургом, где живут исключительно казаки. Там, несмотря на ветер и мороз, мы устроили казачий митинг на открытом воздухе, а потом я долго и чрезвычайно интересно беседовал с целой сотней казаков и казачек, старых и молодых, о их житье-бытье...

В дороге я прочел замечательный роман Тынянова о Грибоедове под названием «Смерть Вазир-Мухтара». Если ты еще не читал его, то я по возвращении в Москву обязательно дам тебе его прочесть. Получишь огромное удовольствие, а потом мы с тобой об этом романе поговорим. Посоветуй и маме его прочесть.

Я надеюсь как-нибудь так устроиться в Москве, чтобы видеться с тобой почаще, разговаривать с тобой подольше».

14 марта 1929 года Луначарский выехал в инспекторскую поездку по Среднему Поволжью. Те же, что и в Сибири, заботы. Приметы нового всюду обступали его, и он поддерживал это новое всем, что было в его силах и возможностях... И всюду, где бы он ни появлялся, его просили выступить.

И. Вольнер, доцент Ленинградского технологического института, в студенческие годы трижды слушал лекции Луначарского.

У него сохранились записи тех лет, в которых под свежим впечатлением он законспектировал одну из его лекций 1929 года. Приведем выдержки из этой интересной, неопубликованной записи:

«Помещение одесского цирка, в котором должен был выступить Луначарский, битком набито молодежью. Подавляющую часть аудитории составляет студенчество. Ведь именно для нас, советских студентов, и предназначалась лекция народного комиссара.

И вот, раскланиваясь на ходу, быстрыми шагами подходит к трибуне А. В. Луначарский. Он вынимает из бокового кармана расстегнутого пиджака небольшую бумажку, незаметным движением меняет на носу пенсне, секунду-другую глядит на свой конспект, снова меняет пенсне и начинает свою речь. Она льется гладко, свободно; впечатление сразу создается, что это не заранее подготовленная лекция, а импровизация, свободная беседа с огромной аудиторией».

Первые слова Луначарского — о пятилетке и о месте культуры в пятилетнем плане.

Анатолий Васильевич говорит о культурной и технической отсталости нашей страны и указывает, что проблема подготовки новых технических кадров имеет огромное значение для выполнения задач социалистического строительства. Далее он переходит к «студенческому вопросу». В наши дни такого вопроса давно не существует, а тогда, 30 с лишним лет назад, он принимал порой острые формы.

«Ясно, доходчиво, в высшей степени убедительно излагает нам политику, партии и Советского государства в области высшего образования. Запомнилось мне очень яркое контрастное противопоставление, которое привел в своей лекции Анатолий Васильевич.

Он говорил:

— Пришел ко мне как-то с обидой один видный литератор и жалуется: «Анатолий Васильевич! Мой прадед был в числе первых выпускников Московского университета. Мой дед там же получил высшее образование. Отец мой с отличием окончил этот университет. Я, как вы знаете, также являюсь его питомцем. А вот сына моего не принимают в вуз! Как же так?!» Милый мой, — ответил я ему, — на днях был у меня еще один жалобщик, и вот что он мне заявил: «Мой прадед, — сказал он, — был дикарем, дед — тоже. Отец мой умер, так и не научившись грамоте, я вот только после революции научился кое-как расписываться. Так дайте же хотя бы моему сыну возможность получить высшее образование... Как вы думаете, товарищи, правильно мы поступаем, что обеспечиваем возможность получения высшего образования прежде всего внуку безграмотного рабочего?

Громом аплодисментов ответила наша аудитория на обращенный к нам вопрос.

Далее А. В. Луначарский отметил, что прием в вузы по категориям — это явление временное, что «родителей себе ни кто не выбирает» и со временем мы перейдем к всеобщему обучению и образованию.

Много внимания уделил в своей лекции Луначарский вопросам учебы и академической успеваемости. Он выдвинул перед нами задачу не только овладеть книжными знаниями, но и приобрести определенные навыки по своей будущей профессии. При этом он привел нам рассказ К. Е. Ворошилова о том, что в некоторых воинских частях красноармейцы могут читать лекции на любую тему, но плохо стреляют. Говоря о профессии, Анатолий Васильевич предостерегал нас от узкого делчества, от замыкания в рамках своей специальности.

Советский специалист, по его мнению, должен быть научно образованным, политически сознательным и физически здоровым

человеком. «Нужно, — говорил он, — чтобы по окончании вуза вы могли как следует поработать, а не только «проскрипеть» несколько лет».

Далее он остановился на проблеме научных кадров, призывая к чуткому и бережному отношению к старой профессуре. Он подробно рассказал нам об отношении В. И. Ленина к старым ученым и, в частности, к академику И. П. Павлову. Известно, что в январе 1921 года Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров об... одном человеке — о И. П. Павлове.

Заключительную часть своей лекции Луначарский посвятил проблеме интеллигенции. «Интеллигенты, — говорил он, — считали себя солью земли. На самом деле они были до революции лишь приказчиками капитала». В настоящее время стоит задача воспитания своей, советской интеллигенции.

— Решение ленинского вопроса «кто — кого», — говорил Луначарский, — во многом зависит от того, сумеем ли мы создать свою советскую интеллигенцию. Сумеем — значит мы победим!

При этом он подчеркивал опасность отрыва от народа, напоминал нам о необходимости крепить свои связи с рабочим классом.

— Мы идем к такому обществу, — закончил свою лекцию Анатолий Васильевич, — когда интеллигенции у нас не будет. Все люди будут интеллигентными, высококвалифицированными работниками, а черную работу мы возложим на наши машины!»

Это была одна из лекций. А сколько прочел он их во время долгих поездок по России!

Со сколькими переговорил!..

Это был сам стиль работы ленинского правительства: быть всегда с массами, в самой гуще народа.

II. „Одним из первых...”

Нет, его подтекст бьет в цель и сегодня...

Финал пьесы — портной спокойно и брезгливо отворачивается от трупа короля.

— Это очень символично, — делится впечатлениями зритель.-? — Исторические реминисценции отходят при современном просмотре как-то на второй план. Властолюбие, эгоизм, тщеславие оказываются под огнем драматурга.

Так воспринимается сегодня «Королевский брадобрей».

Около сорока лет эта и другие пьесы Анатолия Васильевича были забыты. А ее в свое время высоко ценил Ленин, смотрели тысячи и тысячи...

Может быть, правы те, кто списывает многие пьесы Луначарского по ведомству истории?

Существует какая-то традиция /-акцентирование внимания на слабых и ошибочных сторонах драматургии Анатолия Васильевича без учета звучания пьес в целом. Во всяком случае, оттенки такого рода восприятия их весьма распространены.

Перелистайте, скажем, главы в первом томе «Очерков истории русской советской драматургии», подготовленные Ленинградским институтом театра, музыки и кинематографии. Автор этой главы А. Альтшуллер пишет, что в «Фоме Кампанелле» «сильна эротическая тема», а это комментируется как «своеобразный отзвук прежних философских заблуждений автора, проявившихся в его «Основах позитивной эстетики», где социальные законы развития общества подменены биологическими».

В «Освобожденном Дон-Кихоте» подчеркивается «налет книжности и стилизации». Но ведь в определенной стилизации, символике — смысл замысла автора.

«...Призывая деятелей сцены отражать жизнь народа, — пишет А. Альтшуллер, — Луначарский сам как драматург интересовался лишь философскими, историческими темами, а социальную борьбу рисовал в отвлеченном плане...»

Луначарский-драматург действительно неровен.

Но тогда почему волнуют его пьесы современников?

Впечатления, скажем, о «Королевском брадобрее» у современных зрителей и театральной критики довольно единодушны.

Сложный драматический конфликт пьесы, пафос изобличения монархической власти и, наконец, язык, возвышенно-плавный белый стих — все необычно для современной сцены и даже кажется несколько архаичным.

Что же заставило театр выбрать именно эту пьесу Луначарского?

Можно было трактовать пьесу внешне — «драматизма» здесь с избытком: Король Дагобер Крюэль, умный, жестокий старик, задумал чудовищное — жениться на родной дочке — прекрасной юной Бланке. Театр в соответствии с замыслом драматурга трактует тему пьесы как тему человека, отравленного ядом власти.

Драма получает современную «оркестровку».

...Так вторично родилась эта интересная пьеса — первое большое драматическое произведение Анатолия Васильевича.

Луначарский-драматург стремился к созданию характеров сильных, увлеченных, страстных, героических.

Не все, как мы уже говорили, ровно в драматургическом наследии Анатолия Васильевича.

Но как здесь ни дискутируй — он по праву считался одним из самых известных советских драматургов в 20-е годы...

Пьесы Луначарского открывали первую страницу нового пролетарского театра вместе с пьесами П. Арского «За красные Советы», А. Вермишева «Красная правда», А. Серафимовича «Марьянна», И. Козлова «Подполье», С. Минина «Город в кольце» и другими.

Огромным театральным событием явилась постановка «Оливера Кромвеля» Малым театром в 1921 году, когда роль Кромвеля играл Южин, а Карла I — Садовский.

В январе 1930 года театральному критику Э. Веснину «Литературная энциклопедия» для раздела «Современная русская драма» заказала статью.

Луначарский тогда был ответственным редактором «Литературной энциклопедии». Прочитав статью и не найдя даже упоминания о своих пьесах, он написал ответственному секретарю редакции:

«Не стану спорить относительно части, посвященной советскому театру. Пожалуйста, не заподозрите меня в желании как-нибудь подчеркнуть мою скромную личность, но все-таки я никак не могу согласиться с тем, что упоминаются Чижевский, Вакс и т. д. и во всей довольно большой статье, совсем нет драматурга Луначарского. Автору Э. Бескину очень хорошо известно, что еще недавно по количеству пьес, шедших на сцене, этот драматург занимал первое место, а по количеству зрителей, которые пересмотрели его пьесы, — одно из первых. Сейчас, правда, это пока изменилось. Совершенно не желая как бы то ни было развертывать соответственные сведения, считаю необходимым после перечисления пролетарских драматургов вставить хотя бы такие строки: «Одним из первых драматургов, старавшихся дать нашему театру советские пьесы, был А. В. Луначарский. Еще в 1920 году шли его исторические пьесы «Кромвель» и «Фома Кампанелла». В 1921 году он сделал попытку отразить революционные события Запада в пьесе «Канцлер и слесарь», и ему же принадлежит едва ли не первая советская бытовая драма «Яд».

Ничего другого мне не нужно. Только эти строчки, — не из личных соображений, а только из соображений полноты информации. Я думаю, что т. Э. Веский с тем большей готовностью сделает это, что как раз он в большой статье в «Веч. Москве» по поводу пьесы «Яд» указал, что это первая подлинно советская бытовая драма».

Обида Анатолия Васильевича была обоснованной.

Говоря об истории, он говорил о современности.

«Королевский брадобрей» — мысли о неминуемом крахе деспотического самовластия; социально-философские драмы «Фауст и город» и «Освобожденный Дон-Кихот» переносили классические вековые образы мировой литературы в новые социальные условия; историческая мелодрама «Оливер Кромвель» показывала величие и ограниченность буржуазной революции; «Канцлер и слесарь» — пьеса о классовой борьбе в современном государстве; «Яд» — одна из первых пьес о советской молодежи; дилогия «Фома Кампанелла» («Народ» и «Герцог») выводила яркий образ замечательного человека эпохи Возрождения, мыслителя и борца, стремящегося приблизить торжество справедливости и разума.

Луначарский сам говорил о современных истоках своих «драматических историй»:

«Идея современного дон-кихотизма особенно ярко возникла в моем уме, когда я присутствовал при беседе между Владимиром Ильчем Лениным и М. Горьким». В этой беседе В. И. Ленин говорил о «славных, добрых людях» из петроградской интеллигенции, сочувствие которых «всегда с угнетенными» и которые «всегда против преследований». Поэтому они готовы помогать и контрреволюционерам, если их преследуют, и революционерам...»

Во всем, чего бы он ни касался, он действительно был сыном века.

Работа Луначарского связана и с первыми шагами советского кино. Еще 28 марта 1914 года в газете «Парижский вестник» появились выдержки из реферата, прочитанного им на вечере народного синематографа в Париже. Уже здесь намечалась программа развития революционного кинематографа: «Кто является господином и владыкой синематографа? Конечно, капиталистический предприниматель. Народный синематограф обещает забавлять, поучать и эмансипировать. Капиталист тоже готов забавлять, если это приносит ему доход; он делает это с таким же усердием, с каким продает любой товар, с каким отравляет массы алкоголем. Но поучать? Это уже сомнительно для капиталиста. Он не настолько глуп, чтобы в жажде наживы легкомысленно отпускать оружие, которое может быть повернуто против него. Во всяком случае, когда эта поучительность носит характер эмансипирующий — это уже совсем не ко двору капиталисту-антрепренеру. Нет, он постарается делать обратное: развлекая, он постарается интеллектуально принижать и развращать массы. Посмотрите на все эти глупые сентиментальные драмы, в которых проповедуется добродетель попа, городского и богатой благотворительницы, на все эти уголовные нелепости!

Но так называемые исторические драмы еще хуже! Ах, эта бедная Мария Антуанетта, милый ангелочек Людовик Семнадцатый, благородные графы, бескорыстно отдающие себя делу их освобождения. А с другой стороны, можно ли смотреть без ужаса и ненависти на этих всклоченных, грубых, озлобленных санкюлотов — шпионов и палачей? Народ аплодирует собственноручно мнимым подвигам своих врагов и готов швырнуть собственным башмаком в голову «этого чудовища Робеспьера». Народ великодушен. Он всегда становится на сторону обижаемых и на сторону самоотверженных героев. Заставляя аристократов разыгрывать подобные роли перед массой, стараются извратить самый классовый Инстинкт пролетариата».

Кинематограф, говорил Луначарский, должен быть спасён «из грязных лап нынешних господ».

Советской власти надо было создавать свою кинематографию наново. Этому мешали гражданская война, голод, холод. Оставшиеся кинофабрики разрушались все больше. Из-за отсутствия пленки художественные фильмы не выпускались. Операторы хроники работали в труднейших условиях. Случалось, что из-за отсутствия негативной пленки им приходилось снимать на позитивной, заряжая ее в разболтанные, истрепанные, устаревшие камеры. И все же они снимали. И снимали много: на фронтах гражданской войны, в агитационных поездах и пароходах, в тылу, в дни революционных праздников. От киноглаза хроникеров не ускользало почти ни одно событие.

Ленин остро интересовался киноделами.

Луначарский не раз говорил ему о состоянии кино в Советской республике, сетовал, что у Наркомпроса нет средств для широкой постановки кинопроизводства.

«...Владимир Ильич, — вспоминал об одной из таких встреч с Лениным Луначарский, — сказал мне, что постарается сделать что-нибудь для увеличения средств фотокиноотдела, но что у него есть внутреннее убеждение в большой доходности этого дела, если оно только будет правильно поставлено. Он еще раз подчеркнул необходимость установления определенной пропорции между увлекательными кинокартинами и научными.

К несчастью, это еще и до сих пор слабо поставлено. Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идеями, отражающими советскую действительность, надо начинать с хроники, что, по его мнению, время производства таких фильмов, может быть, еще не пришло:

«Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные картины, то неважно, что для привлечения публики пойдет при этом какая-нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа. Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь место».

К этому Владимир Ильич прибавил:

«По мере того, как вы встанете на ноги благодаря правильному хозяйству, а может быть, и получите при общем улучшении положения страны известную ссуду на это дело, вы должны будете развернуть производство шире, а в особенности продвинуть здоровое кино в массы в городе, а еще более того в деревне».

Затем, улыбнувшись, Владимир Ильич продолжал:

«Вы у нас слывете покровителем искусства, так вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино».

В августе 1919 года Ленин подписал декрет о национализации кинематографической промышленности и переходе всего киноискусства в ведение Наркомпроса.

Снимался Луначарский в кино и сам (фильм «Саламандра»). Он играл сам себя.

На экране — кабинет наркома. Луначарский разговаривает по телефону, потом поднимается из-за стола.

Когда эту сцену, вспоминает Луначарская-Розенель, смотрел в 1935 году Анри Барбюс, на глазах его показались слезы:

— Как это волнует! Как замечательно!.. Анатолий Васильевич, как живой, перед нами... его улыбка, его жест.

По свидетельству Григория Рошаля, Луначарский уже тогда правильно и точно «ставил вопрос об идейности фильмов и занимательном изложении, о материальной базе кинематографа, о его экономическом значении для нашей страны. Но главное, что утверждал Анатолий Васильевич, — это наступательное значение нашего кинематографа в борьбе с буржуазными концепциями, пропагандистскую его роль за рубежом...»

Время подтвердило правильность его первых наметок, когда мало еще кто мог предвидеть, какое блистательное будущее принадлежит кинематографу.

Мы не ставим здесь своей задачей давать подробный анализ пьес и фильмов Луначарского.

Просто хочется определить его место в драматургии тех лет. А это лучше всего сделают слова самого драматурга из неопубликованного

письма:

«Мне близки они (пьесы. — А. Е.) как дети. Я ясно вижу несовершенства их: публицист и философ часто говорили во мне сильнее художника. Но я честно делал дело, как я его понимал — практическая пропаганда примером искусства Революции».

«Одним из первых...» — так скромно определил он свою роль...

Лучшее, созданное «одним из первых», рассказывает нам о красоте освобожденного человека.

III., А люди уходят в море..."

Память — как кинолента. Один кадр сменяется другим. Проплывают лица, события, судьбы. И все это, соединенное с сегодняшним, — стремительная жизнь, обогащаемая современным опытом, борьбой, раздумьем. Вчера и сегодня переплетаются, дополняют друг друга — вечная, никогда нескончаемая лента бытия.

Луначарский часто болеет. Сколько вспоминается и передумывается на больничной койке.

Шли годы.

С 1927 года Луначарский неоднократно командировался Советским правительством за границу с дипломатическими поручениями. Он защищает в Лиге наций советские предложения по разоружению...

И вот они — опять мелькают за окнами вагона старые, знакомые дороги Европы. Берлин. Париж. Женева. Как кинолента, пущенная в обратную сторону, раскрывают воспоминания далекие годы.

Приехав в Женеву, Луначарский пишет в «Комсомольскую правду» о самом дорогом, святом для его сердца:

«Вы можете... вовсе не жалеть о вашем прошлом и не находить его лучшим, чем ваше настоящее. И все-таки вдруг, когда вы ходите по площадям, улицам и переулкам такого полузабытого города, когда он воскресает перед вами в действительности, вдруг что-то сдвигается внутри вас, и рядом с теми, кто ходит и ездит сейчас по городу, воскресают перед вами отсутствующие, может быть, уже не живущие на земле, — былое вырастает перед вами на фоне действительности и крепко хватается вас за сердце.

Эти воспоминания всегда сопровождаются каким-то сладостно-горьким чувством. Как будто видишь и самого себя в гораздо более молодом двойнике и как будто почти с полной реальностью переживаешь рядом с действительными переживаниями и те, давно прошедшие...

Несмотря на свое озеро и свою хорошую природу, снежные горы — скучный и мещанский город Женева! Никогда меня сюда не тянуло и не

потянет. Но все же свою яркую роль в истории моей жизни она сыграла и притом как раз в важнейшей части жизни — жизни политической.

А вот теперь с Максимам Максимовичем Литвиновым мы приехали в качестве представителей великой рабочей державы. Приехали разговаривать с крупнейшими государственными деятелями почти всех стран мира о его судьбах — о войне и мире. Ну, разве это не странно? И разве не странно мне, народному комиссару по просвещению, члену делегации на конференции по разоружению, видеть, как мимо меня проходит в воображении тоненький, задорный студентик, который старается сказать слово поперек мудрому Плеханову, или дрожащий от волнения оратор, излагающий с трибуны мысли вождя, в то время, как тот посматривает на него искоса со стула первого ряда, или философствующий за пивом невольно несколько праздный эмигрант.

Ну что же такое, что время бежит? Ну что же, что «оно меняется и мы меняемся вместе с ним», как говорил латинский поэт? Мы «меняемся» по-революционному, мы «меняемся», идя вперед. Да здравствует наше будущее и то настоящее, в котором оно творится! Да здравствует наше прошлое за те семена, которые были брошены в него, из которых выросли сейчас багровые цветы великой рабочей революции на нашей родине!»

...Проходит по земле человек. И когда станет он травами и цветами, воспоминанием и песней, когда время отобьет отпущенное ему судьбой, ясными становятся дали и расстояния пути, вехи которого — жизнь.

Разные дороги выбирают люди. И след на Земле одного не похож на след другого. Есть, что оставляют после себя симфонии и сады, песни и звенящие под таежными ливнями трассы, книги и вздыбленные к небу домны. Ими украшается Земля, ускоряется бег времени и истории.

Бывают и мотыльковые судьбы. Порой кажущиеся яркими. Но их бутафорский бумажный огонь никого не согрел и от искры его не занялось ни одно сердце. За той далекой чертой, откуда никто не возвращается, продолжение пустоты бытия.

Энергия дел человеческих, энергия сердца может быть реактором на века, Но если человек не горел, а тлел, — жизнь его — словно легкий дымок в степи, развеянный ветром.

Луначарский говорит с сыном об этом: «Дорогой Толя. Получил твое последнее письмо, где ты говоришь о безделье и бессоннице.

Бессонница (кстати, сегодня я спал хорошо), это я понимаю: приходит и с ней ничего не поделаешь. Но безделье?

Как это может не быть дела? Скучновато было в тюрьме, и то пока был без книг, а потом начиналась даже чрезмерная работа мысли.

Как это можно быть без дела? Объясни мне. Да еще в Москве. А музеи и картинные галереи? А большая немая прогулка одному или с кем-либо из близких, с мыслями и разговорами! А книги! Сокровищница всегда под руками, и переполняющее сладкой тоской сознание, что их не прочтешь, хотя бы тебе дали двести лет жизни. Работа — дело великолепное. Отдых не хуже и дает не меньше. Безделье и скука — вычитается из нашей жизни вовсе, больше еще, чем сон и тяжелая болезнь. Этого нельзя допустить. Я думаю, что мама тебе подтвердит, что раньше на это дело мы не тратили ни минуты. Так это было до сегодняшнего дня и будет до смерти, если, конечно, меня не разобьет паралич...

Напиши мне немедленно, как идут твои дела?..

Я работаю непосредственно в рамках делегации и для себя.

Много думаю, гуляю один по Женеве. Все время стоит чудная погода. Задумчивая и трогательная, но красивая, рыжая и бледно-голубая осень.

Я всегда любил осень. Ну, а теперь, когда я сам живу в своем ноябре (или, скажем, сентябре), еще более. Хорошо иногда отойти чуточку от жизни и хорошенько продумывать и вспоминать. Когда уже прожита содержательная жизнь — это почти так же приятно и важно, как непосредственно переживать.

Переживать можно... творя.

Это самое лучшее».

В другом письме: «...Волноваться, бороться, творить и сомневаться хорошо всю жизнь, но особенно в молодости».

В третьем: «...Я тебя горячо люблю, люблю, как разворачивается твоя жизнь, и желаю, чтобы она была широкой, яркой и творческой, а значит, и счастливой. Творчество без счастья приемлемо. Счастья без творчества нет...»

Это было его глубоким убеждением.

Высокие всходы дает мудрая, большая любовь.

И когда пришел час испытания, Анатолий идет добровольцем на фронт. И умирает, как храбрый солдат, в Новороссийской десантной операции.

Но это будет еще через долгие, долгие годы...

А пока? Пока Луначарский блистательно защищает в Лиге наций советские предложения по разоружению, разоблачает «женевских миротворцев», прилагавших все силы для того, чтобы сорвать предложения Советского Союза: «...Для вящего обмана пацифистов в женевском балагане Лигой наций устроена особая пристройка, где не реже одного раза в год собираются другие ловкие дипломаты, большей частью рангом

пониже, которым поручено делать вид, будто они страшно заняты приготовлением мира. Они толкут воду в ступе, переливают из пустого в порожнее; они ткут днем и распускают ткань ночью, они топчутся на месте, ходят парадным маршем: шаг вперед, два шага назад — словом, они работают в поте лица».

Как символична эта картина для сегодняшней политики империалистических держав! Будто вчера это написано. Будто вчера только покинул Луначарский берега Женевского озера.

В репортаже с Женевской конференции по разоружению (февраль — июль 1932 г.) Луначарский саркастически писал:

«В эпилоге Гендерсона, в котором он постарался придать своему мягкому и вялому голосу некоторое подобие силы... все откровенно. Он сказал тут о том, что каждый год вооружения стоит человечеству 4 миллиарда долларов. Он призывал к «чувствительному сокращению вооружений». Он восклицал: «Я даже отказываюсь вообразить возможность неудачи этой конференции, потому что никто не может предсказать всех ужасающих последствий, которые могли бы проистечь из такой неудачи».

«Готовы ли мы приступить к нашей задаче? Готова ли каждая нация, — спрашивает оратор, — следовать политике, построенной на убеждении, что с войной покончено, что мы искренне отказались от войны, как орудия национальной политики?»

В случае утвердительного ответа Гендерсон — новый Моисей — обещал «привести народы в обетованную землю». Как известно, первый Моисей вел один только народ 40 лет в первый черед да 40 лет во второй черед, прежде чем привел его в обетованную землю.

Что же — это возможно. Чехословацкий Бенеш уже говорит, что нынешняя конференция продлится минимум год, а затем понадобится созывать такие же конференции каждую пятилетку. Очевидно, в обетованную землю приведет народы правнук господина Гендерсона.

Удобная штука библейские выражения. Им никогда не присуща какая-либо степень точности...

Годится ли при таких условиях, мистер Гендерсон, ваша наиболее высокая нота, которой вы кончили свое ариозо? Вы, вероятно, хорошо знаете библию. Вы — англичанин и притом, говорят, благочестивый. Для тех, кто знает библию так же хорошо, как вы, ваша высокая нота прозвучала зловеще и фальшиво.

Речь президента была покрыта аплодисментами, жидкими, как та английская каша, которая довела каторжников одной из английских порем

до отчаянного восстания».

Измените имена, и можно подумать, что все это вышло из-под пера современного публициста.

Луначарский по поручению Советского правительства использовал трибуну Лиги наций для разоблачения подлинной политики империалистических государств. «Мы будем принимать участие, — говорил он, — в качестве разрушителей обмана, внутренних разоблачителей, в качестве действительных защитников мира от империалистической буржуазии и предателей социал-демократии».

В своих статьях и выступлениях он предупреждает людей о надвигающейся угрозе фашизма.

Последовательно проводит Луначарский в жизнь ленинскую миролюбивую политику нашей державы.

«Война для нас помеха. Нам она не нужна, — говорил Луначарский о главной задаче советской внешней политики. — Нам нужно спокойствие, нужно сосредоточить силы на главном деле. Осуществляя его, мы будем завоевывать десятки и сотни миллионов трудящихся, которые, убедившись в правильности нашего пути, водворят на всей земле тот порядок, который мы считаем разумным».

А в Европе поднимал голову фашизм. Лилась кровь. На площадях древних германских городов пылали костры из книг. Гитлер шел к власти.

Переосмысляя образ Достоевского, Анатолий Васильевич пишет статью «Бесы».

«Бесы. На улицу вырвались обмундированные, вооруженные банды. Начались массовые аресты. Арестованных избивали, над ними издевались. То, что мы знаем об издевательствах «бесов» не только и не столько на улицах, сколько в застенках, — это лишь малая доля того, что на самом деле происходило и происходит.

Затем началась чистка культуры. Не только все коммунистическое было уничтожено; уничтожено было, несмотря на неслыханные скандалы и позорное меньшевистское низкопоклонство, и почти все социал-демократическое. Этого показалось недостаточно. Стали уничтожать все свободомыслящее, все либеральное. Гнали учителей за то, что они марксисты... за то, что они евреи, за то, что они прогрессивные люди, за то что они не сразу вторили звериным голосам проповедников абсолютной ценности немецкой расы, которой предстоит победить мир и положить его к себе под ноги. Выгоняли из академии писателей — славу Германии. Разрушили писательский союз. Откуда-то поползли никому не ведомые, подзаборные писаки, порнографы, юродивые, которые теперь должны

представлять германскую культуру.

Какие ползут вверх люди, такие ползут и идеи. Самые дикие суеверия, отрицающие разум и духовное развитие человечества, звериные теории, — все это реет теперь в германском воздухе. На площадях горят десятки тысяч книг...»

Луначарский видит все это своими глазами. Он хорошо знает, о чем пишет.

...Январь 1933 года. Берлин. Луначарский только что пережил тяжелую глазную операцию. В один из дней он встречается в театре с Брехтом и его друзьями. Возвращаясь домой, они слышат крики раненых, выстрелы.

— Что можем мы, интеллигенты? — с горечью замечает один. — Их поддерживает Крупп, И. Г. Фарбениндуэстри.

— Бороться, — парирует Луначарский, — бороться до последнего издыхания, бороться на своем посту, каждый своим оружием...

— Придется эмигрировать, уйти в подполье.

— Ну что же, и в эмиграции и в подполье продолжайте борьбу. Вспомните нас, русских большевиков. Мы не складывали оружия ни на чужбине в эмиграции, ни на каторге в Сибири.

Брехт читает отрывки из «Болотных солдат», «Песню о мертвом солдате», ставшую крылатой после исполнения Эрнста Буша.

И за границей и в Москве Луначарский говорит о бдительности, о страшной угрозе, нависшей над миром. Десятки статей Анатолия Васильевича по-прежнему появляются в печати.

Хотя сдают силы, слабеет зрение.

...В мае 1933 года на квартире у Луначарского по инициативе отдела искусств ЦК партии организуется встреча. Пришло более 15 писателей, в том числе Ал. Толстой, В. Катаев, Ю. Олеша, В. Инбер, Б. Пастернак, Ф. Панферов, В. Кирпотин и другие.

Кто-то попросил Веру Инбер прочесть стихи, опубликованные незадолго до встречи в журнале «Красная новь», рассказывает участник встречи М. Чарный.

Вера Михайловна начала читать:

...Неужели и вправду пора на покой?
Старость, как ни верти там.
Старость — это бывает с любой,
Даже партийкой...
Как бы сердце мое ни болело,

Я за него отвечать не буду:
Старость — это личное дело
Моих кровеносных сосудов.
Не в них суть. Не они важны.
Важно, чтоб не пропала зря
Ни одна грусть, ни одна заря
В хозяйстве моей страны.
И мы, пока в нас сила есть еще,
По закону контрастов, что ли,
Мы будем писать превосходные вещи,
Лишенные тени боли...
Ты стареешь, мое поколение? Пусть.
По чертежам и эскизам
Можно заставить даже грусть
Работать на социализм...

Тихо стало за столом, и вдруг тишина оборвалась. — Это фальшь! — крикнул кто-то.

Разгорелся спор.

— Товарищи! — тихо сказал Луначарский. — Я слушал ваши споры, и передо мной прошла вся моя жизнь... Вероятно, мне осталось немного... В таких случаях не лгут. Поверьте мне, вся жизнь, все личное, все радости и страдания приобретают особый смысл только тогда, когда жизнь направлена к общему благу, к высшей цели. Социализм создает ту атмосферу коллективизма, общей жизни, борьбы и достижений, в которой жизнь отдельной личности находит действительно свое бесконечное продолжение. Мне бывало иногда очень трудно. Я находил успокоение в том, что всегда передо мной был немеркнувший идеал нашей партии...

«Луначарский начал тяжело дышать, — рассказывает М. Чарный. — Он был глубоко взволнован...

Наталья Александровна обеспокоенно задвигалась на стуле, потом резко встала, взяла Анатолия Васильевича под руку и увела его...

Мы остались в зале, оглушенные этой неожиданной исповедью, исповедью, которая звучала завещанием».

Вечер этот не был случайностью в доме Луначарских. Здесь всегда были открыты двери для гостей, устраивались и семейные и традиционные новогодние вечера, литературные и музыкальные собрания, чтение новых пьес, выступления поэтов.

Как рассказывает А. Дейч, он постоянно встречал у Луначарского А. Толстого, молодого А. Фадеева, В. Маяковского, М. Кольцова, И. Уткина, А. Жарова, А. Безыменского, И. Сельвинского, В. Инбер, Б. Пастернака, драматургов А. Глебова, Н. Эрдмана, С. Третьякова, оперных певцов И. Козловского, А. Батурина, арфистку Веру Дулову, артистов А. Южина, М. Левина, Ю. Юрьева, Е. Турчанинову, В. Массалитинову, художников П. Кончаловского, Г. Якулова, А. Архипова и многих, многих других.

Бывали в доме старые друзья Луначарского по ссылке.

А. Дейчу на всю жизнь запомнился один из таких вечеров — в июне 1933 года: «В столовой собрались Отто Юльевич Шмидт, Илья Сельвинский, А. П. Довженко. Каждый из них был одержим своими творческими замыслами. Пройдет немного времени, и легендарный «Челюскин» увезет в исторический полярный рейс О. Ю. Шмидта и Илью Сельвинского. Трогательно и поэтично сказал им напутствие Анатолий Васильевич, держа в руке бокал вина, и закончил: «А себе, бедному сухопутному исследователю глубин человеческих, я пожелаю выздоровления и дальнейшей работы».

Все подняли бокалы и прочувствованно чокнулись с хозяином дома, вскоре уезжавшим за пределы нашей страны.

Александр Петрович Довженко рассказывал о своей будущей картине «Аэроград» так образно, что мы словно видели ее на экране. Он говорил, что умолил бы строгого Отто Юльевича взять его в экспедицию, если бы не «Аэроград».

Илья Сельвинский прочитал свои стихи, как умеет только он, с неповторимыми «сельвинскими» интонациями и «сельвинской» ритмикой. Луначарский слушал с восхищением:

— Вас бы прикладывать к каждому томику ваших стихотворений, чтобы любители поэзии могли не только глазами, но и слухом воспринять музыку ваших стихов.

Венцом вечера было выступление Анатолия Васильевича. Он прочитал «Думу про Опанаса» Эдуарда Багрицкого. Это было великолепно! От его чтения веяло ни с чем не сравнимой свежестью украинских степей и горячей романтикой гражданской войны. Как жаль, что тогда не было магнитофонов и это мастерское чтение Анатолия Васильевича не сохранилось в маленькой, очень маленькой фонотеке его голоса. Он читал с такой страстью, что, казалось, уже нет ни возраста, ни болезни, что это читает молодой человек, полный сил и здоровья...»

1932 год был для него началом конца.

И он где-то в глубине души чувствовал это, слыша случайно, как за

стенной близкие тревожно обсуждают диагнозы врачей:

— Тяжелая гипертония и стенокардия.

— Глаукома.

Где он только не лечился — в Москве и Женеве, Франкфурте-на-Майне (курорт Кенигсштейне-им-Тауш), болезни не отступали.

Глаукома усиливалась — пришлось удалить глаз. Но он не отходил от работы.

Весной 1933 года во время болезни Луначарского встретил случайно Ф. Левин.

«Я был в Коммунистической Академии, помню, что хотел проконсультироваться по вопросам своей диссертации о Белинском с моим руководителем Н. А. Глаголевым. В поисках места, где мы могли бы поговорить без помех, Николай Александрович привел меня в пустой кабинет Луначарского. Мы мирно сидели на диване, и беседа наша уже подошла к концу, когда распахнулась дверь и вошел Анатолий Васильевич, сопровождаемый секретарем и еще несколькими людьми.

— Сидите, сидите, пожалуйста, — сказал он, сделав; успокаивающий знак рукою. — Вы не мешаете, я на несколько минут.

Он сел за стол, секретарь положил перед ним бумаги на подпись. Луначарский просматривал их, выслушивал объяснения, подписывал.

Я смотрел на него с душевной болью и чувством горестной любви. Ах, как он изменился! Похудел, как-то потускнел лицом. Та же борода, те же знакомые черты, но, когда снял пенсне, стало заметно, что один глаз живой, блестящий, а другой — мертвый, стеклянный.

Ему начали говорить о каком-то диспуте на темы современного театра, который было намечено организовать, и положили перед ним список приглашаемых для участия. На имени Мейерхольда Луначарский остановился.

— Сожжет какой-нибудь фейерверк, — сказал он с тонкой усмешкой.

— Может быть, не приглашать? — встрепенулся секретарь.

— Нет, что вы, что вы! Конечно, пусть выступит! Дольше оставаться нам было неудобно, мы попрощались и ушли. Последний раз я видел Луначарского, слышал его голос».

И в эти дни он не переставал думать об искусстве и литературе. Он предвидел новый расцвет социалистической культуры. В одной из статей он писал, что социалистическая культура, к которой мы идем, будет до чрезвычайности обогащена, если в нее вольются как можно более богатые, разноцветные культуры. Она сможет из этих национальных нитей ткать более богатые узоры, чем это было бы возможно, если бы капитализму

удалось задушить эти национальные формы, окапитализировать их, офабричить, как это он делает везде, потому что социализм не предполагает монотонности. Нас упрекают в том, что будто мы хотим уничтожить индивидуальность. Совсем нет, наши великие учителя беспрестанно повторяют, что социализм есть почва для многогранного и высокого развития индивидуальности, какой никогда так называемый «индивидуалистический» буржуазный строй не может дать.

Как это перекликается с тем, о чем он говорил с трибуны XV съезда партии: «...Курьезный разговор был у меня в Женеве с одним американским журналистом... Я приведу этот факт, чтобы подчеркнуть, как они там расценивают наше культурное строительство. Когда я сказал журналисту, что у нас технических учебников и научно-технических книг в этом году было издано в 10 раз больше, чем в 1913 г., когда я сказал» что в этом году мы в смысле книг (не говоря, конечно, о газетах и журналах) обогнали Соединенные Штаты, то он развел руками и сказал: «А не думаете ли вы, что это также есть своего рода вооружение, которое становится опасным для ваших соседей?» Я на это предложил ему внести предложение в Лигу наций о том, чтобы нас разоружить в смысле книг и знаний (с м е х). Думая об обороне от наших врагов, о готовящейся борьбе, думая о конкурирующих с нами соседях в области хозяйства, нам нужно помнить, что культура есть весьма эффективное, весьма содержательное, весьма грозное для наших недругов и приветствуемое всеми нашими друзьями вооружение. Оно отнюдь не должно быть забыто в пятилетнем плане».

В 1933 году Луначарский был назначен полномочным представителем СССР в Испании. Но по дороге туда он тяжело заболел и вынужден был остановиться в Париже.

Узнав от Михаила Кольцова, что Луначарский в одной из клиник, Борис Ефимов и Евгений Петров, бывшие тогда во французской столице, решили навестить его.

В холодный парижский вечер они пришли на Рю Лиотэ — коротенький тупик в тихом квартале Пасси.

Анатолий Васильевич лежал в небольшой, ярко освещенной комнате. Возле постели — невысокая полка с множеством книг, по другую сторону кровати — телефон.

Луначарский встречает приветливо:

— Здравствуйте, здравствуйте! Вам не повезло — вы застали меня в постели. Еще вчера я чувствовал себя совсем молодцом, сидел в кресле. И вдруг — какая-то каверза...

Он говорит с трудом, часто переводя дыхание. Исхудалое, бескровное лицо. Заострившийся костистый нос.

— Меня здесь очень тормозят, но я очень рад, когда приходят наши. Откуда вы сейчас? Что видели?..

Ефимов и Петров рассказывают.

Неожиданно Луначарский начинает говорить о фашизме, о нападках реакционной прессы на нашу страну.

— Недавно один известный европейский деятель выступил с прямой атакой на социализм. Я решил ответить ему большой серией статей, я докажу всю теоретическую беспомощность этого человека. Мне вообще приходится часто разговаривать здесь на эти темы. Договорился даже о цикле лекций для французской молодежи, да вот вдруг... заболел...

Анатолий Васильевич улыбается с беспомощным и почти виноватым видом.

— Я ведь много написал книг, — продолжает Луначарский, — но все эти вещи я всегда считал только вступлением к своей главной обобщающей, литературно-философской работе. Мне все мешала приступить к этой книге то пропагандистская, то административная деятельность. Материалов накопилась уйма — в Испании у меня будет спокойная обстановка для работы. "Вот скоро поправлюсь и засяду за работу.

— Вы бывали раньше в Испании, Анатолий Васильевич?

— Нет. Это будет мое первое посещение этой чудесной страны. Она чрезвычайно меня интересует своей древней культурой, в которой так причудливо сочетались европейские и арабские влияния. Думаю основательно поездить и посмотреть. Изучаю испанский язык с увлечением и, говорят, сделал большие успехи.

Он рассказывает, снова оживившись, об общих чертах Испании и Италии, об итальянской литературе, о сокровищах Флоренции и Милана, о своем милом друге Владимире Петровиче Потемкине, римском полпреде, снова о французской литературе, о критике...

— Сейчас пишу предисловие к новому собранию сочинений Марселя Пруста. Меня особенно интересует его последнее произведение, которое он писал, как известно, уже будучи тяжело больным человеком, и умер, не закончив его. И вот — это чрезвычайно любопытно! — я с поразительной ясностью вижу теперь влияние и следы, которые оставила на его творчестве болезнь. Мне стало совершенно ясно, что слова Достоевского «больной человек ближе всего к своей душе» — абсолютно неверны. Абсолютно неверны! Я теперь очень внимательно наблюдаю за собой и

пришел к прямо противоположному выводу. А именно: больной человек ближе всего к своему телу. Причем к телу, в котором неправильно работают все органы. Вы прочтете, я об этом напишу...

Взволнованные возвращались Ефимов и Петров от Луначарского.

— Нет, Боря, — повторял Петров, возбужденно размахивая длинными руками, — вы просто, я вижу, не отдаете себе отчета в том, что произошло! Вы хорошенько подумайте над тем, что мы видели! Слушайте! Мы с вами, два молодых здоровых парня, пришли проведать, то есть приободрить и отвлечь от мрачных мыслей, старого, больного, я вам прямо скажу, умирающего человека. И что *те* случилось? Боря! Не мы на него, а он на нас благотворно подействовал своей бодростью, оптимизмом, жаждой деятельности, молодостью. Да, да, молодостью!..

Утром с еще не остывшим волнением Евгений Петров рассказывал в маленьком номере отеля «Вакио», где были Кольцов, Ильф и Мария Остен, о встрече с Луначарским. Говорили о том, как тяжело и больно думать, что болезнь вырывает из жизни такого замечательного человека.

Позже Кольцов тоже отправился к Луначарскому. Луначарский работал и на дружеский упрек Кольцова ответил:

«— Поймите, что если я не буду работать, не буду видеть людей, не буду разговаривать, я в самом деле помру, честное слово... Сколько планов, сколько тем для статей, для книг, сколько всего еще впереди, что надо исполнить!

— Ну что же, поправитесь и все исполните.

— Конечно, исполню! Я слишком много просидел на административной работе. Конечно, это в свое время было необходимо. Но это отразилось на моей литературной деятельности. А так хотелось оставить молодому поколению мои, в сущности, очень большие знания в области мировой культуры и искусства, как-то собрать их в одной-двух-трех книгах... Не слишком перегружаясь дипломатической работой, я смогу отдаться литературе, закончить книгу о сатире, биографию Бэкона для «Жизни замечательных людей», книгу о Фаусте, переработку пьесы Ромена Роллана «Настанет время», закончить серию этюдов о Гоголе, еще много всякого другого...»

Из бывших тогда у Луначарского сохранилось еще и свидетельство Эренбурга: «Он понимал, что смерть близка, и говорил об этом. Жена попыталась отвлечь его, но он спокойно ответил: «Смерть — серьезное дело, это входит в жизнь. Нужно уметь умереть достойно...»

Помолчав, он добавил: «Вот искусство может научить и этому...»

26 декабря 1933 года из далекого французского города Ментоны

пришла в Россию весть о его кончине.

ЦК ВКП(б) с прискорбием извещал о смерти «старого, заслуженного революционера-большевика, одного из видных строителей советской социалистической культуры».

«Очень опечален смертью моего друга Луначарского, который на Западе был всеми уважаемым послом советской мысли и искусства», — писал Ромен Роллан.

Говоря о себе и своих товарищах, Луначарский как-то писал: «Как ни много шлаков и ошибок в том, что сделали, — мы горды ролью в истории и без страха отдаем себя на суд потомства, не имея ни тени сомнения в его приговоре...»

Жизнь — страстное горение. Жизнь — подвиг. Так прошел Луначарский по земле. Он был «глашатаем и певцом партии, ее преданнейшим бойцом, ее дисциплинированным солдатом, много раз искупившим свои ошибки и увлечения. Он щедрой рукой разбрасывал полными пригоршнями те сокровища, которыми его без меры наделила природа», — писали 28 декабря 1933 года «Известия».

Как перекликаются эти слова с другими, сказанными в 1962 году в редакционной статье журнала «Коммунист»:

«А. В. Луначарский был человеком большой эрудиции, яркого таланта, энциклопедических знаний, убежденным революционером, пламенным пропагандистом передовых идей, искусства социализма. Обширна и многообразна научная и литературная деятельность Луначарского: в его лице сочетались историк и литературовед, высокообразованный теоретик и знаток всех видов искусства: живописи и скульптуры, театра и кино, музыки и архитектуры. В содержательных, ярких по форме статьях и выступлениях Луначарский поднимал острые вопросы развития художественной культуры. Диапазон его интересов чрезвычайно широк: от общих проблем мировой литературы до рецензии на первую книжку начинающего писателя, от античности до текущего дня. Острота, обоснованность суждений Луначарского исходили не только из одаренности, ума, эмоциональной природы его личности, но прежде всего из глубокого убеждения в жизненной необходимости искусства и его огромной роли в формировании нового человека».

...А тогда... Тогда люди, сотни людей шли через парадный зал советского посольства на Рю де Гренель.

Шли французы, русские, немцы.

Прощаться с соратником, бойцом, одним из талантливейших людей эпохи.

Думая о том, как развернется человеческая личность будущего, когда очистительные дожди революций смоют с земли последние остатки грязи и пыли прошлого, Маркс и Энгельс писали о людях эпохи Возрождения, людях огромных и многообразных талантов, служивших своему времени и пером и мечом, людям, которым были по плечу большие замыслы и великие свершения. Через века катились волны их энергии, доходили их окрыляющие сердца слова, ощущалось благородство помыслов. Так было и в эпоху Октября, родившую Ленина и славную плеяду его соратников.

К каким бы областям жизни ни обращался Луначарский, — будь то общественная деятельность или искусство, философия или наука, социология или литература, — его мысль везде оставляла свой заметный след.

Выступая на вечере, посвященном А. В. Луначарскому, Михаил Кольцов говорил: «...Долг всех тех, кто видел и слышал Луначарского, кто помнит этого блестящего, искрящегося человека, собрать все, что осталось от него в литературе, письмах, в живых воспоминаниях, чтобы сохранить для будущих поколений все изумительное обаяние одного из крупнейших людей нашей революции».

Сейчас многое делается для того, чтобы книги Луначарского стали настольными книгами юных. А наследие его воистину колоссально! Бесценны для нас его политические заметки и статьи — он живая история нашей партии (Луначарский был делегатом III, IV, V, VIII, X, XI, XII, XV, XVI съездов).

Тысячи, без преувеличения, его работ рассеяны по периодике. Одно его «театральное» наследие, составляющее более чем тысячу статей, рецензий и докладов, являет «собой энциклопедию театральной жизни Советской России и зарубежных стран» («Советская культура»). В 1926 году к пятидесятилетию Луначарского решили собрать его литературные работы. Библиографы так и не разыскали всего, но 121 книга была учтена. 121 книга! Этого хватило бы для нескольких жизней!

Нет, он никогда сам не думал, что сделал что-нибудь выдающееся. Много раз в жизни передавал он слушателям рассказ В. Д. Бонч-Бруевича о больном Ильиче. Бонч-Бруевич сказал Луначарскому, что непосредственно после своего опасного ранения, в дни выздоровления, Владимир Ильич вызвал его и еще нескольких лиц и сказал им приблизительно следующее:

— С большим неудовольствием замечая, что мою личность начинают возвеличивать. Это досадно и вредно. Все мы знаем, что не в личности дело. Мне самому было бы неудобно воспретить такого рода явление. В этом тоже было бы что-то смешное, претенциозное. Но вам следует

исподволь наложить тормоз на всю эту историю...

А Ильич всегда был для него олицетворением большевика.

«Этот человек не только знает все и не только талантлив — этот человек любое партийное поручение выполнит и выполнит превосходно... На редкость богато одаренная натура...», «Отличный товарищ», — говорил Ленин.

Книги Луначарского — боевое оружие сегодня.

В дни 90-летия со дня его рождения «Правда» писала: «Эстетическое и критическое наследие Луначарского-боевое Достояние творческого марксизма».

Жизнь его была высоким гражданским и творческим подвигом...

...2 января 1934 года при громадном стечении народа урна с прахом Анатолия Васильевича Луначарского была помещена в Кремлевской стене.

Люди стояли, сняв шапки.

Прощай же, товарищ!
Ты честно прошел
Свой доблестный путь
Благородный...

Приходит время, когда судьба отсчитывает положенное человеку, и на смену ушедшим становятся живые.

Когда я вспоминаю о Луначарском и его сыне Анатолии, погибшем в годы Великой Отечественной войны, перед глазами всегда встает строгая площадь...

Над площадью этой в голубой бездонной высоте реют птицы и стремительно проносятся облака. Совсем рядом тяжело катит к морю свинцовые волны Нева.

Марсово поле в Ленинграде... В центре его — строгое гранитное каре. На граните — надпись:

Ты встал, трудовой Петербург,
И первый начал войну
Всех угнетенных
Против всех угнетателей,
Чтоб тем убить
Самое семя войны.
Не зная имен

Всех героев борьбы
За свободу,
Кто кровь свою отдал,
Род человеческий
Чтит безымянных.
Всем им в память
И честь
Этот камень
На долгие годы
Поставлен.

Мало кто знает, что эти строки принадлежат перу Анатолия Васильевича Луначарского. Строки, высеченные на братских могилах борцов, павших в боях за священное дело революции.

К памятнику приходят люди.

Они читают огненные строки надписи.

А рядом шумит огромный город.

Не умирает жизнь.

Живые продолжают дело павших, ушедших от нас.

Ушедших, но незримо идущих рядом с нами.

«Счастье наше, что мы видим и еще увидим великую работу социалистического строительства, что мы сами приложили к ней наши руки. Мы не претендуем на то, чтобы дожить до окончательной победы. Без чрезмерной скорби смотрим мы на могилы у Кремлевской стены, на могилы на Марсовом поле и во многих и многих других углах нашей великой страны. Не дожили они, пали, еще не освещенные широкими лучами восходящего солнца рабочей победы, но, по крайней мере, видели разгорающееся утро», — писал как-то он в «Комсомольской правде».

Далеко от Марсова поля до новороссийских белых отмелей, где погиб его сын. Высоко в небе летят облака над обелиском Ленинграда, где высечены слова Луначарского о героях революции, и над братскими могилами Причерноморья...

Отцы и дети. Коммунары. Коммунисты. Бойцы.

Основные даты жизни и творчества А. В. Луначарского

1875, 23 ноября (Здесь, как и по всей книге, даты до 20 февраля 1918 года даны по старому стилю, все даты после — по новому) — родился в г. Полтаве.

1892 — «Считаю именно эту дату... датой моего вступления в партию...» (Луначарский).

1892-1893 — Пропагандист и агитатор киевской социал-демократической организации.

1893 — Отъезд за границу для учебы в Цюрихском университете.

1894-1895 — Встречи с Плехановым.

1896 — Возвращение в Россию и снова отъезд за границу.

1897 — Возвращение на родину, революционная работа, арест, заключение в Лукьяновской и Таганской тюрьмах:

1898-1903 — Высылка в Калугу, Вологду, Тотьму. Сотрудничество в киевских и зарубежных изданиях.

1904 — Первая встреча с Лениным в Париже.

Приезд по вызову Ленина в Женеву на совещание 22 большевиков.

Возвращение в Россию. Статьи в «Киевских откликах» и др. изданиях.

1905 — Выступление по поручению Ленина на III съезде РСДРП о вооруженном восстании.

«Диалог об искусстве». Участие в газетах «Вперед», «Пролетарий» и др.

Приезд в Петербург. Участие в газете «Новая жизнь».

1906 — Арест, заключение в «Крестах», освобождение.

Уезжает за границу.

Участие в организации и работе газет «Волна», «Вперед», «Эхо».

Статья «Задачи социал-демократического художественного творчества».

1907 — Участвует в работе Штутгартского конгресса Интернационала.

1908 — Приезд по приглашению А. М. Горького на Капри.

1909 — Выход в свет книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

Осуждение редакцией «Пролетария» ошибок Луначарского.

1911 — Отходит от группы «Вперед».

1912 — «К психологии империализма» и др. статьи.

1911–1915 — Жизнь во Франции. Сотрудничество в «Киевской мысли». «Письма о пролетарской литературе».

1915 — Переезд в Швейцарию.

1917 — Возвращение в Россию.

Арест Временным правительством. Заключение в «Крестах».

Работа вместе с Ф. Дзержинским в большевистском комитете обороны Петрограда.

25 октября (7 ноября) — В. И. Ленин предлагает Луначарского на пост народного комиссара просвещения. На этом посту он проработал до 1929 года. Пишет обращения «Ко всем учащимся», «К учащимся».

1918 — «Культурные задачи рабочего класса».

1919 — «Ко всему российскому учительству и всем деятелям народного просвещения». Поездки по фронтам.

1920 — Закончен «Оливер Кромвель».

1921 — «Кампанелла».

1922 — «Освобожденный Дон-Кихот».

1923–1924 — Участие в дискуссии против троцкизма.

1927–1933 — Работа и выступления в Лиге наций.

1928 — «Тезисы о задачах марксистской критики».

1929 — «Классовая борьба в искусстве» и др. статьи. Назначен председателем Ученого Комитета при ЦИК СССР. Избран действительным членом Академии наук СССР.

1932 — «Ленин и литературоведение» и др. работы.

1933 — «О роли пролетарского государства в развитии социалистической культуры» и др. статьи. Доклад на II пленуме Оргкомитета Союза писателей СССР.

«Бесы», «Господин Блюм взволнован» и др. статьи против фашизма.

«О роли пролетарского государства в развитии социалистической культуры» и др. работы. Назначен полномочным представителем СССР в Испании.

1933, 26 декабря — Скончался в Ментоне на юге Франции.

Краткая библиография

Основные сочинения

Собрания сочинений. Тт. I–VIII, М., Гослитиздат, 1963–1967.

История западноевропейской литературы. Тт. I–II, М.-Л., ГИЗ. 1930.

Классики русской литературы. М. — Л., ГИЗ, 1937.

Избранные драмы. М., Гослитиздат, 1935.

Критика и критики. М., ГИХЛ, 1938.

Статьи об искусстве. М.-Л., изд-во «Искусство», 1941.

Статьи о литературе. М., Госполитиздат, 1957.

Статьи о советской литературе. М., Учпедгиз, 1958.

О театре и драматургии. Тт. I–II, М.-Л., изд-во «Искусство», 1958.

В мире музыки. Статьи и речи. М., изд-во «Советский композитор», 1958.

О народном образовании. М., Учпедгиз, 1958.

Статьи и речи по вопросам международной политики. М., Изд-во соц. — эконом. л-ры, 1959.

Силуэты. М., изд-во «Молодая гвардия», 1965 (Серия «ЖЗЛ»).

Луначарский о кино. Статьи, высказывания, сценарии, документы. М., изд-во «Искусство», 1965.

Литература о жизни и творчестве Луначарского

«Памяти Анатолия Васильевича Луначарского». Сборник статей под ред. А. Халатова. М., 1935.

Бугаенко П., А. В. Луначарский как литературный критик. Саратов, Книжн. изд-во, 1960.

Бычкова Н., Лебедев А., Первый нарком просвещения. М., Госполитиздат, 1960.

Елкин А., А. В. Луначарский. Эстетические взгляды, общественно-литературная и критическая деятельность. М., изд-во «Советский писатель», 1961.

Кривошеева А..Эстетические взгляды А. В. Луначарского. М.-Л., «Искусство», 1939.

Лебедев А., Эстетические взгляды А. В. Луначарского. М., изд-во «Искусство», 1962.

Лебедев-Полянский П., А. В. Луначарский. К 50-летию со дня

рождения. М., 1926.

Луначарская-Розенель Н., Память сердца. Воспоминания. М., изд-во «Искусство», 1965.

Роткевич Я., А. В. Луначарский и его роль в создании советской методики преподавания литературы. Куйбышев, 1962.

Самойлова Н., А. В. Луначарский — борец за советское искусство. М., изд-во «Знание», 1961.

Иллюстрации



1. Таким А. В. Луначарский пришел в ленинские «Вперед» и «Пролетарий»...



2. А. В. Луначарский. Редкий ранний снимок.



3. Петроград. Цирк «Модерн». Здесь выступал Луначарский. Единственный из известных снимков, сохранившийся в коллекции Н. Тагрина (Ленинград).





10. А. В. Луначарский у агитвагона. 1923 год.



11. Агитпоезд имени В. И. Ленина. Вагон книги.



12. А. В. Луначарский Редкий снимок.



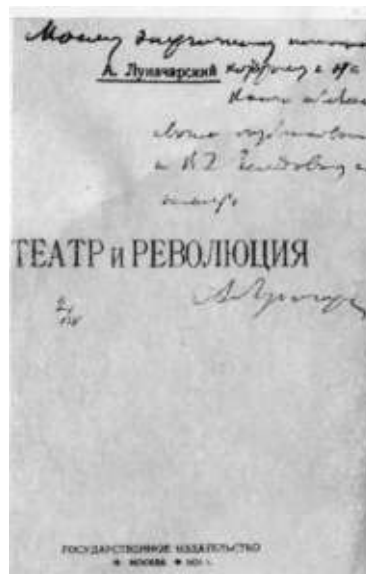
13. Декреты, потрясшие мир...



14. В бой с неграмотностью. Плакат, 1920 год.



15. На субботнике

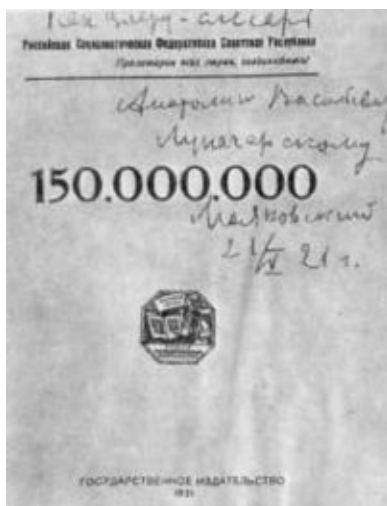




22. А В. Луначарский.



23. В. В. Маяковский.





25. А. В. Луначарский, В. В. Маяковский и председатель Госкомитета Д. И. Лещенко после заседания кинокомитета. 1920 год.



26. В. Я. Брюсов.



27. А. В. Луначарский, К. С. Станиславский и Бернард Шоу. 1931 год.



28. А. В. Луначарский.



30. Женева. Дворец Наций.

АНКЕТА

АНКЕТА XVII Московского губернского съезда 1920 года

Имя: *М.А. Луначарский*

1. Место, где родился: *Вильна, Литва*

2. Год, когда переехал в Москву: *1897*

3. Образование: *Юридическое*

4. Профессия: *Юрист*

5. Член партии: *Да*

6. Место работы: *Наркомпрос*

7. Место жительства: *Москва*

8. Место рождения: *Вильна*

9. Место рождения: *Вильна*

10. Место рождения: *Вильна*

11. Место рождения: *Вильна*

12. Место рождения: *Вильна*

13. Место рождения: *Вильна*

14. Место рождения: *Вильна*

15. Место рождения: *Вильна*

16. Место рождения: *Вильна*

17. Место рождения: *Вильна*

18. Место рождения: *Вильна*

19. Место рождения: *Вильна*

20. Место рождения: *Вильна*

21. Место рождения: *Вильна*

22. Место рождения: *Вильна*

23. Место рождения: *Вильна*

24. Место рождения: *Вильна*

25. Место рождения: *Вильна*

26. Место рождения: *Вильна*

27. Место рождения: *Вильна*

28. Место рождения: *Вильна*

29. Место рождения: *Вильна*

30. Место рождения: *Вильна*

31. Место рождения: *Вильна*

32. Место рождения: *Вильна*

33. Место рождения: *Вильна*

34. Место рождения: *Вильна*

35. Место рождения: *Вильна*

36. Место рождения: *Вильна*

37. Место рождения: *Вильна*

38. Место рождения: *Вильна*

39. Место рождения: *Вильна*

40. Место рождения: *Вильна*

41. Место рождения: *Вильна*

42. Место рождения: *Вильна*

43. Место рождения: *Вильна*

44. Место рождения: *Вильна*

45. Место рождения: *Вильна*

46. Место рождения: *Вильна*

47. Место рождения: *Вильна*

48. Место рождения: *Вильна*

49. Место рождения: *Вильна*

50. Место рождения: *Вильна*

51. Место рождения: *Вильна*

52. Место рождения: *Вильна*

53. Место рождения: *Вильна*

54. Место рождения: *Вильна*

55. Место рождения: *Вильна*

56. Место рождения: *Вильна*

57. Место рождения: *Вильна*

58. Место рождения: *Вильна*

59. Место рождения: *Вильна*

60. Место рождения: *Вильна*

61. Место рождения: *Вильна*

62. Место рождения: *Вильна*

63. Место рождения: *Вильна*

64. Место рождения: *Вильна*

65. Место рождения: *Вильна*

66. Место рождения: *Вильна*

67. Место рождения: *Вильна*

68. Место рождения: *Вильна*

69. Место рождения: *Вильна*

70. Место рождения: *Вильна*

71. Место рождения: *Вильна*

72. Место рождения: *Вильна*

73. Место рождения: *Вильна*

74. Место рождения: *Вильна*

75. Место рождения: *Вильна*

76. Место рождения: *Вильна*

77. Место рождения: *Вильна*

78. Место рождения: *Вильна*

79. Место рождения: *Вильна*

80. Место рождения: *Вильна*

81. Место рождения: *Вильна*

82. Место рождения: *Вильна*

83. Место рождения: *Вильна*

84. Место рождения: *Вильна*

85. Место рождения: *Вильна*

86. Место рождения: *Вильна*

87. Место рождения: *Вильна*

88. Место рождения: *Вильна*

89. Место рождения: *Вильна*

90. Место рождения: *Вильна*

91. Место рождения: *Вильна*

92. Место рождения: *Вильна*

93. Место рождения: *Вильна*

94. Место рождения: *Вильна*

95. Место рождения: *Вильна*

96. Место рождения: *Вильна*

97. Место рождения: *Вильна*

98. Место рождения: *Вильна*

99. Место рождения: *Вильна*

100. Место рождения: *Вильна*



Последняя зарисовка, сделанная художником Борисом Ефимовым у постели больного Луначарского.